ЮРИЙ ТРИФОНОВ

Селён Экштут

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Юрий Трифонов (1925–1981), популярнейший писатель эпохи позднего социализма, родоначальник городской/московской прозы как литературного направления, до сих пор остаётся «недочитанным», полагает автор книги. «Я пишу о смерти („Обмен“) — мне говорят, что я пишу о быте; пишу о любви („Долгое прощание“) — говорят, что тоже о быте; пишу о распаде семьи („Предварительные итоги“) — опять слышу про быт; пишу о борьбе человека со смертельным горем („Другая жизнь“) — вновь говорят про быт», — сетовал Трифонов. Вместе с тем и в самой его судьбе, и в произведениях отразились как провалы, так и вершины великого советского эксперимента по справедливому переустройству жизни. Сын репрессированных родителей — и, несмотря на это, выпускник престижного Литературного института, уже за дипломную повесть «Студенты» получивший Сталинскую премию; связанный по первому браку с «подругой» Берии, — и позже, минуя «железный занавес», объехавший полмира как спортивный журналист; преуспевающий литератор — и не дождавшийся издания отдельной книгой своего главного произведения «Дом на набережной»… Семён Экштут, историк, доктор философских наук, попытался взглянуть на писателя в контексте «большого исторического времени» и обнаружил масштабно мыслящего философа, предсказавшего в творчестве причины, по которым великий эксперимент не удался. Многие суждения С. Экштута, как всегда, неожиданны, полемичны, провокативны — с установкой на споры, — но этим и интересны, а может быть, и полезны, о чём судить, конечно, читателю.

знак информационной продукции 16+

- Семён Экштут
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Эпилог 1991 год

- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ю. В. ТРИФОНОВА[357]
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38

- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82

- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126

- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170

- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214

- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258

- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302

- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346

- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357

Семён Экштут
Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного

Моей жене

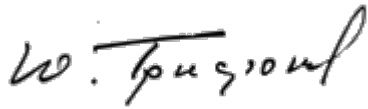
Идеалы я не проповедую, но имею…

Юрий Трифонов

Глава 1
МНЕ ПОДМЕНИЛИ ЖИЗНЬ…

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.

Анна Ахматова



«Горе всё — впереди!»

В 1970–1980-е годы, в те спокойные времена, когда у входа в школу не стояли охранники, проверяющие документы у каждого входящего, когда не было рамок металлоискателя и камер видеонаблюдения, Интернета, компьютеров и мобильных телефонов; когда люди писали друг другу поздравительные открытки с праздником, когда у организаций и учреждений были свои ведомственные пионерские лагеря, где в пору летних каникул отдыхали дети сотрудников, за обе щёки уплетавшие эскимо на палочке за одиннадцать и пломбир за девятнадцать копеек, а вокруг прощального пионерского костра певшие песню «Взвейтесь кострами, синие ночи…»; когда проезд в метро стоил пять копеек, а ежемесячный единый проездной билет, по которому без ограничения числа поездок можно было ездить в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе, — шесть рублей; когда книга из серии «ЖЗЛ» действительно была лучшим подарком; когда наличие у человека дублёнки, кожаного пиджака и импортных джинсов позволяло безошибочно судить об уровне доходов, знакомств и оборотистости человека, — в те наивные времена, когда в исторический и научно-технический прогресс верили как в Бога и гордились своим историческим прошлым, а фигуры умолчания преобладали над объектами критики, обличения и осуждения; во времена Брежнева, Сахарова и Солженицына — в те наивные времена, ещё не ведавшие, что впоследствии будут названы *застоем,* в отечественной словесности господствовали два направления: деревенщики и горожане, *трифонианцы*[1]. Писатель, по фамилии которого было названо литературное направление и чья первая книга вышла в издательстве «Молодая гвардия», — этот рано ушедший из жизни замечательный человек станет героем моего повествования. К нему вполне приложимы слова, пусть сказанные в иное время и адресованные другому писателю:

> И славы ждал, и славы не дождался,
> Кто был предвестьем, предзнаменованьем
> Всего, что с нами после совершилось,
> Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
> И задохнулся…[2]

Двадцать восьмого марта 1981 года, на второй день после перенесённой операции, в обычной палате московской городской больницы, «где даже анальгин нужно было выпрашивать»[3], скончался Юрий Валентинович Трифонов. Оторвался тромб и убил писателя, получившего широкую известность, писателя, уже выдвинутого на соискание Нобелевской премии по литературе и имевшего высокий шанс её получить, но у себя в стране не обладавшего привилегиями, которые бы ему позволили стать пациентом спецбольницы, оснащённой современным импортным оборудованием. Возможно, что такое оборудование сохранило бы ему жизнь. По свидетельству Ольги Романовны Трифоновой, вдовы писателя, «он умер, как умирают простые люди, с достоинством перенеся и страдания жизни, и страдания смерти»[4]. Его судьба получила именно такое завершение, и Юрию Валентиновичу не довелось увидеть крушение строя, суть которого он так провидчески постиг.

Юрий Трифонов прожил 55 лет, и в течение этого весьма короткого, но исключительно насыщенного событиями исторического отрезка его жизнь несколько раз меняла свое русло. Он родился в Москве 28 августа 1925 года. Это был восьмой год советской власти, для победы которой так много сделал его отец — профессиональный революционер Валентин Андреевич Трифонов. Ещё будучи учеником ремесленного училища в Майкопе, шестнадцатилетний сын донского казака Валентин Трифонов вошел в организацию РСДРП(б), в том же году устроил в училище забастовку, был арестован и выслан на родину. Но это не остудило его революционный пыл. В 1905 году началась Первая русская революция, и Трифонов поспешил принять в ней участие: во время вооруженного восстания в Ростове командовал десятком дружинников. Восстание было подавлено, а семнадцатилетний Валентин Трифонов был арестован и выслан в Тобольскую губернию. Из ссылки он бежал и вновь принялся за старое: обосновался на Урале и некоторое время работал инструктором боевых дружин. В конце 1906 года последовал новый арест. После годичного заключения в тюрьме Трифонова высылают в Туринск, из которого он вновь бежит. Затем последовали новые аресты, новые ссылки, новые побеги. Можно лишь поражаться терпимости и снисходительности властей. Весной 1910 года Трифонов был выслан в Туруханский край, где пробыл три года и познакомился со Сталиным. После окончания ссылки Валентин Трифонов в 1914 году приехал в Петербург, где уже в следующем году организовал нелегальную

типографию.

Февральская и Октябрьская революции стремительно выдвинули профессионального революционера вперёд и вознесли его на вершину большевистского Олимпа. Трифонов стал играть первые роли. Это был его звёздный час. Валентин Андреевич принадлежал к когорте «пламенных революционеров», отличавшихся неуёмной энергией. Он занимался организацией Красной гвардии и руководил ею во время Октябрьской революции. Стоял у истоков создания Красной армии, принимал участие в разработке Устава РККА и был членом Реввоенсовета республики. В фондах Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) хранится примечательный снимок, датированный февралём — апрелем 1920 года. На фотографии запечатлён штаб Кавказского фронта: члены РВС С. И. Гусев (Драбкин) и Г. К. Орджоникидзе, командующий М. Н. Тухачевский, член РВС В. А. Трифонов. 7 декабря 1917 года Трифонов был назначен членом коллегии ВЧК. Именно Валентин Андреевич выбрал для этой организации печально знаменитое здание — Лубянка, дом 2, в подвалах которого ему предстояло оказаться двадцать лет спустя. Трифонов был активным участником Гражданской войны, во время которой он не только играл первые роли, но и не боялся критиковать политику репрессий против казачества. Это был человек, никогда и ни при каких обстоятельствах не опасавшийся «сметь своё суждение иметь». Безбоязненно прошедший через аресты и ссылки, он меньше всего думал о грядущих последствиях. «Мой отец всю жизнь пронёс на себе печать семнадцатого года. А есть люди конца двадцатых годов, середины тридцатых, и люди начала войны, и люди конца войны, и они, как и мой отец, остаются такими до конца своих жизней»[5].

Окончание войны привело к заметному понижению его социального статуса: Валентина Андреевича Трифонова демобилизовали из армии и направили на хозяйственную работу. Но это ещё не было низвержение с Олимпа. Юрий Валентинович Трифонов родился в семье председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, но вскоре после рождения сына Валентина Андреевича с большим понижением назначили помощником военного атташе в Китай. По сути это была почётная ссылка. Но и она не заставила его взяться за ум. Потомственный донской казак остался верен себе. Его жизнь до 1937 года — это череда служебных конфликтов и, как неминуемое следствие, поэтапное снижение статуса. Начало «большого террора» он встретил на посту председателя Главного концессионного комитета при Совнаркоме СССР. Должность была хоть и номенклатурной, но

более декоративной, нежели влиятельной. После того как был сломан хребет нэпу, Главконцесском занимался лишь визированием договоров, которые заключали хозяйственные наркоматы, а утверждал Совнарком. Впрочем, эта должность позволила Трифонову и его семье получить квартиру в Доме правительства, который с лёгкой руки его сына войдёт в историю под именем Дома на набережной. Возможно, Валентин Андреевич и не подвергся бы репрессиям, не подведи его в очередной раз конфликтный характер.

В 1936 году Валентин Трифонов написал книгу «Контуры грядущей войны» и направил рукопись в Политбюро ЦК: Сталину, Молотову, Ворошилову, Орджоникидзе. Всех их он знал лично. Суть изложенной в книге концепции принципиально расходилась с господствовавшей точкой зрения, что грядущая война будет вестись Красной армией на территории противника, а победа будет достигнута «малой кровью». Словом, как пелось в популярной песне тех лет, «малой кровью, могучим ударом». Валентин Трифонов же полагал, что армию, напротив, следует готовить к оборонительной войне. «Оборона является наиболее экономным способом ведения войны, и поэтому *оборона в условиях грядущей войны даст обороняющемуся, при прочих равных условиях, лишний шанс на победу*»[6]. Естественно, что государственное издательство не спешило с публикацией рукописи. Валентин Андреевич трижды писал членам Политбюро, напоминая о своей книге. Его последнее письмо было написано 17 июня 1937-го, через пять дней после расстрела маршала Тухачевского и его подельников. Это письмо поступило в Совнарком 19 июня, а поздним вечером 21-го за Трифоновым пришли. В это время его сын Юрий крепко спал. Мальчика не стали будить. Об аресте отца он узнал 22 июня. «Сегодня у меня самый ужасный день…» — записал в дневнике будущий писатель.

Спустя несколько месяцев, 3 апреля 1938 года, была арестована мать — Евгения Абрамовна Трифонова-Лурье. Как член семьи изменника родины (ЧСИР) она была осуждена на восемь лет. В те годы бытовала горькая шутка: нелюбимые жены получают пять лет лагерей, а любимые — восемь. Но её детям, Юрию и Татьяне, учитывая жестокие реалии сталинской эпохи, повезло. В школе № 19, где учился Юрий, детей «врагов народа» не заставляли публично, перед всем классом или школой, отрекаться от родителей[7]. В этой школе дети «врагов народа» не становились изгоями. Драма, пережитая во время ареста родителей, не была усилена прилюдным унижением и бойкотом со стороны сверстников.

Чудеса изобретательности проявила бабушка Юрия

Валентиновича по материнской линии — Татьяна Александровна Словатинская, дежурный секретарь в приёмной секретариата ЦК партии. В возрасте 19 лет, будучи студенткой Петербургской консерватории, она занялась подпольной революционной работой и с 1905 года была членом партии и хозяйкой конспиративной квартиры, которую посещали Ленин, Сталин, Калинин, Молотов и другие лидеры партии большевиков.

(Замечу в скобках, что ветеран партии большевиков Словатинская, у которой до революции были близкие отношения со Сталиным, несколько раз посылала ему в ссылку деньги и тёплые вещи. «Милая» — так называл он её в ответных письмах. Сталин знал, что Татьяна Александровна умела хранить партийные тайны. Когда в начале июня 1923 года члены Политбюро и президиума ЦК Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин, Томский, Сольц, Бухарин, Рудзутак, Молотов и Куйбышев в обстановке *строжайшей секретности* обсуждали вопрос о том, как быть с «Письмом к съезду» Ленина, и пришли к выводу, что политическое завещание вождя публиковать не следует, именно Татьяне Александровне Словатинской доверили вести протокол этого архи-секретного заседания[8]. Как известно, в «Письме к съезду» Ленин настаивал на отставке Сталина с поста Генерального секретаря ЦК партии. Это настойчивое требование Ильича было проигнорировано его ближайшими соратниками. Как же сложились их судьбы?! Троцкий был убит по приказу Сталина. Каменева, Зиновьева, Бухарина и Рудзутака расстреляли. Томский застрелился накануне неминуемого ареста. Сольц был помещён в психиатрическую клинику. Куйбышев умер при загадочных обстоятельствах, и судя по всему, был отравлен. Существуют многочисленные версии, утверждающие, что и смерть Сталина не была естественной: Берия, Маленков и Хрущёв способствовали его уходу из жизни, своевременно не оказав помощи. Лишь члены партии Молотов и Словатинская умерли своей смертью и были похоронены под звуки «Интернационала» — партийного гимна.)

В августе 1938-го Татьяна Александровна оформила опекунство над своими внуками — Юрием и Татьяной. Это спасло их сначала от детского дома для детей «врагов народа», а потом и от лагеря. «Большой террор» не пощадил эту большую семью. Был арестован Павел Лурье, сын Словатинской и дядя будущего писателя. Павлу ещё повезло: его выпустили через два года.

Евгений Андреевич Трифонов, старший брат отца писателя и профессиональный революционер, был членом партии с 1904 года. В тюрьме он сидел семь раз, а всего до революции провёл в тюрьмах и на каторгах одиннадцать лет. На каторге начал писать

стихи. И в дальнейшей жизни не был чужд литературных занятий. Публиковался под псевдонимом Евгений Бражнев. Во время Гражданской войны быстро продвинулся по карьерной лестнице от командира батальона до командующего группой дивизий. Однако в послевоенной жизни Евгений Трифонов не без труда нашёл своё место. И это место не было синекурой и совершенно не соответствовало его былым заслугам. После окончания войны недавнего командарма поспешно демобилизовали из армии. Спустя несколько лет вновь призвали и, с понижением в должности на несколько ступеней, направили служить в общественно-политическую оборонную организацию — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). После того как в армии в конце 1935 года были введены персональные воинские звания, Евгению Андреевичу пришлось снять с петлиц гимнастёрки *ромбы* высшего комсостава и заменить их *шпалами* старшего командира. Самолюбие бывшего командарма было уязвлено. Снижение статуса обрело вещественное содержание и социальную форму. Роковой 1937 год Трифонов встретил в звании полковника РККА. Это относительно невысокое звание, если учитывать предыдущие революционные заслуги, участие в Гражданской войне и наличие ордена Красного Знамени, спасло Евгения Андреевича от неминуемого ареста. До заурядного полковника из центрального аппарата Осоавиахима ещё не дошла очередь: прежде всего арестовывали тех, кто занимал более высокие служебные посты и имел более заметное положение в Красной армии. Полковника Трифонова всего-навсего исключили из партии, но не успели арестовать. Евгений Андреевич умер от разрыва сердца накануне неотвратимого ареста, и его прах был захоронен в колумбарии Донского кладбища. Захоронение выглядит заброшенным: за ним никто не ухаживает, давным-давно исчезла фотография[9]. В одном из своих стихотворений, включённых в авторский сборник «Буйный хмель», поэт Евгений Бражнев ещё в 1922 году предсказал свой горестный конец. Никогда не надо заглядывать в будущее, во всяком случае, не стоит озвучивать мрачные предчувствия: явленные городу и миру пессимистические прогнозы имеют обыкновение сбываться.

Так, с минувшим в разладе
И грядущему враг.
Ты к последней расплате
Поплетёшься, бедняк,

С сердцем в тягостном споре,

С вечной мукой в груди…
Ах, что было — не горе,
Горе всё — впереди![10]

Итак, накануне своего двенадцатилетия Юрий Трифонов из сына героя Гражданской войны и ответственного советского работника в одночасье превратился в сына «врага народа», и его жизнь потекла по другому руслу. 19 декабря 1937 года, только что узнав о смерти дяди Евгения Андреевича, он записал в дневник: «Весь вечер стонали и плакали женщины. Мы остались совершенно одни. Папа — арестован. Павел — арестован. Е. А. — умер… ОДИНОЧЕСТВО. ОДИНОЧЕСТВО!»[11]

Юра Трифонов ещё не знал, что очень скоро ему предстоит пережить ещё одно трагическое испытание — арест матери в апреле 1938 года. Вот тогда действительно ему придётся испытать самое настоящее одиночество. И рука об руку с одиночеством в его жизнь войдёт страх. Спустя три недели после ареста матери, 24 апреля, Юрий Трифонов придёт к выводу, который впору и умудрённому жизнью мужчине.

«Много дней уже прошло с тех пор, как арестовали и посадили в Бутырки мамочку. Дни стали для меня пустыми. <…> И я пришёл к такому выводу, что я должен испытать всё решительно, что есть на свете. Сначала я живал жизнь счастливую, беспечную, прекрасную во всех отношениях. Со мной был папа, была мама и оба дяди. В материальном смысле я тоже был обеспечен и жил в своё удовольствие. Но я хорошо не понимал всю прелесть этой жизни. <…> До ареста мамы я больше краснобайствовал.

Теперь, когда хлопнет дверь лифта, я весь съёживаюсь и жду звонка, за которым откроется дверь и войдёт агент Н.К.В.Д.

Вот что сделала со мной ЖИЗНЬ…

ЖИЗНЬ — страшная вещь, и, в то же время, — лучшая школа»[12].

Пройдёт ещё несколько месяцев после ареста матери. (О расстреле отца 15 марта 1938-го Трифонов узнает много лет спустя.) 11 июля 1938-го в дневнике подростка, которому ещё не исполнилось тринадцать лет, появилась пронзительная запись, свидетельствующая о том, как нелегко было сыну «врага народа» в кругу сверстников. «От папы ни слуху ни духу. Что-то с ним?.. Неизвестно! Тут с ребятами у меня конфликт. Однажды мы сидели на лестнице и разговаривали о собаках. Танька говорил, что мой отец стрелял в них. Я утверждал обратное. Ганька в колких и насмешливых выражениях описывал моего отца, я еле

сдерживал слёзы. Под конец он сказал: „Ну, теперь баста, хватит собак стрелять, попало ему на орехи“. Я не удержался и разревелся. Через некоторое время Ганька снова начал задираться вместе со Славкой, напоминая происшествие на лестнице. Я размахнулся и свистнул Славке по носу. Тот заревел. Вчера мы играли впятером в итальянку. Ганька меня снова дразнил обезьяной, я отвечал тоже. Под конец он решил довести меня до слёз и сказал: „Юрочка психует, весь в отца. Папаша-то сидит за решёточкой!“ Он хотел, чтоб я заревел. Но я сдержался и подошёл к нему, сказав: „А тебе какое дело?“ И замахнулся. Тот покраснел, отскочил в сторону и бросился бежать, я — за ним. Он скоро далеко убежал, струсил. В прошлом году, когда ещё никто не знал об аресте папы, я чистосердечно, как другу, рассказал всё Ганьке. Никому из всех ребят я этого не говорил. А Ганька оказался не другом, а просто подлецом»[13].

Ганька, Ганя — это Андрей Самсонов, друг детства Юры Трифонова. Автор дневника не догадывался, что настырные нападки Ганьки и его подростковая агрессия были своеобразной защитной реакцией. Отец Гани рано умер, а четверо братьев отца и их жёны были репрессированы, причём все мужчины и жена одного из них были расстреляны в том самом 1938 году. Когда начнётся война, пойдут воевать и Ганька, и Славка. Воевавший танкистом Андрей Самсонов закончит войну в Маньчжурии, останется жив и станет одним из ведущих архитекторов Москвы, а вот Славка погибнет.

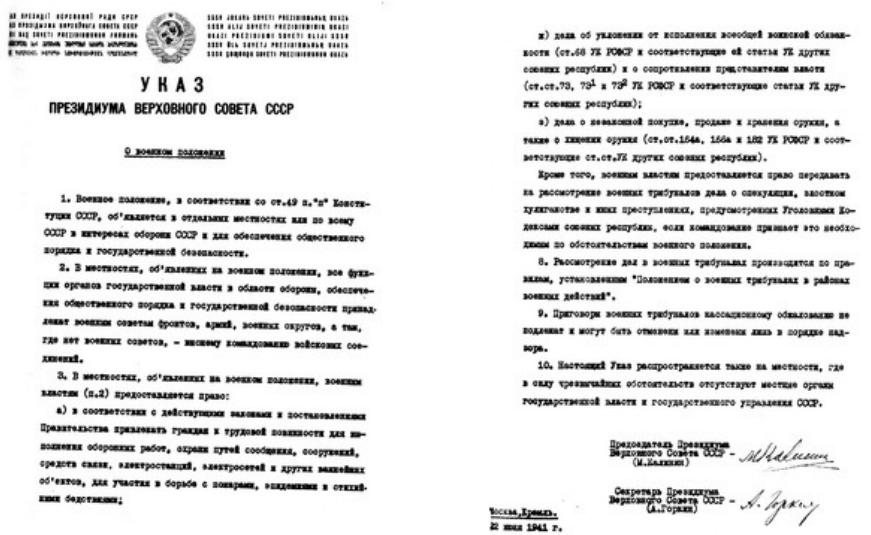
В начале октября 1939 года, когда в Европе уже шла Вторая мировая война, жизнь будущего писателя сделала новый крутой поворот. Закончилось детство. Татьяна Александровна Словатинская была выселена из Дома правительства и вместе с внуками Юрием и Татьяной Трифоновыми, приёмным сыном Андреем, невесткой А. В. Васильевой (женой П. А. Лурье) и её дочкой Екатериной переселена в две комнаты трёхкомнатной коммунальной квартиры на Большой Калужской улице — тогдашней окраине Москвы. Не самый худший вариант, если учесть бытовые реалии той эпохи. Бабушка заклинала внуков: не появляться во дворе, где прошло детство, не встречаться с прежними друзьями, просто исчезнуть из их жизни и не напоминать о своём существовании. Она резонно опасалась за будущее внуков, полагая, что ретивые чекисты, которыми был напичкан их бывший дом, легко сошьют очередное «дело», обвинив свободно разгуливающих рядом с Кремлём детей «врагов народа» в подготовке террористического акта против товарища Сталина. «…Бабушка наша была смелым человеком. Она не боялась за себя ни в юности, занимаясь подпольной работой, ни

позже. <…> Не боялась долгих вечерних прогулок по лесу, не боялась грозы и лихих людей. Но жила она в постоянном страхе…»[14] — вспоминала Татьяна Валентиновна Трифонова, сестра писателя. Пройдёт много лет. В Доме на набережной откроют музей, его посетит Татьяна Валентиновна и заметит: «В Доме мы с братом прожили самые счастливые и самые несчастные годы детства»[15].

«Вначале работал чернорабочим…»

Можно лишь гадать, как сложилась бы дальнейшая судьба Юрия Трифонова, если бы не началась война. Разделил бы сын «врага народа» судьбу тысяч себе подобных, кто после достижения совершеннолетия оказался в лагере (многое зависело от местных обстоятельств, от своекорыстных соседей, писавших доносы «комнаты ради», и т. п.), или же остался на свободе? На этот вопрос нет ответа. Великая Отечественная война, как это ни покажется кощунственным, привела к относительному улучшению его личной судьбы. На фоне общей беды, выпавшей на долю всех на долгие четыре года, жизнь Трифонова поражает своим сравнительным благополучием. Ему удалось так её построить, что в течение нескольких лет почти никто не вспоминал о компрометирующих моментах его такой ещё короткой биографии. В день своего шестнадцатилетия он беспрепятственно получил московский паспорт, который вряд ли выдали бы юноше, чьи родители репрессированы, в другое время, но 28 августа 1941 года московской милиции было не до него. Получив паспорт, ученик десятого класса стал бойцом комсомольско-молодёжной роты противопожарной охраны Ленинского района Москвы. В сентябре занятия в московских школах так и не начались, и Юрий дневал и ночевал в своей роте. По ночам немецкая авиация совершала налёты на Москву, в городе было много деревянных домов, от зажигательных бомб возникали пожары. По-видимому, Трифонов был на хорошем счету. Когда осенью 1941-го Словатинская с внучкой Таней отправлялась в эвакуацию, командование предоставило бойцу Трифонову отпуск. Он должен был отвезти свою семью в Ташкент и вернуться в Москву. До Ташкента добирались долгих 28 дней, а там Трифонова незамедлительно мобилизовали на трудовой фронт. Уклонение от мобилизации, по законам тех лет, квалифицировалось как уголовное преступление и наказывалось лагерным сроком. О возвращении в Москву пришлось забыть: в прифронтовой город пускали только по вызовам от оборонных

учреждений.



УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О военном положении

1. Военное положение, в соответствии со ст.49 п."г" Конституции СССР, об'является в отдельных местностях или по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности.

2. В местностях, об'явленных на военном положении, все функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности переходят к военным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где нет военных советов, – к военному командованию войсковых соединений.

3. В местностях, об'явленных на военном положении, военным властям (п.2) предоставляется право:

а) в соответствии с действующими законами и постановлениями Правительства привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей сообщения, сооружений, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших об'ектов, для участия в борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями;

и) дела об уклонении от исполнения всеобщей воинской обязанности (ст.58 УК РСФСР и соответствующие ей статьи УК других союзных республик) и о сопротивлении представителям власти (ст.ст.73, 73^1 и 73^2 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик);

з) дела о незаконной покупке, продаже и хранении оружия, а также о хищении оружия (ст.ст.164а, 166а и 182 УК РСФСР и соответствующие ст.ст.УК других союзных республик).

Кроме того, военным властям предоставляется право передавать на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, бандитизме и иных преступлениях, предусмотренных Уголовными Кодексами союзных республик, если командование признает это необходимым по обстоятельствам военного положения.

8. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по правилам, установленным "Положением о военных трибуналах в районах военных действий".

9. Приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию не подлежат и могут быть отменены или изменены лишь в порядке надзора.

10. Настоящий Указ распространяется также на местности, где в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные органы государственной власти и государственного управления СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР - (М.Калинин)

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР - (А.Горкин)

Москва, Кремль,
22 июня 1941 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении», принятый 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Советский Союз. ГАРФ

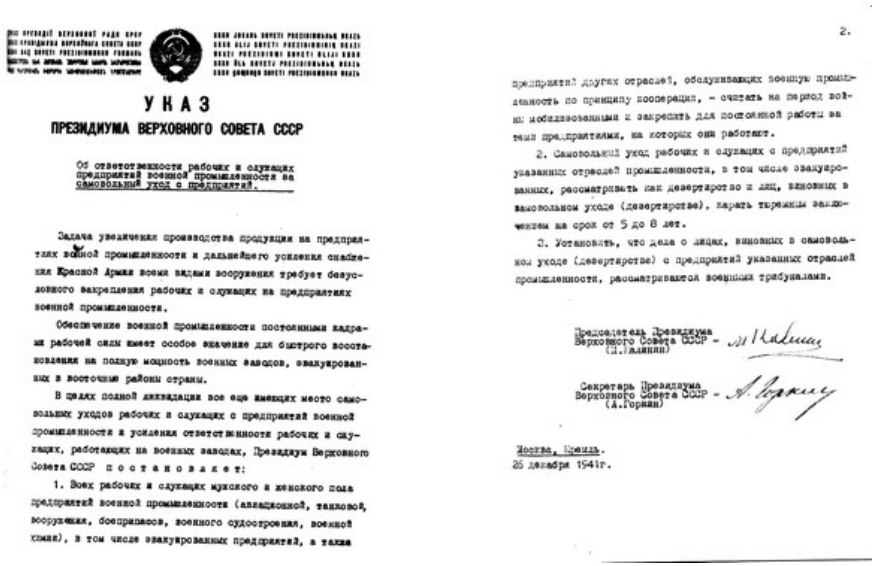
Лишь спустя год, в ноябре 1942-го, Юрий Трифонов, закончивший к тому времени школу-десятилетку и успевший потрудиться не только рабочим на строительстве канала, но и слесарем-станочником на Ташкентском чугунолитейном заводе, сумел завербоваться на большой московский авиационный завод и вернуться в Москву. Война дала ему шанс начать жизнь с чистого листа, и Трифонов свой шанс не упустил. Его попытка поступить в Ташкентское военное училище закончилась неудачей: подвели как сильная близорукость (—7), так и неподходящие анкетные данные. И тогда Трифонов сделал наиболее верный в его обстоятельствах выбор. Он стал рабочим номерного завода. На оборонный завод устроиться оказалось куда проще, чем в училище: предприятию требовались квалифицированные кадры, а закончившие десятилетку юноши даже ради получения рабочей карточки, по которой полагалось 700 граммов хлеба в день, встать к станку не спешили, их влекла фронтовая героика. Поэтому анкета, которую заполнял Трифонов при поступлении на завод, была много короче той, что заполнялись в иных местах, да и работники заводской кадровой службы не были изначально настроены на отказ. Осенью 1942 года враг всё ещё стоял у стен столицы, и фронту нужны были самолёты. Так сын «врага народа»

стал рабочим авиационного завода. «Вначале работал чернорабочим, потом получил специальность слесаря, был диспетчером цеха, техником по инструменту, редактором заводской газеты»[16], — вспоминал позже Трифонов в письме, опубликованном в «Пекинской газете».

Ватник рабочего, в просторечии ласково называемый телогрейкой, превратился в символ новой жизни, стал для Трифонова своего рода пропуском в литературу. Молодой человек интеллигентского вида и семитской наружности, в очках с толстыми стёклами, облачённый в телогрейку, заметно выделялся среди рабочих завода и невольно обращал на себя внимание. (Даже профессиональный имиджмейкер или стилист, да простятся мне эти неологизмы, вряд ли придумал бы для будущего писателя что-то более заметное и впечатляющее!)

«Была ещё одна, изумлявшая нас рифма судьбы: мой детский сад находился как раз в переулке за Белорусским вокзалом, по которому Юрий ходил на завод. Я даже помню его в те времена: высокий, с пышными волосами, в телогрейке, в грубых солдатских ботинках, в очках… Юрий не верил, что помню, но была одна деталь, придумать или домыслить которую невозможно: человек, на которого я обратила внимание, носил под мышкой чёрную загадочную трубу, может, она-то и привлекала меня. Юрий выпускал тогда стенную газету цеха, и это был футляр»[17].

Именно таким девочка Оля Мирошниченко, во время войны ходившая ещё в детский сад, впервые увидела и хорошо запомнила своего будущего мужа. Ватник рабочего, запомнившийся многим современникам писателя, помог Трифонову утвердиться в жизни. В 1943-м он был принят в комсомол, в августе 1944-го сдал документы для поступления в Литературный институт им. А. М. Горького, а в октябре, в возрасте девятнадцати лет, был назначен заместителем редактора заводской газеты «Сталинская вахта». При поступлении Трифонова в Литинститут произошёл забавный казус. Юноша собирался поступать на отделение поэзии и принёс в Литинститут три школьные тетрадки со своими стихотворениями, написанными «под Маяковского», и стихотворными переводами с немецкого языка. (В его архиве сохранились рукописи около ста стихотворений.)



УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий.

Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной промышленности и дальнейшего усиления снабжения Красной Армии всеми видами вооружения требует безусловного закрепления рабочих и служащих на предприятиях военной промышленности.

Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами рабочей силы имеет особое значение для быстрого восстановления на полную мощность военных заводов, эвакуированных в восточные районы страны.

В целях полной ликвидации все еще имеющих место самовольных уходов рабочих и служащих с предприятий военной промышленности и усиления ответственности рабочих и служащих, работающих на военных заводах, Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т:

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного судостроения, военной химии), в том числе эвакуированных предприятий, а также

2.

предприятий других отраслей, обслуживающих военную промышленность по принципу кооперации, - считать на период войны мобилизованными и закрепить для постоянной работы на тех предприятиях, на которых они работают.

2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как дезертирство и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе (дезертирстве) с предприятий указанных отраслей промышленности, рассматриваются военными трибуналами.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР - М.Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР - А.Горкин

Москва, Кремль.
26 декабря 1941г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». ГАРФ

В качестве своеобразного «довеска» абитуриент приложил рассказ. Рассказ был написан от руки чернилами, но не в школьной тетрадке, а на длинных полосах бумаги, которая использовались на складе авиационного завода для завёртывания инструментов. Трифонову удалось сделать неплохой запас этой бумаги. Во время войны достать белую писчую бумагу было невозможно, а грубая и серая складская бумага была к тому же очень плотной: ведь она предназначалась для металлического инструмента. Дело было за малым: правильно подобрать перо. Школьные перья — номер 11 («звёздочка») и номер 12 («подкова»), которые использовались в младших классах на уроках чистописания, — не годились, их острые концы, подобные иглам, лишь царапали шероховатую поверхность складской бумаги. А вот никелированное конторское перо номер 23 («уточка») было в самый раз. Кончик «уточки» имел широкую и слегка изогнутую седловину, закруглённое утолщение, которое при письме давало ровную линию без нажима. Школьникам младших классов строго-настрого запрещалось писать «уточкой», учителя за этим следили, полагая, что «первоклашкам» для выработки хорошего почерка необходимо сначала научиться писать с нажимом, а вот в конторах и государственных

учреждениях пользовались только конторским пером. «Уточка» благодаря закруглённому кончику стального пера не царапала и не рвала поверхность даже тонкой и низкосортной конторской бумаги, а уж по плотной складской скользила легко, причём с весьма характерным и очень приятным шорохом, да и чернила на такой бумаге не расплывались.

Каково же было удивление абитуриента, когда спустя месяц выяснилось: стихи «так себе», а вот рассказ понравился председателю приёмной комиссии Константину Александровичу Федину, классику советской литературы и автору романов «Города и годы» и «Похищение Европы».

Так Юрий Трифонов стал студентом-заочником отделения прозы Литинститута и начал посещать творческий семинар Константина Федина. Студент сразу же обратил на себя внимание литературного мэтра, о чём сам Константин Александрович не без удовольствия вспомнил спустя три десятилетия в статье «Тропою в гору» (Литературная газета. 1973. 28 ноября): «…он показался мне недюжинным по своей зоркой наблюдательности и простоте. Он берёт то, что видит. Представления его о жизни и о том, что надо писать, как-то грубо реалистичны, прямолинейны, но точны»[18]. Обращающая на себя внимание грубая обёрточная бумага, на которой был написан рассказ, была овеществлённым подтверждением этого итогового вывода: действительно, автор хорошо знал ту жизнь, о которой писал в своих первых рассказах, а писал Трифонов о рабочих завода.

Чтобы больше не возвращаться к теме писательского оснащения, скажу, что для писателя Трифонова всегда было небезразлично то, на какой бумаге он пишет. Юрий Валентинович творил в докомпьютерную эру и тексты писал от руки. Для него было не очень существенно, чем писать, во всяком случае, он не оставил свидетельств о приверженности к авторучкам той или иной фирмы. Причина понятна. Для советского писателя выбор импортной авторучки представлял разве что академический интерес: отечественные авторучки, даже снабжённые золотыми перьями, оставляли желать лучшего, чернила были отвратительными. Хорошо помню, как я процеживал советские чернила «Радуга» через несколько слоев фильтровальной бумаги, «промокашки», чтобы повысить их качество. Помогало! А вот хорошую бумагу достать было можно, хотя и очень непросто.

(Замечу в скобках. До нас дошли колоритные рассуждения Алексея Николаевича Толстого о специфике писательского ремесла. «В ноябре 1935 года мы договорились с Алексеем Николаевичем поехать в Гагру… Два дня спустя я случайно обнаружил, что потерял автоматическую ручку. Толстой

остановился, поражённый. — И хорошая была ручка, какой марки? — Ватермана… — Хорошая! Вот это беда! Никто не понимает, что такое для писателя орудия его производства: самопишущие перья, хорошая бумага, удобная, портативная машинка, большой письменный стол, тихий, изящно убранный кабинет… Каждый мастер любит свои инструменты, каждый дурак знает, что на заводе рабочее место, отличный станок — залог успеха. А вот снабдить писателя всем, что ему необходимо для работы — об этом никто не думает. У Литфонда есть всё, что угодно — книжные магазины, санатории, пошивочные ателье… А нужно устроить магазин, где писатель мог бы получить всё, что ему необходимо для работы, начиная от письменных принадлежностей и бумаги и кончая продуманной мебелью для рабочего кабинета. — Он остановился и уже сердито добавил: — А я утверждаю, что на дрянной бумаге, карандашом нельзя написать хорошее произведение…»[19])

Один московский литератор, современник Трифонова, высказался с предельной определённостью о методах своей работы. «Перо должно быть отменным, послушным, совершенно покорным, чтобы отдаваться письму всецело и не тратить нервы на преодоление». А говоря об инструментальном оснащении своей «мастерской», сказал: «Ручка с хорошим пером и текучие яркие чернила да отменная бумага»[20]. Ольга Романовна Трифонова, вдова писателя, в частной беседе со мной призналась, что Юрий Валентинович любил качественные канцелярские принадлежности. В частности, Трифонов всегда просил Ольгу Романовну привезти ему из заграничной поездки чёрные фломастеры, которые тогда ещё не выпускались в Советском Союзе. У фломастера был фетровый стержень, дававший хорошо различимую широкую и жирную чёрную линию. Писатель использовал эти фломастеры для вычёркивания тех или иных фрагментов текста. Добиваясь максимального совершенства, мастер отсекал лишнее.

Юрий Валентинович достаточно подробно написал о том, на какой именно бумаге он предпочитал писать в разные годы своей жизни.

«Меняются времена, меняется жизнь, меняются сорта бумаги, перья и пишущие машинки. Когда-то я любил писать в тонких школьных тетрадях в клетку. Ни на чём другом не писалось. Весь роман „Утоление жажды“ написан в тонких тетрадях для арифметики. Казалось, эта привычка останется до конца жизни. Потом внезапно перешёл на простую белую бумагу, потребительскую, и теперь пишу только на ней. Отчего эта перемена? Мне кажется, найдётся объяснение, если подумать

всерьёз.

Раньше писал более связно. Одно клеилось к другому, одно текло из другого. В этой связности была и *связанность*. Для такой последовательной и равномерной прозы требовалась последовательность и равномерность бумаги, одна страничка за другой, цепко сшитые проволочными скрепками. Теперь стремлюсь к связям отдалённым, глубинным, которые читатель должен нащупывать и угадывать сам. „И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг“. Пробелы — разрывы — пустоты — это то, что прозе необходимо так же, как жизни. Ибо в них — в пробелах — возникает ещё одна тема, ещё одна мысль.

Для такой прозы, якобы разрывчатой, нужны разрывы в бумаге: отдельные листы. Вот и причина, по-моему, заставившая перейти от тетрадей в клетку на потребительскую бумагу. Случилось это, конечно же, совершенно неосознанно»[21].

Однако в середине 1940-х Трифонов ещё писал рассказы в школьных тетрадях в клеточку. Именно с такими тетрадями он и ходил на семинар, который вёл Федин. Формально первокурсник, да ещё и студент-заочник, не имел права на посещение семинара, но Константин Александрович с симпатией относился к этому неторопливому и вдумчивому студенту в рабочем ватнике. Трифонов сумел очень скоро выделиться из среды однокурсников, причем выделиться отнюдь не своим ватником. Он прочитал на семинаре один из своих рассказов — историю чернорабочего по кличке «Урюк». Двенадцать членов фединского семинара уподобились двенадцати молотобойцам и стали «плющить» рассказ на семинарской наковальне. Их претензии были обоснованны: первокурсника можно было обвинить и в шаблонной композиции, и в обилии штампов, и в невыразительности языка. Федин не выдержал. Ударил кулаком по столу с неожиданной яростью: «А я вам говорю, что Трифонов писать будет!» [22] И чтобы не выглядеть слишком категоричным, пояснил свою мысль: сквозь все очевидные недостатки рассказа просвечивает ощущение подлинности жизни, ощущение достоверности рассказанной истории. Это — самое главное.

Литературный мэтр сделал два практических вывода, имевших судьбоносное значение в жизни начинающего писателя. Во-первых, серьёзного юношу стоит держать на примете, потому что из него, несомненно, будет толк. Во-вторых, его надо перевести на очное отделение. Сказано — сделано. В 1945 году Трифонов стал студентом очного отделения Литинститута, что дало ему законное основание уволиться с оборонного завода. Экономика страны была мобилизационной, и уволиться по собственному желанию с любого предприятия, не говоря уже об

оборонном, было очень непросто. Благодаря Федину жизнь Юрия Трифонова снова сменила русло. После всех трагических передряг 30-х годов его бытие стало меняться к лучшему.

«Влетел в литературу, как дурак с мороза»

Когда Трифонов поступал в Литературный институт, до окончания войны оставался ещё год, и фронтовиков в его стенах было мало. Когда же он перевёлся на очное отделение и стал студентом второго курса, ситуация принципиально изменилась: ряды студентов пополнились демобилизованными фронтовиками. Вспоминает хорошая знакомая Трифонова поэтесса Инна Гофф: «Теперь война кончилась, и среди бушлатов и кителей кургузые гражданские пиджачки выглядели сиро. Но к нему это не относилось. Он уже утвердил себя, удачно выступив на семинаре Федина… Великое дело — заявить о себе. Утвердиться. Он уже утвердился, в отличие от тех, в морских бушлатах и армейских гимнастёрках. Здесь, на мирном полигоне, они выглядели в сравнении с ним необстрелянными новобранцами…»[23]

У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об учреждении медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г."

1. В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".

2. Наградить медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.":

а) рабочих, инженерно-технический персонал и служащих промышленности и транспорта;

б) колхозников и специалистов сельского хозяйства;

в) работников науки, техники, искусства и литературы;

г) работников советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций -

обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.

3. Утвердить Положение о медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".

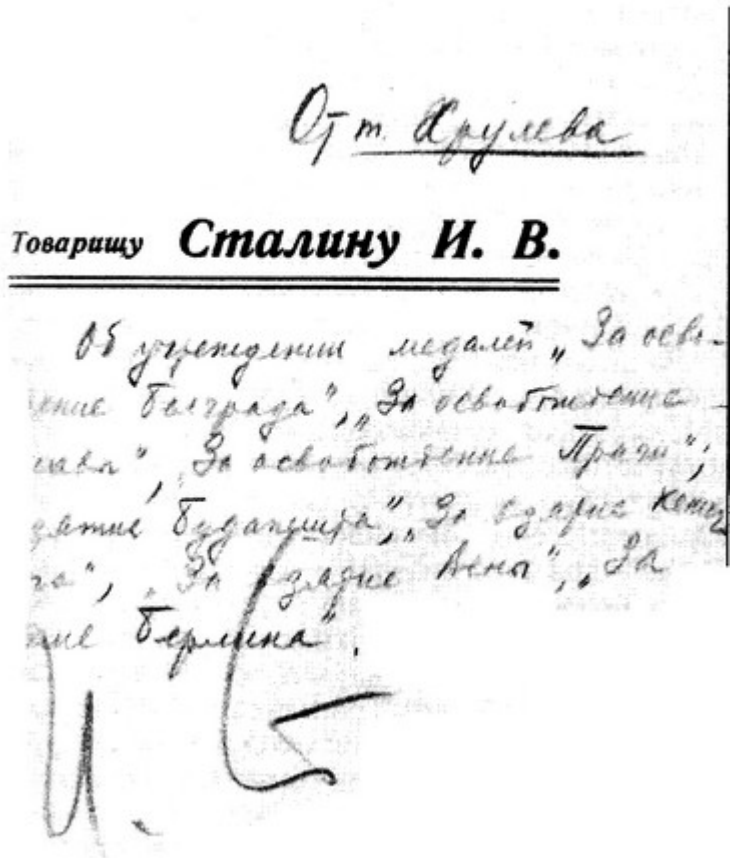
4. Утвердить описание медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР - М.Калинин
(М.Калинин)

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР - А.Горкин
(А.Горкин)

Москва, Кремль.
6 июня 1945 г.
№ 252.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года «Об учреждении медали „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.“». ГАРФ


От т. Хрулева

Товарищу **Сталину И. В.**

Об учреждении медалей „За осво-
бождение Белграда", „За освобождение
Варшавы", „За освобождение Праги";
„За взятие Будапешта", „За взятие Кё-
нигсберга", „За взятие Вены", „За
взятие Берлина".

Докладная записка генерала армии А. В. Хрулёва об учреждении медалей «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина» с резолюцией И. В. Сталина. ГАРФ

Прошло три года. Три первых послевоенных года. Сколько событий они принесли! Между былыми союзниками по антигитлеровской коалиции полным ходом шла полномасштабная холодная война. В СССР был создан легендарный автомат АК-47, хотя имя его создателя старшего сержанта Калашникова ещё не стало мировым брендом. Шло восстановление разрушенного войной народного хозяйства, и миллионы фронтовиков начали с нуля осваивать реалии мирной

жизни. В стране провели денежную реформу и отменили карточки. Началась идеологическая кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом», направленная против «безродных космополитов».

В эти годы студент Литинститута Юрий Трифонов замахнулся на написание книги о своих сверстниках. В ноябре 1948 года 23-летний студент прочёл несколько глав из повести «Студенты» на семинаре в институте. Однокурсница Трифонова Инна Гофф с протокольной точностью донесла до нас атмосферу этого семинара: манеру авторского чтения и реакцию присутствующих. «…В ту пору чтение и впрямь несло в себе некий заряд, подобный атмосферному электричеству… Он читал неторопливо, размеренно, несколько скучным голосом. И это было резким контрастом с тем, о чем он читал. И тем, как это было написано, — нам казалось, что блистательно… Юркина повесть показалась мне многообещающей. Такую вещь послушаешь и заражает, хочется писать… Тогда был его триумф. Юра был бледен. Красные пятна на лице подчёркивали бледность. Значит, волновался…»[24] Так сбылось пророчество Константина Федина. Юрий Трифонов стал писателем. В следующем, 1949 году он окончил Литературный институт, причём повесть «Студенты» была представлена им как дипломная работа. Однако и после окончания института Трифонов продолжил работу над рукописью, шлифуя и совершенствуя текст. Ему доставляло удовольствие «вылизывать» своё детище. В январе 1950 года повесть была завершена.

Современные читатели эры всеобщей компьютеризации уже вряд ли способны ощутить всю ту гамму переживаний, которые испытывал автор, от руки написавший книгу и поставивший последнюю точку. Для Пушкина, который пользовался гусиными перьями, но успел дожить до появления стальных перьев («Медный всадник» написан в 1833 году стальным пером), момент окончания работы обладал каким-то сакральным смыслом: Александр Сергеевич нередко фиксировал не только дату, но и время завершения работы. С точностью до четверти часа скрупулёзно отмечен финал «Евгения Онегина», с точностью до минуты — итоговые строфы «Медного всадника». Так обстояло дело в XIX столетии. В XX веке литераторы пользовались авторучками и пишущими машинками. Момент окончания работы всегда был материализован, нагляден, осязаем, получал вещественное воплощение, которым автор, как правило, сполна наслаждался. Завершение работы над рукописью было растянуто во времени. Черновая рукопись переписывалась набело. Беловая рукопись перепечатывалась самим автором или машинисткой,

раскладывалась по экземплярам в стопки, а те укладывались в папки с тесёмками. По толщине бумажной стопки сразу было видно, что́ написал автор — короткий рассказ, небольшую повесть, пухлый роман, многотомную эпопею. Завершённая работа отпочковывалась от автора, отчуждалась от него и начинала существовать независимо от своего создателя, обретая свою собственную судьбу — счастливую или нет, но свою. Habent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу.

Карточка на промышленные товары «Литера Д» — детская.

Москва. 1947 г. [25]

II полуг. 1947 г. №1 один Р
II полуг. 1947 г. №2 два Р
II полуг. 1947 г. №3 три Р
II полуг. 1947 г. №4 четыре Р
II полуг. 1947 г. №5 пять Р
II полуг. 1947 г. №6 шесть Р
II полуг. 1947 г. №7 семь Р
гор. ЛЕНИНГРАД
Карточка на промышленные товары
Р
II полугодие 1947 г. на 125 купонов
Фамилия, И., О.
м. п.
ПРИ УТЕРЕ КАРТОЧКА НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
II полуг. 1947 г. 10 купонов
II полуг. 1947 г. 1 купон
II полуг. 1947 г. 1 купон
II полуг. 1947 г. 2 купона
II полуг. 1947 г. 3 купона
X
II полуг. 1947 г. 5 купонов
II полуг. 1947 г. 4 купона

Карточка на промышленные товары «Литера Р» — рабочая. Москва. 1947 г.

Итак, пухлая рукопись объёмом в 20 авторских листов (500 машинописных страниц!) была уложена в две старые желтые канцелярские папки довоенного образца, принадлежавшие,

вероятно, ещё Валентину Андреевичу Трифонову. Выпускник Литинститута и автор всего-навсего двух опубликованных рассказов повёз эти папки с рукописью на квартиру к Федину, жившему в писательском доме, что в Лаврушинском переулке. Дальнейшие события развивались стремительно. Классик советской литературы не стал читать опус начинающего писателя: он уже имел представление о трифоновской прозе, и этого было для него достаточно. Константин Александрович, член редколлегии журнала «Новый мир», снял телефонную трубку и позвонил Александру Трифоновичу Твардовскому. Трижды лауреат Сталинской премии Твардовский в возрасте сорока лет накануне был назначен главным редактором «Нового мира». Этот звонок стал судьбоносным. Федин рекомендовал Твардовскому напечатать повесть в журнале. В тот же день курьер «Нового мира» приехал к Трифонову, взял папки с рукописью и доставил их главному редактору. Это было нечто из ряда вон выходящее! К начинающему автору, только что окончившему Литинститут и ещё не опубликовавшему ни одной книги, прислали казённого курьера. Казалось бы, велика важность, мог бы и сам привезти рукопись в редакцию. Однако 24-летнему Трифонову было оказано небывалое почтение. По сложившейся практике тех лет курьер приезжал исключительно к литературным мэтрам, имевшим не только громкое литературное имя, но и высокий социальный статус. Например, не только курьер, но и штатный редактор всегда приезжали к Илье Григорьевичу Эренбургу, лауреату Сталинских премий и всемирно известному публицисту. Однако, бывало, не только начинающие авторы, но и почтенные литераторы сами приносили свои опусы в секретариат редакции, чтобы затем терпеливо ожидать решения судьбы своего детища. А тут такой колоссальный прыжок — через все барьеры. Звонок Федина — и рукопись на столе главного редактора.

Затем последовал ещё один подарок судьбы. Прошло десять или двенадцать дней, и Трифонову внезапно пришла телеграмма: «Прошу прийти в редакцию для разговора. Твардовский». Вероятно, не могли дозвониться. Состоялась встреча. Последовал вердикт главного редактора: рукопись отредактировать и сократить, а с автором заключить издательский договор. После того как с официальной частью было покончено, Александр Трифонович доверительно сказал: «А знаете, Юрий Валентинович, моя жена заглянула в вашу рукопись и зачиталась, не могла оторваться. Это неплохой признак! Проза должна тянуть, тянуть, как хороший мотор…»[26]

На этом подарки судьбы не закончились. Твардовский нашёл для повести Трифонова прекрасного редактора — Тамару

Григорьевну Габбе, детскую писательницу, литературоведа, автора пьесы-сказки «Город мастеров» и адресата лирики Самуила Маршака.

> А была ты и звонкой и быстрой.
> Как шаги твои были легки!
> И казалось, что сыплются искры
> Из твоей говорящей руки[27].

Тамара Григорьевна была человеком изумительной доброты и редактором высочайшей квалификации: «…про неё говорили „лучший вкус Москвы“, а ещё раньше „лучший вкус Ленинграда“»[28]. Действительно, это был подарок. Совместная работа продолжалась в течение трёх месяцев, до конца лета. Тамара Григорьевна оценила рукопись иначе, чем это сделал Твардовский: «…Там *не лишнее, а там не хватает.* Надо углублять, мотивировать»[29]. По советам Габбе Трифонов написал почти три листа нового текста: повесть насыщалась смыслом. После редактуры Габбе, которая была внештатным сотрудником редакции и работала на договоре, повесть принялась читать и править штатная сотрудница «Нового мира». Вспомним, что на дворе стоял 1950 год и так, вероятно, проявилась борьба с «безродными космополитами» — заведомо нерусская фамилия внештатного редактора и «сомнительные» моменты её биографии. Скончавшийся ещё до революции отец Тамары Григорьевны принял христианство, чтобы поступить в Военно-медицинскую академию. Сама Габбе осенью 1937-го была арестована как «член вредительской группы, орудовавшей в детской литературе». Следователям не удалось сломить эту хрупкую и красивую женщину, да и хлопоты Маршака неожиданно возымели успех, и уже в декабре Габбе освободили. В этих обстоятельствах надо было подстраховаться и отдать рукопись штатному редактору, чья биография не вызывала бы ассоциаций с «безродными космополитами».

О том, что произошло дальше, Юрий Валентинович, у которого не сложились отношения с новым редактором, очень живописно поведал в своих воспоминаниях. «С дамой сразу возник конфликт. Это была редактриса того распространённого типа, который я бы назвал типом *бесталанного самомнения*: талантом, то есть чутьём и пониманием литературы, бог обидел, а самомнение наросло с годами от сознания свой власти над рукописями и авторами. <…> Работа началась с черканья и перестановки слов на первой же странице. Я вступил в спор. Дамское самомнение кипело. Я упорно не уступал. Больше всего

меня задело пренебрежение дамой не к моему тексту, а к авторитету Тамары Григорьевны. Черкать и переставлять слова во фразе, ей одобренной! И эдак с маху, с налёту! А Тамара Григорьевна вовсе не брала ручку и ничего сама не правила в рукописи. Да и что за замечания? „Которые… которые… как… как…“ Можно согласиться, можно не соглашаться. Я решил не соглашаться. <…> Пожалуй, я вёл себя рискованно. Но тогда этого не сознавал»[30].

Юрий Трифонов вёл себя не просто рискованно, а очень рискованно, если учесть, что он был начинающим автором и решалась его судьба. Трифонов пошёл к Твардовскому и решительно потребовал назначить другого редактора. Твардовский вник в суть конфликта и принял радикальное решение, избавившись от некомпетентной сотрудницы. Трифонов, не без сарказма, поведал о дальнейшей судьбе незадачливой редактрисы: «Дама, которая наскочила на меня, как баржа на мель, переплыла в „Советский писатель“ и лет двадцать благополучно подчёркивала там слова „которые“ и „как“»[31].

Отредактированная рукопись повести «Студенты» не залежалась в редакционном портфеле и в том же 1950-м была опубликована в октябрьской и ноябрьской книжках журнала «Новый мир». После того как рукопись была послана в набор и накануне выхода в свет октябрьской книжки «Нового мира» начинающий автор совершил ещё один очень смелый поступок. Он написал любовную записку, адресованную известной московской красавице — певице Нине Алексеевне Нелиной, солистке Большого театра, и назначил ей свидание.

«Трифонов — Нелиной в Большой театр, 23 сент. 50 г. Дорогая Нина! Я безумно люблю Вас. Нам необходимо встретиться. Вы не знаете меня, но сегодня мы должны познакомиться, и… Вы всё узнаете! Всё, всё!!! Ради бога не отвергайте моего предложения! Умоляю Вас! Сегодня в 6 ч. вечера мы встречаемся у стадиона „Динамо“ и едем за город. Это решено! Я уверен, что Вы согласитесь. Любимая, жду Вашего ответа у 1-го подъезда. Ваш навеки, Ю. Трифонов. P. S. Вы были сегодня восхитительны! Ю. Три…»[32] Красавицу, уже успевшую побывать замужем и отнюдь не обделённую вниманием поклонников, ещё никогда не приглашали на свидание на стадион. Она удивилась… и пришла на свидание, благо стадион «Динамо» находился неподалёку от Верхней Масловки, где вместе с родителями жила певица. Юрий и Нина стали встречаться. Так в жизни и судьбе писателя появился тайный сюжет, рассказ о котором впереди.

После выхода «Студентов» 25-летний Трифонов проснулся

знаменитым. Казалось, что река его жизни сделала крутой поворот и потекла по широкому руслу: «Обрушились сотни писем, дискуссии, диспуты, телеграммы с вызовом в другие города. Всё это началось в декабре и продолжалось, нарастая, в течение всей зимы. В редакцию „Нового мира“ я заходил за письмами, которые Зинаида Николаевна (секретарь редакции. — *С. Э.)* собирала в толстые пакеты и, передавая их мне, шептала с изумлением: „Послушайте, ну кто бы подумал! Ведь только Ажаев получал столько писем!“ Члены редколлегии, которые раньше меня не замечали и едва здоровались — с какой бы стати им замечать? — теперь останавливали меня в зальчике и задавали вопросы.

Катаев сказал, что он в два счёта сделал бы из меня Ильфа и Петрова. „Небось уж подписались в Бюро вырезок? И носят вам на квартиру такие длинные конверты со всякой трухой?“ — спросил он.

Я не слышал, что существует какое-то Бюро вырезок. Твёрдо решил: не подпишусь. Но через год всё-таки подписался»[33].

Успех шёл по нарастающей. В начале января 1951 года в газете «Правда», самой главной газете СССР, появилась положительная рецензия. Появление публикации в «Правде» было связано с тем, что редакция «Нового мира» выдвинула повесть Юрия Трифонова на соискание Сталинской премии. В ту эпоху рецензия в «Правде» могла резко изменить жизнь писателя: положительная — вознести, разгромная — уничтожить, притом с неотвратимостью античного рока. Итак, «Правда» *вознесла.* 15 марта на заседании Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства автору повести «Студенты» была присуждена Сталинская премия 3-й степени, денежный эквивалент которой составлял 25 тысяч рублей. 25-летний Юрий Валентинович Трифонов стал, пожалуй, самым молодым лауреатом за все годы существования этой премии. Это был апогей его успеха — жизненного и литературного. Последствия сказались незамедлительно.

«Мне звонили товарищи, поздравляли. Посыпались всякие лестные предложения: из „Мосфильма“, из театра, с радио, из издательства. Люди, меня окружавшие, были ошарашены; я же, представьте, принимал всё, *как должное*! И вёл себя глупо»[34]. Трифонов ответил отказом на лестное предложение «Мосфильма» написать сценарий по его повести. Свой отказ мотивировал нежеланием эксплуатировать успех. Посчитал это *унизительным* для себя. «Художник и дела — это гадость, это плебейство»[35]. Издательство «Советский писатель» захотело выпустить отдельное издание повести. И вновь последовал гордый отказ. Якобы когда-

то, полтора года назад, первое издание было обещано издательству «Молодая гвардия», и Трифонов не находит для себя возможным нарушить данное слово. Именно данное слово, а не издательский договор, который ещё не был заключён. К чести автора, он своё слово сдержал. Первое отдельное издание «Студентов» вышло именно в «Молодой гвардии». Но ничто не помешало бы ему опубликовать повесть и в «Советском писателе». В то время ситуация на книжном рынке принципиально отличалась от нынешней. В стране существовал огромный читательский голод, и издательская практика тех лет была такова, что популярные книги параллельно выходили в нескольких издательствах и, не залеживаясь на прилавках книжных магазинов, благополучно доходили до своего читателя.

Впрочем, на некоторые заманчивые предложения молодой автор соглашался. Он благосклонно отнёсся к предложению Театра им. Ермоловой поставить спектакль «Молодые годы» по повести «Студенты». Почему Юрий Валентинович не посчитал театральную инсценировку повести эксплуатацией успеха — непонятно. Вероятно, потому, что интеллектуалы тех лет с известной долей высокомерия относились к кинематографу, но благоговели перед театром. Известна фраза Анны Ахматовой: «Кино — это театр для бедных». А может быть, Трифонов согласился на театральную инсценировку, потому что ему понравился главный режиссёр театра Андрей Михайлович Лобанов. Не просто понравился, а пришёлся по душе, причём не только сутью эстетической концепции, но и стилем жизни, характером дарования, отношением к искусству. Именно Лобанов остался для Трифонова «поразительным и как бы вечным… примером человека театра, истинного художника или, как говорили в старину, а на Западе говорят до сих пор, — Артиста»[36].

Государственный казначейский билет СССР. 1947 г.

Билеты Государственного банка СССР. 1947 г.

Знакомство с режиссёром совпало с самым успешным периодом в жизни Юрия Валентиновича. В течение нескольких месяцев редкий день проходил без встреч молодого лауреата с читателями. В декабре 1950-го Трифонов, ещё не успевший стать лауреатом, выступил на диспуте о своей повести перед студентами Московского государственного пединститута им. Ленина. В следующем, 1951 году диспуты и выступления перед студентами самых известных столичных вузов шли непрерывно, один за другим, причём иные из них продолжались не один день. Легче отыскать институт, где не было публичного обсуждения повести, чем перечислить все институты, где Трифонову довелось выступать. Первый медицинский, станкостроительный, институт связи, инженерно-экономический, полиграфический, лесотехнический, инженерно-строительный, архитектурный. Даже

слушатели Военно-юридической академии и студенты Института международных отношений МИД СССР захотели встретиться с автором «Студентов». Помимо этого были библиотеки, школы, клубы, поездка в Ленинград и новые выступления… Юрий Валентинович, по его собственному выражению, «тогда влетел в литературу, как дурак с мороза»[37].

После военного лихолетья истосковавшиеся по мирной жизни читатели жаждали книг о мире. И молодой автор сумел ответить на этот запрос времени. Его книга подкупала бытовыми подробностями и каким-то наивным реализмом. Читатели «Студентов» узнавали персонажей повести в кругу своих знакомых и, бывало, как дети, бурно радовались этому сходству. Один из студентов Литературного института лучше всех выразил причину феерического успеха: «Здорово написал. Как на фотографии. Все ребята один к одному»[38]. Это было то наивное время, когда цветные иллюстрации из «Огонька» использовались для украшения квартир. Даже на даче товарища Сталина висели эти репродукции.

Материальным же воплощением успеха стало приобретение Трифоновым автомобиля «Победа», причём лауреат не стал сам управлять личным автомобилем, а нанял шофёра. Переводчик и публицист Лев Владимирович Гинзбург, многолетний друг Юрия Валентиновича, оставил нам точное и весьма колоритное описание того, во что новоявленный лауреат конвертировал свой литературный успех. Обычно это мемуарное свидетельство цитируют в усечённом виде, приводя лишь ту его часть, что выделена курсивом. Такое цитирование, с одной стороны, существенно искажает и выхолащивает мысль автора, с другой — облыжно представляет самого Гинзбурга, давшего яркий образчик феноменологии успеха, озлобленным завистником. Итак, цитируем этот документ без изъятий.

«Моими ближайшими друзьями в то время были молодые литераторы, уже успевшие выбиться в люди. Более всех преуспел Юрий Трифонов, получивший за первый свой роман („Студенты“) Сталинскую премию — честь по тогдашним понятиям огромная. *Ещё совсем недавно неприкаянный бедный студент, живший на иждивении бабушки, он вдруг купил автомобиль, отстроил загородную квартиру, женился на певице Большого театра…* Всё, что писал Трифонов ещё в студенческие годы, вызывало во мне уважение. Я был убеждён, что он настоящий писатель, то есть владеет тайной письма, ему повинуется слово, предрекал ему большое будущее. И вот он стал знаменитостью. Его роман читали все, самого Трифонова по фотографиям в газетах на улице узнавали прохожие» (курсив мой. — *С. Э.)*[39].

Метко подмечено. Действительно, через несколько месяцев после получения премии Юрий Валентинович женился на певице Большого театра Нине Алексеевне Нелиной. Казалось, что он ценой собственных усилий сумел вернуться на тот советский Олимп, откуда был низвергнут в 1937-м, когда его отца объявили врагом народа. Его красавица-жена, безоговорочно поверившая в успех мужа, надеялась, что за одной Сталинской премией последует другая. Нине, как впоследствии не без иронии заметил Юрий Валентинович, *«казалось, что он каждый год будет получать премию»*[40].

«Знакомился, узнавал, записывал…»

Но река его жизни вновь стала менять своё русло, причём произошло это ещё до смерти Сталина. Сам Юрий Валентинович очень образно сказал об этом периоде: «…Время текло, ломалось, падало белой стеной, разбивалось с грохотом: водопадное времечко!»[41] Братья-писатели не смогли равнодушно перенести тот грандиозный успех, который выпал на долю Трифонова — и громадную популярность романа, и Сталинскую премию, и очевидное для всех изменение образа жизни, и жену, певицу и красавицу. Слишком стремителен был переход от бедного студента к преуспевающему литератору. В послевоенную пору такого феноменального успеха, пожалуй, не было ни у кого. Ведь иные диспуты по трифоновским «Студентам» продолжались по два дня: так велико было желание читателей высказаться. Хотя присуждению Сталинской премии и предшествовала положительная рецензия в «Правде», успех повести у читателей не мог быть объяснён тем, что был директивно санкционирован и организован. Это был действительно живой интерес масс — стихийный и непосредственный. Могли ли спокойно перенести этот успех те члены Союза писателей, которые годами ожидали присуждения им премии, вожделели её и грезили о ней?! Одно обстоятельство было особенно обидным: Трифонов помимо его вызывающей молодости ещё и не был членом Союза писателей.

Десятки добровольных ищеек из числа литературной братии ринулись выискивать сомнительные моменты биографии лауреата — и без труда их отыскали. «Жизнь бросила его в один из тех нечаянных водоворотов, которые отшибают внезапно силы, память и временами дыхание»[42]. Выяснилось, что Трифонов, вступая в комсомол, скрыл, что его отец — «враг народа». При вступлении в комсомол рабочий авиазавода на вопрос об отце ответил уклончиво: якобы отец умер в 1941 году. Иными словами,

Юрий Валентинович воспроизвёл официальную версию. В справке, выданной НКВД, говорилось, что В. А. Трифонов скончался в 1941 году. В те годы существовало негласное официальное указание: родственникам лиц, расстрелянных в 1937–1938 годах, при выдаче справок сообщать вымышленные даты смерти их родных и скрывать факт расстрела. На вопрос «подвергались ли ваши родственники репрессиям» нужно было отвечать лишь при заполнении более подробных анкет, которые рабочие авиазавода не заполняли. Братья-писатели уже сладострастно потирали руки, предвкушая предстоящие перипетии публичного разбора его персонального дела с заранее предрешённым финалом — исключением из Союза писателей. Произошла осечка. Выяснилось, что Трифонова не успели принять в Союз писателей, а раз не успели принять, то нельзя и исключить. Тогда было решено передать персональное дело Ю. В. Трифонова в комсомольскую организацию Литинститута, где он и после окончания института состоял на учёте, ибо формально нигде не работал. На повестке дня стоял вопрос об исключении из комсомола. Трифонову пришлось пережить разборки на комсомольском собрании в Литинституте, в райкоме и горкоме комсомола. «Дело завершилось строгим выговором с предупреждением. Оставили жить. Но райские куши отодвинулись: договора на переиздания на меня, как на других лауреатов, не сыпались…»[43] Недоброжелатели лауреата могли торжествовать. Учитывая суровые реалии тех лет, можно считать, что Юрий Валентинович легко отделался. Он чудом не не был затянут в глубокий омут.

Прошло несколько месяцев. Скандал с несостоявшимся исключением из комсомола затих. В издательстве «Молодая гвардия» вышло отдельное издание повести «Студенты», которая отныне стала именоваться романом. Роман перевели на венгерский, азербайджанский, болгарский, китайский, немецкий… Положение Трифонова стабилизировалось, весной 1952-го он появился в редакции «Нового мира» и попросил командировку в Туркмению, где в пустыне шло строительство канала, гордо именуемого Большим или Главным — он собирался написать об этой стройке книгу. Идея строительства канала Амударья — Красноводск принадлежала лично товарищу Сталину и была озвучена им в сентябре 1950 года. Заручившись согласием Твардовского, оформив командировку, получив деньги на проезд и суточные, Трифонов улетел на трассу канала. В изыскательских работах принимала участие геоботаник Татьяна Трифонова, сестра писателя, только что окончившая МГУ и получившая распределение в Туркмению. «В апреле я улетел на юг. Мотался

по Каракумам, на вездеходах, на верблюдах, на маленьких самолётиках, знакомился, узнавал, записывал»[44]. В конце мая в газете «Комсомольская правда» опубликовал заметки о строителях «Отряд в песках». Однако работа над книгой застопорилась. Автору предстояло освоить принципиально новый материал и подумать о том, как обойти в тексте будущей повести острые углы: в основном канал строили заключённые. За осень и зиму была написана примерно треть книги. К марту 1953-го было готово страниц сто двадцать. «Пока вдруг не сломалось время — неожиданно, как ломается нож. Вот куда ушли эти годы: в ненастоящую жизнь»[45]. Весной этого года Трифонов вновь собирался поехать на строительство канала. Писатель очень ответственно относился к своей работе и считал, что месяца, проведённого в пустыне, недостаточно. Но он никуда не поехал. В жизни страны произошёл тектонический сдвиг: 5 марта 1953 года умер Сталин. Стройку канала законсервировали, как и многие другие грандиозные сталинские проекты. Инициатором прекращения строительства дорогостоящих и экономически невыгодных строек был Лаврентий Берия, может быть, единственный из числа руководителей страны, кто хорошо разбирался в экономических реалиях, знал экономическую сферу и понимал, что труд заключённых невыгоден и бесперспективен. Это предложение Берии было принято ещё до того, как самого Лаврентия Павловича арестовали, объявили врагом народа и расстреляли. «Таня, приехав, рассказывала: всё обрезалось враз, некоторые отряды, застрявшие в песках, не могли выбраться без транспорта и денег. Моя повесть застряла, как эти отряды в песках. Но без надежды выбраться. Кому нужна книга о стройке, которую закрыли?»[46]

«Время неожиданных новостей»

Широкое русло его жизни неожиданно сузилось. Берега реки стали превращаться в болото, и это болото грозило засосать. В момент успеха «Студентов» Трифонова Александр Трифонович Твардовский наставительно сказал автору: «Испытание успехом — дело нешуточное. У многих темечко не выдерживало…»[47] Александр Трифонович рассуждал не столько о славе, сколько об эксплуатации достигнутого успеха. Он советовал молодому писателю не закрепляться на завоёванном плацдарме, а идти дальше, осваивая новые темы. Однако Трифонов далеко не сразу последовал этому совету. Среди его рабочих записей 1954 года есть планы романа «Аспиранты». Но написав несколько страниц,

Юрий Валентинович отказался от этого замысла. «Это просто *размножение муры*»[48]. Впрочем, в этом же году у писателя возник замысел другого романа с говорящим названием «Исчезновение», который был написан уже на излёте жизни. После смерти Сталина Трифонов оказался на распутье и не сразу смог выбрать дорогу, по которой ему предстояло идти. Сталинская премия очень быстро была прожита. «Победу» пришлось продать, а импозантного шофёра рассчитать. Получить аванс в «Новом мире» под будущую книгу не удалось. Основным добытчиком в семье стала жена. Надо было думать, как жить дальше.

В течение долгих лет Трифонов публиковал лишь рассказы, которые не пользовались особенным успехом. Юрий Валентинович занимался, и довольно успешно, спортивной журналистикой. Именно в этом качестве его посылали в заграничные командировки на зависть братьям-писателям, Трифонов побывал не только в социалистических странах, но и на Олимпиаде в Италии. Знатоки и любители спорта с уважением отзывались о его репортажах, резонно замечая, что так о спорте не писал никто. Именно Трифонов ввёл в спортивную журналистику выражение «интеллектуальный футбол» [49]. Однако его признание как спортивного журналиста не шло ни в какое сравнение с былым успехом «Студентов». Этот успех начала 1950-х с годами стал забываться, а сам роман после 1960 года уже не переиздавался. Но это будет позднее. А сразу после смерти Сталина в советской литературе, да и вообще в искусстве наступило удивительное время. С одной стороны, многие мэтры переживали творческий кризис, с другой — повеял свежий ветерок. Юрий Валентинович несколькими скупыми, но точными штрихами передал дух времени. «Ничего не писалось. Все бесконечно разговаривали. Писать по-старому было неинтересно, писать по-новому ещё боялись, не умели и не знали, куда всё это повернётся…»[50]

Репрессии недавних лет ассоциировались с именем Берии, поэтому после его ареста и скоропалительного расстрела столь же быстро исчез страх. Обличье этого человека внушало ужас. В повести «Долгое прощание» Трифонов выведет Берию под именем Александра Васильевича Агабекова. «Александр Васильевич смотрел на Лялю в упор, не мигая. Взгляд был странный, направлен на Лялин рот, и от этого — оттого, что не в глаза смотрел, а на рот, поющий — было неприятно. Что-то неживое было во взгляде лобастого человека с усиками, все больше стекленело, стекленело и превратилось в совершеннейшее холодное стекло, даже страшно на миг, но потом — веки

мигнули, стеклянность исчезла»[51]. За исключением усиков, которых у Берии не было, но которые автор повести сознательно ввёл в ткань повествования, чтобы сбить с толку цензуру, портрет исключительно верный и точный. Современники отмечали, что в пристальном взгляде этого человека в пенсне было нечто змеиное, антипатичное, вселявшее сильнейший страх. Даже спустя годы не удавалось вычеркнуть из памяти боязнь и трепет минувших лет. И у Юрия Валентиновича имелась чрезвычайно веская причина интимного свойства, чтобы попытаться избыть былой страх в своём творчестве и избавиться, таким образом, от скелета в шкафу. Человек в пенсне угрожал его счастью. Чтобы подготовить читателя к тому, о чём будет сказано ниже, я позволю себе полностью процитировать стихотворение Иннокентия Анненского, поэзию которого Трифонов хорошо знал.

Что счастье? Чад безумной речи?
Одна минута на пути,
Где с поцелуем жадной встречи
Слилось неслышное *прости*?
Или оно в дожде осеннем?
В возврате дня? В смыканьи вежд?
В благах, которых мы не ценим
За неприглядность их одежд?
Ты говоришь… Вот счастья бьётся
К цветку прильнувшее крыло,
Но миг — и ввысь оно взовьётся
Невозвратимо и светло.
А сердцу, может быть, милей
Высокомерие сознанья.
Милее мука, если в ней
Есть тонкий яд воспоминанья[52].

Арест Берии — знаковое событие эпохи — пунктиром пройдёт по книгам Трифонова. Прозрачный намёк на это событие холодного лета 1953-го есть и в повести «Другая жизнь», и в романе «Время и место»: «…Было время неожиданных новостей, внезапных перемен, невероятнейших слухов, все к этому привыкли. Когда в течение двух-трёх дней не было новостей, становилось скучно. Мишка возник летом, как раз в пору грандиозных новостей и потрясающих слухов, о которых разговаривали шёпотом…»[53] Избыть былой страх удалось, а вот былая *мука* и *тонкий яд воспоминанья* останутся с Трифоновым до конца его дней.

Мне об этом времени рассказывал мой отец, участник войны

и офицер-артиллерист. В июне 1953 года он в звании капитана служил в посёлке Шутово на острове Шумшу — одном из северной группы Курильских островов. От Камчатки остров отделял пролив шириной около одиннадцати километров. Поэтому почта и газеты доходили до острова с изрядным временным лагом. Хотя молва о том, что в Москве арестован Берия, долетела до Шумшу почти мгновенно, но офицеры, сослуживцы отца, даже после официального сообщения по радио и *шёпотом* опасались обсуждать эту животрепещущую новость. И так продолжалось до тех пор, пока на Шумшу не доставили газету с официальным сообщением об аресте Берии. Лишь после этого страх исчез. Такова была вера в непререкаемый авторитет печатного слова.

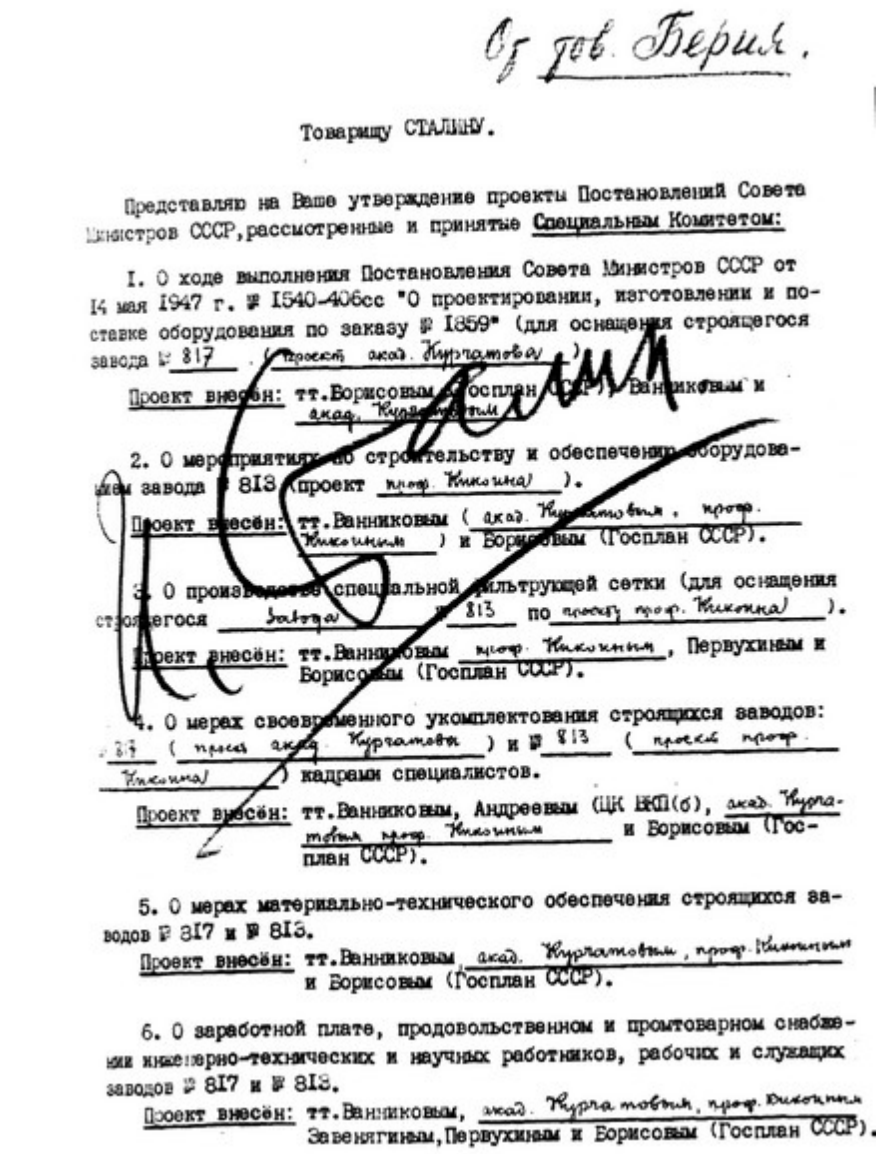
23 декабря 1953 года Берия и его подельники были расстреляны. Информация об этом событии на следующий день была опубликована в газетах. В этот же день, 24 декабря, имя Лидии Корнеевны Чуковской, которая долгие годы из-за своих политических взглядов не допускалась на страницы печати и едва избежала ареста в годы «большого террора», появилось в печати. «Литературная газета» опубликовала её статью «О чувстве жизненной правды». По иронии истории, в этом же номере газеты сообщалось о расстреле Берии. 31 декабря в Москве торжественно открыли крупнейший в стране Государственный универсальный магазин (ГУМ), поразивший неизбалованных советских людей изобилием разнообразных товаров — от продуктов питания до одежды. Складывалось впечатление, что власть впервые подумала о людях. Московский острослов Александр Раскин сочинил эпиграмму.

НАЧАЛО ОТТЕПЕЛИ 1953 ГОД

> Не день сегодня, а феерия,
> Ликует публика московская:
> Открылся ГУМ, накрылся Берия,
> И напечатана Чуковская[54].

Для семьи Юрия Трифонова расстрел Берии имел сугубо личный аспект. Жена писателя Нина Нелина была любовницей Берии[55]. «И в этом были не только глубочайшая трагедия жизни Юрия Валентиновича, но, одновременно, и тайный сюжет, — пишет Ольга Романовна Трифонова. — Однажды глухой осенней ночью я спросила мужа: „У тебя есть тайна?“ И он ответил: „Есть. — Потом, после молчания: — Они терзали меня четыре года… Выгнали из Москвы в Туркмению“. Я не спросила: „Кто такие они?!“» [56]. Знал ли Юрий Валентинович о близости своей

жены с человеком в пенсне, во внешнем облике которого было нечто зловещее? Их дочь Ольга, подтверждая связь своей матери с Берией, ничего не пишет о том, знал ли её отец об этом. «В 1956 году, вскоре после XX съезда партии, в Большой театр поступил список артисток, которых привозили к Берии, где значилась и моя мама. Это больно ударило не только по ней, но и по Трифонову. По Москве поползли слухи, создающие неприятные ситуации»[57]. Знал ли об этих слухах Юрий Валентинович? Его роман «Время и место» позволяет утвердительно ответить на этот риторический вопрос. Герой романа писатель Никифоров спрашивает свою жену Георгину: «„Гога, родная, только не обижайся… Ты не могла бы описать свои ощущения вчера и сегодня, когда узнала о его конце? Только честно. Абсолютную правду“. — „Тебе для романа?“ — „Да“. Была пауза, он стоял за её спиной и ждал, вдруг она всхлипнула задавленным рыданием: „Ощущения!“ — И прошептала: „Испытала великую радость…“»[58] Так закончился 1953 год.



Об пов. Берия.

Товарищу СТАЛИНУ.

Представляю на Ваше утверждение проекты Постановлений Совета Министров СССР, рассмотренные и принятые Специальным Комитетом:

I. О ходе выполнения Постановления Совета Министров СССР от 14 мая 1947 г. № 1540-406сс "О проектировании, изготовлении и поставке оборудования по заказу № 1859" (для оснащения строящегося завода № 817 (проект акад. Курчатова)).

Проект внесён: тт.Борисовым (Госплан СССР), Ванниковым и акад. Курчатовым.

2. О мероприятиях по строительству и обеспечению оборудованием завода № 813 (проект проф. Никонца).

Проект внесён: тт.Ванниковым (акад. Курчатовым, проф. Никонцем) и Борисовым (Госплан СССР).

3. О производстве специальной фильтрующей сетки (для оснащения строящегося завода № 813 по проекту проф. Никонца).

Проект внесён: тт.Ванниковым проф. Никонцем, Первухиным и Борисовым (Госплан СССР).

4. О мерах своевременного укомплектования строящихся заводов: № 817 (проект акад. Курчатова) и № 813 (проект проф. Никонца) кадрами специалистов.

Проект внесён: тт.Ванниковым, Андреевым (ЦК ВКП(б), акад. Курчатовым проф. Никонцем и Борисовым (Госплан СССР).

5. О мерах материально-технического обеспечения строящихся заводов № 817 и № 813.

Проект внесён: тт.Ванниковым, акад. Курчатовым, проф. Никонцем и Борисовым (Госплан СССР).

6. О заработной плате, продовольственном и промтоварном снабжении инженерно-технических и научных работников, рабочих и служащих заводов № 817 и № 813.

Проект внесён: тт.Ванниковым, акад. Курчатовым, проф. Никонцем Завенягиным, Первухиным и Борисовым (Госплан СССР).

Доклад Л. П. Берии о проекте постановлений Совета министров СССР, направленных на техническое оснащение и кадровое укомплектование строящихся заводов, с резолюцией И. В. Сталина. 1947 г. ГАРФ

В 1954 году на экраны страны вышел фильм Михаила Калатозова «Верные друзья», снятый по сценарию Александра Галича. В фильме есть все приметы сталинской эпохи:

построенные по плану вождя высотные здания в Москве, одетые в гранит берега реки, введённые по его приказу погоны на плечах не только военных, но и железнодорожников, речников и многое другое. Однако в этом фильме есть нечто новое. Есть пьянящий воздух свободы. Былые запреты уже пали, а новые правила ещё не устоялись. В этом фильме три друга, Сашка, Борька и Васька, встретившись через много лет, решили исполнить свою детскую клятву: отправиться в путешествие по Волге на плоту. В сталинскую эпоху партийные чиновники от искусства никогда бы не разрешили снимать фильм по такому сценарию. Солидные люди — академик архитектуры, профессор животноводства и известный хирург — как бродяги плывут по реке на бревенчатом плоту, распевая песенки. При Сталине эти значительные фигуры скорее отдыхали бы либо на даче, либо в санатории, сидели бы в полосатых шёлковых пижамах, читали газету «Правда» или играли в домино и шахматы, а идея путешествия на плоту даже не пришла бы им в голову. Важнейшей функцией искусства в ту эпоху была функция воспитательная. Произведения литературы и искусства наглядно показывали читателю и зрителю, как должно поступать и как не должно поступать. Солидные люди, которых играли народные артисты, вряд ли могли называть друга друга Сашка, Борька и Васька и вести себя соответствующим образом. А уж запомнившаяся всем фраза «Макнём академика!» была и вовсе невозможна. Этот фильм, который в 1954-м посмотрели 30,9 миллиона зрителей, стал народным хитом, чему в значительной степени способствовала блистательная игра любимых артистов Василия Меркурьева, Александра Борисова и Бориса Чиркова.

«С Новым годом!» Почтовая открытка. 1953 г.

«Личные судьбы — песчинка»

После того как из жизни людей исчез страх, надо было как-то вписать недавнее прошлое — революцию, Гражданскую войну, репрессии — в свою картину мира и свою систему ценностей. Вписать, осмыслить — и не сойти с ума. В марте 1955 года Трифонов вновь отправился в Туркмению, побывал в Ашхабаде, Кум-Даге, Челекене. В Небит-Даге он встретился с Цецилией Исааковной Кин, литературным критиком и публицистом. Как

жена «врага народа» она семнадцать лет провела в лагере и ссылке. А её муж писатель Виктор Павлович Кин был в 1938 году расстрелян. Цецилия Кин ожидала реабилитации и возвращения в Москву, что и произошло в том же году. Восемь или десять дней они провели с Трифоновым в беспрерывных беседах. «У нас с Юрой произошёл важный разговор. Думаю, одинаково важный для нас обоих. Коли не бояться громких слов, — это был разговор о философии истории, об иронии истории. О жестокой и, может быть, неотвратимой логике всех революций — от античных до наших времён. Мы не прятали голову под крыло. Ни забыть, ни оправдать того, что произошло, мы не могли. Да и не хотели. Решающим оказалось другое. Наши боли, беды и обиды были не просто и не только личными. Личные судьбы — песчинка. Личные трагедии были болью и трагедией родины. А родина — не пейзаж, не берёзки, не васильки во ржи. Это победа над фашизмом. Это бессмертные традиции русского романа, великой русской поэзии»[59]. Бесценное мемуарное свидетельство! Оно позволяет понять, как функционирует защитный психологический механизм. А иначе действительно можно сойти с ума!

После смерти Сталина от идеи строительства канала в пустыне не отказались. Решено было проложить его по иному маршруту. Трифонов несколько раз приезжал в Туркмению, неторопливо и вдумчиво обживая и обминая материал о строителях канала. Работа над романом «Канал», затем получившим название «Утоление жажды», продолжалась несколько лет. В эти годы в советской литературе появились новые имена, в Политехническом музее гремели молодые поэты, собиравшие тысячные аудитории, читатели зачитывались лейтенантской прозой, в которой был принципиально новый взгляд на войну. После XX съезда партии писатели и кинематографисты уже стали открыто говорить о временах репрессий, а сам 1937 год стал нарицательным. В ноябре 1962 года в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Впервые в советской литературе была показана жизнь в сталинских лагерях периода массовых репрессий. Это был рассказ об одном дне заключённого, русского крестьянина и солдата, осуждённого по политической статье. Публикация «Одного дня…» стала вехой в истории страны. Отныне уже невозможно было замалчивать существование лагерей, а безликая формулировка «репрессирован в годы культа личности» стала наполняться конкретным содержанием.

Как грибы после дождя стали появляться газетные статьи, журнальные публикации, повести и романы, в которых в той или

иной форме, с большей или меньшей обстоятельностью упоминался сам факт существования репрессий в истории страны. О их причинах не говорилось ни слова, хотя иной раз достаточно подробно рассказывалось о сломанных судьбах. И по законам социалистического реализма в обязательном порядке торжествовал исторический оптимизм. Подобно богу из машины, на заключительных страницах произведения осуществлялась смена декораций, происходящая в советском обществе после исторических решений XX съезда партии. Партия осуждала культ личности, незаконно репрессированного реабилитировали, возвращая ему честное имя, но ничего не говорилось ни о причинах массовых репрессий, ни о их масштабе, ни о конкретных виновниках. И тогда стали раздаваться голоса о том, нужна ли нам такая правда о прошлом и не стоит ли её ограничить и дозировать. Разговоры на эту тему непрерывно велись в годы оттепели.

Опубликованный в 1963 году, уже на излёте оттепели, роман Трифонова «Утоление жажды» донёс драгоценные для историка «подробности жизни» той эпохи. В «Утолении жажды» есть несколько запоминающихся фрагментов исповедальной прозы от лица лирического героя романа.

«Чёрт возьми, за последние двадцать лет я так привык к тому, что все мои дела сопровождает „какая-то странная волынка“. Это началось ещё со школы, с седьмого класса, когда меня долго не принимали в какой-то оборонный кружок, как сына врага народа. И потом длилось всю жизнь: на заводе, в армии, в университете, после университета. Два года назад, летом пятьдесят пятого, отца реабилитировали и посмертно восстановили в партии, членом которой он был с 1907 года, и волынка должна была прекратиться. Она, может быть, и прекратилась, а может, только немного утихла. Но она продолжалась во мне самом: мерещилась повсюду! Я так привык жить с ней бок о бок, что не в силах её забыть.

И вот сейчас: может, и нет никаких причин волноваться, но я ничего не могу поделать с собой. Проклятая неуверенность. Она сидит во мне, как бацилла»[60].

В «Утолении жажды» Юрий Трифонов изобразил внутренний мир ни в чём не повинного человека, который силою вещей постоянно вынужден был оправдываться. Писатель с психологической убедительностью показал, что долгие годы репрессий не могут быть изжиты в одночасье и уйти без следа. Это на киноэкране можно было дать в титрах надпись «1937», затем показать сцену обыска и ареста либо вскользь сообщить о их факте, а уже потом, пустив в титрах новую надпись «1956»,

сообщить о конечном торжестве справедливости и невозможности возврата в прошлое. Трифонов очень пластично показал, что далеко не все сочувствуют происходящим переменам: «…Не всем нравятся эти перемены. Раньше было просто: посмотрел в бумажку — и всё ясно. Репрессированные не годятся, оккупированные не годятся, амнистированные не годятся, имеющие родственников не годятся и так далее. А теперь хлопот вагон: надо научиться в людях понимать и ещё в деле разбираться»[61].

До Трифонова никто не говорил о том, что вопрос о репрессиях, по сути, разделил общество на тех, кто считал репрессии неким эксцессом на пути исторического развития страны, который может быть объяснён и оправдан суровыми обстоятельствами времени и места, и тех, кто считал, что без утоления жажды справедливости не может быть речи ни о каком дальнейшем движении страны вперёд. Если первые не хотели бесконечно говорить об этом трагическом периоде, то вторые жаждали разобраться. В романе есть исторически точное изложение основных аргументов, которые звучали в подобных спорах.

«Правильно! Конечно! — сказал старик Вдовенко, человек безобидный и недалёкий. — Зачем, понимаете, жевать одно и то же? <…>

— Нет, — сказал Борис. — Постойте. Ты, Платон, мне друг, но истина, как сказано, дороже. По-твоему, просто знать — этого достаточно?

— Не этим, Боря, надо сейчас заниматься. Перед нами стоят громадные народно-хозяйственные задачи. Возьми нашу республику: проблема орошения, вековечная жажда воды…

Тогда его начали перебивать:

— Никто не спорит!

— Есть жажда гораздо сильнее, чем жажда воды, — это жажда справедливости! Восстановления справедливости! Партия это и делает.

— Партия делает, а вы что же? А вы? — кричала Тамара, и глаза её сделались маленькими и злыми. — Почему вы не хотите помогать партии?

— Вах, зачем так кричать? — сказал директор „Гороформления“. — Вы знаете, как туркмены утоляют жажду? Вот послушайте: сначала утоляют „малую жажду“, две-три пиалки, а потом, после ужина, — „большую жажду“, когда поспеет большой чайник. А человеку, который пришёл из пустыни, никогда не дают много воды. Дают понемногу.

— Иначе ему будет плохо, — сказал Платон Кирьянович.

— Да не будет никому плохо! Чепуха это! Не верю! — говорила Тамара возбуждённо.

— Как может быть чересчур много правды? Или чересчур много справедливости? Скажите, а в принципе вы согласны с теми переменами, которые сейчас происходят?

Платон Кирьянович, внезапно покраснев всем лицом, произнёс отрывисто:

— Я считаю ваш вопрос оскорбительным и прекращаю разговор»[62].

В этой обширной цитате есть всё: дыхание времени, атмосфера спора, аргументы спорящих, антагонизм спора, его незавершённость и невозможность договориться; желание одних дойти до самой сути и нежелание других продолжать разговор. К числу последних принадлежала и жена писателя Нина Нелина, нередко шлепком ладони по столу бесцеремонно прекращавшая споры на эту больную тему — «довольно об этом!». Подобного рода споры велись по всей стране — от Калининграда до Курильских островов и от Москвы до Кушки[63].

Роман «Утоление жажды», над которым Трифонов работал несколько лет и который четыре раза переписывал, был выдвинут на соискание Ленинской премии. Премию он не получил. Роман читали, его издавали и переиздавали, переводили на иностранные языки, экранизировали. Но ничего близкого к былому успеху «Студентов» не было. Роман не стал ни общественным явлением, ни явлением в литературе. Отчасти в этом было повинно время — «Утоление жажды» вышло на излёте оттепели, а отчасти — сами читатели, не сумевшие внимательно прочитать роман. Юрий Валентинович в заключительных фразах романа предсказал неизбежный конец оттепели.

«Нет, мне не было скучно. Просто возникло какое-то томящее чувство надежды и желание заглянуть вдаль.

Так бывает, когда расстаёшься надолго, навсегда, и впереди маячит новая жизнь, а старая остаётся как бы за стеклянной дверью: люди двигаются, разговаривают, но их уже почти не слышно»[64].

Публикация романа на страницах журнала «Знамя» была завершена за год с небольшим до отставки Никиты Сергеевича Хрущёва в октябре 1964-го. В годы оттепели так и не удалось достичь ни примирения, ни общей оценки относительно недавних событий. С приходом к власти Леонида Ильича Брежнева страстные споры о временах культа личности постепенно прекратились. Осмысления трагического прошлого не произошло. Проблема была закрыта и снята с повестки дня волевым решением сверху. И если в первые два года правления Леонида

Ильича упоминания о репрессиях ещё были возможны, то после XXIII съезда КПСС в 1966 году, когда Брежнев был избран Генеральным секретарем ЦК партии и упрочил свою власть, государственная десталинизация прекратилась и стали предприниматься попытки реабилитации Сталина. В итоге директивным путём были прекращены все разговоры о периоде культа личности. На страницы печати перестали допускать любые аргументы, связанные с именем Сталина, — ни за, ни против. Начиная с 1967-го, года 50-летия Октябрьской революции, многие деятели которой были репрессированы, о том, как закончилась жизнь «пламенных революционеров», творцов революции, предпочитали не говорить вообще. Эпоха «большого террора», как и имя Сталина на десятилетия стали фигурами умолчания в исторических исследованиях, школьных и вузовских учебниках, в печати. Трифонов оказался пророком: действительно, к концу 1960-х былых разговоров стало почти не слышно. Однако до того, как это произошло, Трифонову удалось опубликовать книгу «Отблеск костра». Так в год своего сорокалетия Юрий Валентинович почтил память репрессированного отца — документальной повестью о нём, первоначально опубликованной в двух номерах журнала «Знамя». В конце следующего, 1966 года повесть «Отблеск костра» вышла в издательстве «Советский писатель». Книги Трифонов получил и дарил знакомым уже в январе 1967-го. Отдельное издание повести мгновенно стало библиографической редкостью. Книгу невозможно было достать. Её читали, перечитывали, зачитывали. Обречённая на успех, она была издана небольшим тиражом, в мягкой обложке и уже после нескольких прочтений приобретала потрёпанный вид, а затем и вовсе начинала рассыпаться. Твардовский попросил Трифонова подарить ему ещё один экземпляр: кто-то взял почитать «Отблеск костра» и не вернул. Сам автор поражался своей удаче: ему удалось впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. «На мне захлопнули дверь»[65], — как сказал он В. Кардину. Повесть «Отблеск костра» стала едва ли не последней книгой, в которой прямо говорилось о годах репрессий. Затем наступило молчание, продолжавшееся до начала перестройки.

Современники Юрия Трифонова вычитали в «Отблеске костра» фразу о «странных людях», не понимающих характер будущей войны, одним из которых был Сталин. К «странным людям» причислил его, не называя имени, Трифонов-старший в рукописи своей книги «Контуры грядущей войны». Как заметил один из друзей писателя, «Трифонов-старший поплатился за „странных людей“, Трифонов-младший поплатился за фразу „Одним из этих ‘странных людей’ был Сталин“…»[66]. Однако

значение этой документальной повести не исчерпывается установлением исторического факта: за несколько лет до начала Великой Отечественной будущий Верховный главнокомандующий ещё плохо представлял себе характер грядущей войны. «Отблеск костра» — это «подвиг честного человека»[67], как сказал Пушкин об «Истории государства Российского» Карамзина, и эти слова в определённой мере применимы и к документальной повести Юрия Трифонова. В ней он правдиво рассказал о трагических страницах Гражданской войны на Дону и поведал о том, что многих эксцессов братоубийственной смуты можно было бы избежать, если бы центральная власть не стала насильственно проводить политику расказачивания. Именно политика расказачивания вызвала отчаянное сопротивление казаков и подбросила новые поленья в уже затихающий костёр Гражданской войны на Дону. Костёр вновь разгорелся, а отблески этого костра долетели до автора книги спустя полвека после описываемых событий. Трифонов вернул доброе имя героям Гражданской войны и одним из первых кавалеров ордена Красного Знамени Борису Мокеевичу Думенко и Филиппу Кузьмичу Миронову. И тот и другой были расстреляны по ложному доносу: Думенко — в 1920 году, Миронов — в 1921-м. Долгие годы имена этих военачальников и создателей Красной армии находились под негласным запретом. Их реабилитации сопротивлялись уцелевшие ветераны, прежде всего маршал Будённый.

Когда в 1965 году вышел журнальный вариант повести, автор стал получать письма оставшихся в живых ветеранов Гражданской войны, многим из которых довелось пройти сталинские лагеря. В архиве писателя сохранилось письмо А. Г. Орловой.

«…Вы уж извините меня, старуху, что я беспокою Вас. С болью и горечью прочла „Отблеск костра“. „…Далекая, взбудораженная, кому-то уже непонятная сейчас жизнь“, — пишете Вы. Да, это так. Но лично я от души благодарю Вас за напоминание этого далёкого, бурного и трагического прошлого. Я, как и Ваш отец, разжигала этот костёр, тлелась возле этого костра, но под конец моей жизни задыхаюсь от дыма этого костра. Мучительно больно читать и вспоминать о погибших лучших из лучших людей. <…>

Мне стыдно признаться, что я была участницей великой битвы за социализм. Я живу как полунищая, живу хуже, чем жила моя мама. Они отняли у меня веру в людей, отняли всё, чем я жила. Сейчас мне кажется, что своим восстановлением в партии я осквернила память Позерна, Сольца, тысячи им подобных. Гадко делается, когда вспомню, что я состою в партии с бывшими „следователями“ и начальниками лагерей, такими, каким был

мой зверь в образе человека.

Хотя я и задохнулась в дыму того костра, который я с Вашим отцом разжигала, а Вам, Юрий Валентинович, спасибо за „Отблеск костра“…»[68]

В этом искреннем письме нет стремления объяснить всё неумолимой логикой истории и законами всех революций, нет желания спрятать голову под крыло, нет стремления отыскать механизм психологической защиты. Есть честная и чёткая констатация: жизнь, отданная революции, была ошибкой. Это письмо — единственный в своём роде исторический документ. А. Г. Орлова не пытается ничего оправдать величием целей и масштабом достижений. Дальнейшие комментарии излишни…

«Изюм подробностей»

И хотя изменившиеся обстоятельства времени не благоприятствовали широкому обсуждению повести «Отблеск костра», а тираж её отдельного книжного издания по советским меркам был невелик, всего-навсего 30 тысяч, имя Юрия Трифонова сфокусировало на себе внимание читателей. Отныне интерес к его произведениям уже не ослабевал, а лишь усиливался по мере выхода его новых произведений. После публикации в декабрьской книжке журнала «Новый мир» за 1969 год повести «Обмен» Трифонов становится одним из кумиров городской интеллигенции, которая каждую его новую вещь теперь ожидала с нетерпением. С «Обмена» начинается цикл его так называемых московских или городских повестей: «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Другая жизнь» (1975), «Дом на набережной» (1976). Они вызовут феноменальный интерес вдумчивых читателей. Писатель вошёл в их жизнь и оставался там до своей безвременной смерти. В течение десятилетия Юрий Валентинович будет царить над умами этого круга интеллигенции и не ведать соперников.

Читатели и почитатели Трифонова любили петь под гитару песню Юза Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой учёный…». Горькая ирония автора песни по-своему перекликается с трагическими строками письма А. Г. Орловой, женщины с переломанной судьбой.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра.
Вы здесь из искры раздували пламя, —
Спасибо вам, я греюсь у костра.

Среди тех, кто весело распевал эту песню, были и те, кто жил в кирпичных домах, построенных в районе станции метро «Аэропорт». Это было место компактного расселения творческой интеллигенции — писателей, кинематографистов, журналистов, искусствоведов. Именно в этом районе были построены государственные и кооперативные дома, предназначенные для тех, кто в советские времена имел счастье состоять в том или ином творческом союзе, то есть принадлежал к избранному кругу, имевшему право на дополнительные квадратные метры жилплощади. В этом же районе на одной из Песчаных улиц стоял дом, в котором жил сам Трифонов. «Креативный класс» — этот термин, столь популярный в наше время, ещё не появился на свет, но обитатели кирпичных домов именно себя считали солью нации и на все проблемы имели собственную точку зрения, не только отличную от официальной, но и противоположную ей. Суть вопроса их не интересовала. Форма была важнее. Эта форма по определению была оппозиционной.

Ещё в 1971 году Нея Марковна Зоркая, замечательный кинокритик, сама жившая в районе станции метро «Аэропорт», написала блистательный очерк, который в рамках классической традиции русской литературы можно было бы назвать «Физиологией аэропортовца». Разумеется, этот текст не мог быть напечатан в то время, его опубликовали на страницах журнала «Искусство кино» уже посмертно, в 2008 году. Нея Зоркая, опираясь на свои личные наблюдения, дала социологически достоверный портрет аэропортовца.

«„Душевный Аэропорт“ — определённый склад миросозерцания, сложившийся в советское время и окончательно оформившийся в хрущёвскую и постхрущёвскую пору. Представитель „душевного Аэропорта“ или, как мы его будем кратко именовать, — аэропортовец, есть вполне чёткий психосоциальный тип, обладающий законченными взглядами, убеждениями, стойким образом жизни, бытовыми привычками, системой взаимоотношений с советским государством и его институциями, общественными группами, индивидуумами, членами семьи, коллегами, лифтёршами и т. д. и т. п. Проживать он может и не на Аэропорте — на Юго-Западе, на Беговой, на улице Горького и даже в других городах, — во всяком случае, в Ленинграде, ибо интеллигентный ленинградец являет собой провинциального аэропортовца. <…>

Первым, главным и основополагающим качеством аэропортовца является его огромная, верная и преданная любовь

к себе. Самовлюблённость, самомнение, самолюбование, самолюбие, самообожание, все слова, начинающиеся на „само“ — только лишь выражения более глубокого и мощного чувства, именно любви к собственной персоне. К себе, к своим разным воплощениям, к своему действительному или воображаемому таланту, к делу пера своего („рук своих“ — сказать было бы неточно, аэропортовец, как правило, безрук). Всё, что касается его лично, исполнено для него всемирно-исторического значения: например, выход в свет его нового произведения или затор в прохождении рукописи»[69].

С поразительным бесстрашием и удивительным хладнокровием Нея Зоркая анатомирует представителей той среды, в которой жил и творил герой моего повествования Юрий Валентинович Трифонов. Её свидетельство уникально бестрепетностью оценок.

«Аэропортовец считает себя отщепенцем, общественно гонимым, преследуемым. Он всегда рассказывает о гонениях, о преследованиях, о закрытых книгах или пьесах, о рассыпанных вёрстках, об изуродованных цензурой и непошедших опусах. Сознание протестанта и гонимого определяет самоощущение, эмоциональный тонус и всё существование аэропортовца. Это — ещё одно определяющее, характеризующее свойство типа»[70].

Будущему историку повседневной жизни советского общества будет очень непросто осмыслить этот феномен. Члены творческих союзов жили иной жизнью, качественно отличной от жизни рядового советского интеллигента — врача, инженера, учителя, обычного научного сотрудника, — имели ряд существенных привилегий. У них были квартиры в домах, построенных по индивидуальным, а не типовым проектам, особые поликлиники, дома творчества, исключительная возможность ездить за границу вместе с членами семьи. Несмотря на эти феноменальные, если исходить из советских реалий, условия жизни, аэропортовцы считали себя гонимыми, по любому поводу, а то и без такового отделяли себя от государства и имели претензию считать себя антагонистами всех и всяческих властей. «Что даёт аэропортовцу такое убеждение? Ну, конечно, прежде всего его искренняя ненависть к строю, к подобной власти»[71]. Парадокс состоял в том, что только при «подобной власти» и были возможны те оранжерейные условия существования и профессиональной деятельности, и то ощущение собственной элитарности, которые были бы немыслимы в обществе экономической свободы и конкуренции. В условиях свободного книжного рынка никто не стал бы покупать большую часть той печатной продукции, которая через библиотечные коллекторы сотнями тысяч

экземпляров распространялась по всей огромной стране.

Не стоило бы так подробно писать об аэропортовцах, если бы не одно важное обстоятельство: именно эта среда выносила безапелляционные вердикты, касающиеся произведений Трифонова. В большинстве случаев критики именно из этой среды писали на них рецензии и формировали общественное мнение. И отзывы аэропортовцев далеко не всегда отличались глубиной и проницательностью. Когда в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Трифонова «Предварительные итоги», аэропортовцы поспешили отыскать прототип одного из героев. По этому поводу в дневнике Трифонова была сделана ироническая запись: «Отчего-то некоторые из жителей „Аэропорта“ решили, что Гартвиг — это Георгий Гачев. С глузду съехали что ли? Что за пошлость! Будто я и увидеть и придумать не способен. Только „списывать“»[72]. В этом проявлялась не только сшибка амбиций аэропортовцев, но и свойственные им вульгарные эстетические представления, и примитивный метод анализа литературных произведений. Многие из аэропортовцев, не понимая природу художественного творчества, занимались выявлением реальных прототипов литературных героев. К отысканию прототипов нередко тогда сводилось восприятие литературных новинок. Юрий Валентинович Трифонов с его глубоким философским умом был одинок в этой среде. Существует несколько мемуарных свидетельств того, что даже в дружеских компаниях Юрия Валентиновича отличала единственная в своем роде неслиянность с другими: он одновременно был вместе со всеми и в то же время сам по себе. «Ю. Трифонов — как бы „свой“ для московской интеллигентской литературной среды — и в то же время „чужой“, *чужой среди своих*. Поэтому постепенно, исподволь нарастают определённое напряжение в литературных взаимоотношениях, непонимание Трифонова, его прозы, растёт, как растёт и недоумение»[73]. Трифонов очень болезненно и глубоко лично воспринимал происходящее на его глазах устойчивое *понижение планки* требований к писателям и их произведениям. Это стало его драмой, о которой мало кто догадывался. «Трифонов всегда умел быть застёгнутым на все пуговицы»[74], — вспоминал А. П. Злобин, лит-институтский однокашник писателя.

Несмотря на это одиночество, река его жизни с появлением каждой новой повести «московского цикла» становилась всё более широкой и полноводной. Беспрерывно шли читательские письма, убеждавшие его в том, что у него есть свой круг вдумчивых читателей, прекрасно понимающих тончайшие нюансы авторской мысли и умевшие понять, что стоит за той или иной фигурой

умолчания. Каждое новое произведение Трифонова становилось событием не только литературным. Нет, герои Трифонова входили в жизнь его читателей, которые проецировали мысли и поступки этих литературных героев на самих себя и свою жизнь. Его книги было трудно достать, их читали и перечитывали. В Театре на Таганке, самом знаменитом театре того времени, с огромным успехом шли спектакли по «Обмену» и «Дому на набережной». Всё говорило о том, что к Трифонову пришла широкая популярность и писатель действительно стал властителем дум. «У каждого из нас было своё *утоление жажды* справедливости, свой *обмен*, свои *предварительные итоги* и *долгое прощание* с кем-то или с чем-то, своя *другая жизнь* в новых условиях. У каждого происходило *исчезновение* близких людей, были свои ощущения *игр в сумерках,* жизнь или стремление жить в *доме на набережной,* наступала своя *грибная осень…*»[75] — с афористической точностью сформулировал профессор Александр Павлович Шитов, непревзойдённый знаток творческого наследия Юрия Трифонова.

Взлёт творчества писателя совпал с очень важными переменами в его личной жизни — сначала тайным романом, а затем и браком с Ольгой Романовной Мирошниченко. Писать о романе, героиня которого живёт среди нас, — не очень этично, но и мимоходом перелистнуть эту важную страницу биографии моего героя — ханжество. Если верно утверждение, что все счастливые семьи похожи друг на друга, то и последняя любовь поэта имеет нечто такое, что объединяет Тютчева с Эренбургом, а Эренбурга с Трифоновым. В любви немолодого мужчины и молодой женщины, чья жизнь — в зените, есть нечто неуловимое, что может выразить лишь поэзия.

Календарей для сердца нет,
Всё отдано судьбе на милость.
Так с Тютчевым на склоне лет
То необычное случилось,
О чём писал он наугад,
Когда был влюбчив, легкомыслен,
Когда, исправный, дипломат,
Был к хаоса жрецам причислен.
Он знал и молодым, что страсть
Не треск, не звёзды фейерверка,
А молчаливая напасть,
Что жаждет сердце исковеркать.
Но лишь поздней, устав искать,
На хаос наглядевшись вдосталь,

Узнал, что значит умирать
Не поэтически, а просто.
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит.
Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове…
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове[76].

Но вернёмся к знакомству писателя Трифонова и режиссёра Лобанова, которое состоялось в 1950 году. Можно предположить, что не будь этого знакомства, творческая биография писателя сложилась бы иначе и два десятилетия спустя Юрий Валентинович не создал бы повести «московского цикла». Ещё в XIX столетии князь Пётр Андреевич Вяземский писал о необходимости фиксировать казусы — единичные, неповторимые факты, учитывать *дроби жизни.* «Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей; дроби жизни мы откидываем; но надобно и их принимать в расчёт»[77]. Лобанов был образованным и интеллигентным человеком. Он наверняка читал «Старую записную книжку» Вяземского, в 1929 году переизданную в Ленинграде со вступительной статьёй и комментариями Лидии Яковлевны Гинзбург. Как бы то ни было, мысль князя о *дробях жизни* нашла живейший отклик в его душе и практическое воплощение в его режиссёрской практике. В воспоминаниях о Лобанове «Атмосфера и подробности» Трифонов писал: «Я думаю, сутью человека, которого можно назвать художником или артистом, непременно должно быть — наперекор всему и поверх всего — стремление к правде. <…> Можно назвать искомое так: *феномен жизни.* Лобанов был чрезвычайно пытлив и чуток в отыскании *феномена жизни,* что является во все времена занятием непростым и рискованным. Но он иначе не мог. Его обвиняли в чрезмерности пристрастий к быту, не понимая того, что „бытовая правда“, которой он добивался на сцене и о которой критики говорили свысока, как о достоинстве маловажном и второстепенном, была на самом деле лишь приспособлением для открытия реальнейшей жизненной правды. <…> В повести „Студенты“, произведении незрелом и ученическом, Лобанова привлекли, очевидно, какие-то приметы времени, какие-то показавшиеся ему точными подробностями жизни. Ради „изюма подробностей“ городился весь огород. Ибо из

подробностей состоит атмосфера»[78]. Интерес к дробям жизни или к её точным подробностям стал краеугольным камнем творчества Трифонова. Именно из этих подробностей и вырастала вся его философия истории: в этих якобы незначительных подробностях, кому-то казавшихся второстепенными, «низкими» и «бытовыми», проявлялась суть масштабных исторических событий.

Треть столетия отделяет нас от момента кончины незаурядного писателя и философа. Бег времени неумолим. Многие жизненные реалии, о которых писал Трифонов, остались в прошлом, а людей, которые хорошо помнят *время и место,* с каждым днём становится всё меньше и меньше. Первые читатели книг Юрия Валентиновича — это уходящая натура. Вместе с ними уходит непосредственное восприятие его книг. Книги Трифонова начинают жить в большом времени истории. На смену непосредственному восприятию приходит постижение их философской глубины. Чтобы извлечь «изюм подробностей» и в полной мере насладиться ими, необходим некий ключ к прошлому. И такой ключ существует. Этот ключ находится в недавно опубликованном дневнике женщины, которая, скорее всего, даже не подозревала о существовании писателя Юрия Трифонова. Во всяком случае, в её дневнике он ни разу не упоминается. Трифонов пытался постичь время, в которое ему довелось жить, и плотью от плоти которого он был, изнутри. Автор дневника по причинам, о которых ещё будет сказано, сохранила уникальную возможность смотреть на время и место как бы извне.

Глава 2
ВЕСЫ ФЕМИДЫ ИЛИ МЕЧ НЕМЕЗИДЫ?

«Говорят, будто русское дворянство выродилось, я и в Париже это слышала, а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли всё», — категорично заявляет Алина Фёдоровна, мать Лёвки Шулепникова из повести Юрия Валентиновича Трифонова «Дом на набережной». Прошло несколько десятилетий с того момента, когда я впервые прочитал это, в известной степени загадочное суждение, вложенное автором в уста Алины Фёдоровны и прозвучавшее на заключительных страницах повести, прежде чем осознал всю глубину этой мысли. Помог мне в этом дневник Любови Васильевны Шапориной (1879–1967), родившейся в Москве в дворянской семье и с отличием окончившей Санкт-Петербургское училище ордена Святой Екатерины (Екатерининский институт) на набережной реки Фонтанки, дом 36.

Профессиональные историки давно уже исходят из аксиомы, что приходно-расходная книга кухарки времён Великой французской революции представляет бóльшую ценность для постижения того времени, чем неизвестный автограф Наполеона. Дневник Шапориной в очередной раз подтвердил справедливость этого утверждения[79]. Первая запись в дневнике сделана 14 ноября 1898 года, последняя — 19 марта 1967 года, менее чем за два месяца до кончины Любови Васильевны. И хотя в первые годы дневник вёлся нерегулярно, он уникален по продолжительности и тематическому охвату фиксируемых событий: политика и экономика, религия и воинствующее безбожие, быт и литературная жизнь, зарплаты и цены, фантастические слухи и ставшие обыденностью политические репрессии, всеобщее доносительство и подвиги самопожертвования, блокада Ленинграда и разочарования послевоенной жизни.

Любовь Васильевна была хорошо знакома с замечательными людьми: Анной Ахматовой, Анной Остроумовой-Лебедевой, Николаем Тихоновым, Алексеем Толстым, Дмитрием Шостаковичем, Марией Юдиной; её мужем был композитор Юрий Шапорин. И обо всех Шапорина пишет «с откровенностию дружбы или короткого знакомства». Одного этого достаточно, чтобы привлечь внимание к её дневнику. Вспомним Пушкина. «В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принуждён был

сжечь сии записки. Они могли замешать многие имена и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая театральная торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей»[80].

Вот уж чего совсем нет в дневнике Любови Васильевны, так это «театральной торжественности», особенно когда речь заходит о живом классике советской литературы «красном графе» Алексее Николаевиче Толстом, с которым Шапорина была знакома с юных лет. О нём она высказывается без малейшей доли пиетета. Перелистаем несколько страниц. «Прежде Алексей Николаевич вносил с собой массу веселья; с тех пор же, как им всё более овладевает правительственный восторг, его шум становится какой-то официозной демагогией. <…> Когда он меня видит, сразу же начинает исторические разговоры, всегда великодержавные. Он весь теперь — правительственный пафос. <…> И это наш лучший писатель! Такое легковесие. <…> Жалко мне Алексея Николаевича. Хотя он и поверхностный и малосердечный человек, но из него брызжет талантливость. И он, конечно, великолепно знает русский язык, прекрасно им владеет. Знаю я его 37 лет! Это главное. <…> А. Н. скорее идеализировал всё совершающееся, чтобы не нарушать своего покоя. Он не был воителем, а шёл на все компромиссы» (I, 147, 151, 461; II, 200).

Ведя дневник, Любовь Васильевна ходила по острию ножа сама и подвергала опасности очень многих. В годы «большого террора» многие интеллигенты уничтожали даже записные книжки с адресами и телефонами, которые в случае ареста могли стать важной уликой и погубить не только владельца, но и кого-то из его знакомых. Трудно себе представить, к каким бедствиям привёл бы этот дневник, если бы он попал в руки следователей НКВД. 16 сентября 1941 года, когда падение Ленинграда казалось неминуемым, 26-летний сын Шапориной Василий выразил бурную радость. Он буквально обезумел от бомбёжек города немцами и от непрекращающихся арестов, которые проводили в прифронтовом Ленинграде сотрудники НКВД, зачищавшие город от «врагов народа». Любовь Васильевна записала в дневник: «„Чему же ты радуешься?“ — говорю я. „Всё что угодно, только не бомбёжка“. Я говорю: „Ты не понимаешь *трагедии,* Россия перестанет существовать“. Он отвечает: „А сейчас? За двадцать три года такой клубок лжи, предательства, убийств, мучений, крови, что его надо разрубить. А там видно будет“» (I, 273). Этой странички дневника было бы достаточно для вынесения смертного приговора Василию Шапорину, а таких страниц в

дневнике множество. Чего стоит только одна запись от 14 октября 1941 года! «Взята Вязьма, вчера Брянск, Москва постепенно окружается. Что думают и как себя чувствуют наши неучи, обогнавшие Америку. На всех фотографиях Сталина невероятное самодовольство, каково-то сейчас бедному дураку, поверившему, что он и взаправду великий, всемогущий, всемудрейший, божественный Август» (1, 273–274).

Однако суть дневника заключается не только в остроте критического отношения самой Любови Васильевны и её знакомых к советской власти, но и в той обстоятельности, с которой Шапорина фиксирует каждодневный «недуг бытия», переживаемый советским человеком. Благодаря её дневнику мы можем зримо представить себе те ежедневные тяготы и лишения повседневной жизни, которые пришлось пережить простым советским людям, не имевшим доступа к закрытым распределителям и не обладавшим достаточными средствами для того, чтобы регулярно покупать продукты на рынке и пользоваться услугами спекулянтов. 24 июля 1942 года, в тяжелейшие дни блокады Ленинграда, Любовь Васильевна отмечает: «Я голодна. Съев своё серебро в три дня, я отекла, т. е. появились отеки на лице. И теперь ещё труднее. За серебряный молочник, чайник, сахарницу весом 1 кг 100 гр. (чудесной работы, стиль рококо) я получила 1150 гр. крупы, 600 гр. гороха и 187 гр. масла. Курам на смех» (I, 346). 5 февраля 1949 года в дневнике появляется запись: «Мой гардероб на 32-й год революции: 2 дневные рубашки (одной, из бязи, уже 5 лет, и она рвётся), 2 ночные рубашки, 4 простыни (это счастье!), 3 наволочки, 3 полотенца, 1 пикейное покрывало, 1 платье из крепдешина, сшитое в 1936 году, выкрашенное в чёрный цвет. Всё в дырах, ношу на черном combine. Чулки в заплатах. 1 костюм, ему тоже 13 лет, весь в заплатах. Летнее пальто, тоже 36-го года, шито у Бендерской и хотя перелицовано, но ещё имеет вид. И только что сшитая шуба. Вот и всё. И это у человека, который всё время работает» (II, 119).

Действительно, Любовь Васильевна много работала. Она была создательницей первого в советской России театра марионеток, художницей, переводчицей. Переводы выполняла по договору с издательством, но никогда не состояла в штате, платили ей в издательстве немного и крайне нерегулярно, а обращались по-хамски, кроме того, работа по договору не учитывалась при начислении пенсии. Стремясь свести концы с концами, Любовь Васильевна время от времени продавала оставшуюся после отца и братьев антикварную мебель и книги из своей большой библиотеки, но даже это ей мало помогало хоть

как-то заштопать постоянно возникающие дыры в скудном бюджете. За полный комплект исторического журнала «Русская старина», который она так любила читать, Шапорина в конце февраля 1953 года получила всего-навсего 3200 рублей. (Это было месячное жалованье доцента с десятилетним педагогическим стажем.) Для Любови Васильевны вынужденная продажа «Русской старины» стала невосполнимой утратой: с журналом она расставалась как с живым существом. «Больно мне было очень, но так как переговоры шли с ноября месяца, я успела себя подготовить к этому, создать в себе какой-то иммунитет к этой утрате. Ничего поделать не могла, столько долгов накопилось, дети жили впроголодь. И за месяц, за февраль, истрачено почти всё» (II, 227). Её брак с Шапориным распался ещё до войны. Лауреат трёх Сталинских премий практически не оказывал ей никакой ощутимой помощи. Сына Василия, внука Петю, внучку Соню и ещё двух приёмных девочек, дочек «врагов народа», которых Любовь Васильевна взяла из детского дома, — всех их она долгие годы поддерживала, отказывая себе в самом необходимом.

Любовь Васильевна Шапорина, ещё в XIX веке окончившая Екатерининский институт в Петербурге, была редкостной фигурой советского ландшафта: много и тяжело работая, она никогда и нигде не служила, то есть не была штатным сотрудником советских учреждений. Лишь в дни ленинградской блокады Шапорина, чтобы получать рабочую карточку, устроилась медсестрой в госпиталь. Эта уникальная *невключённость* в советскую систему — с её обязательными для всех штатных сотрудников трудовым распорядком, собраниями, обличениями «врагов народа», коллективными резолюциями, еженедельными политинформациями и ежегодными принудительными займами — именно эта *невключённость* и позволила Шапориной сохранить незамыленность взгляда и независимость суждений. У неё никогда не было ни малейших иллюзий по поводу «сталинской заботы о простых людях», якобы проявлявшейся во время снижения цен, о чём так любят вспоминать апологеты плановой экономики. Ежегодные послевоенные снижения цен, о которых трубили советские газеты, получали на страницах дневника оценку, глубине и обоснованности которой мог бы позавидовать экономист и социолог: «С 1 апреля [1952 года] снизили цены на продукты на 12 %, 15 % и 20 %. Булка[81], стоившая 2 р. 15 к., стоит теперь 1 р. 85 к., масло вместо 37 р. 50 к. стоит 31 р. 90 к. В большой семье это небольшое снижение очень заметно. В газетах по этому поводу большой шум… А о том, что на заводах уже с февраля

проведено снижение расценок… на 30 % на круг, нигде не пишется. Сотня четвёрки (какие-то девятикилограммовые стаканы снарядов) прежде оплачивалась 40 р. — теперь 13. Нормы выполнения также увеличены чрезвычайно» (II, 203). В течение долгих десятилетий Любовь Васильевна, которая никогда не пользовалась никакими привилегиями, вела жизнь рядового обывателя, но никогда не имела ничего общего с *безмолвствующим большинством*. «Я чувствую себя каким-то дубом на поляне. За 25 лет всё и все менялись, меняли убеждения, верования, взгляды. Я оставалась верна своим убеждениям и самой себе…» (I, 422). Так написала она о самой себе 16 января 1944 года, накануне снятия блокады Ленинграда.

Всякий, кто внимательно прочитает этот дневник, столкнётся с очень сложной проблемой суда Истории, точнее, с проблемой выбора между весами Фемиды и мечом или плетью Немезиды. Что предпочесть — беспристрастное правосудие или неотвратимое возмездие?

Древнегреческую богиню правосудия Фемиду всегда изображают с повязкой на глазах, как символ беспристрастия, с рогом изобилия и весами в руках. Весы — это древний символ меры и справедливости. На весах Фемиды взвешиваются добро и зло, поступки, совершённые смертными при жизни. Посмертная судьба людей зависела от того, какая чаша перевесит. Рог изобилия в руке Фемиды — это символ воздаяния или невоздаяния каждому представшему перед её судом.

Древнегреческая богиня Немезида предстаёт перед нами как крылатая богиня неотвратимого возмездия, карающая мечом или плетью за нарушение общественных и моральных норм.

Сама Любовь Васильевна была убеждена, что грядущий суд Истории, до которого она мечтала, но не надеялась дожить, обязательно вынесет обвинительный приговор Советской России и покарает её вождей, прежде всего — Сталина. Однако в переживаемых страной бедах она винила не столько большевиков, сколько дореволюционное образованное общество — русскую интеллигенцию, чьим символом веры все годы её существования был воинствующий антипатриотизм. Вчитаемся в запись, которую Шапорина занесла в свой дневник 28 сентября 1941 года, когда в «городе трёх революций» отчётливо был слышен грохот дальнобойных орудий, а его сдача врагу казалась неизбежной.

«Я вчера думала: Россия заслужила наказание, и надо, чтобы „тяжкий млат“ выковал в ней настоящую любовь к родине, к своей земле. 100 лет, а может, и больше интеллигенция поносила свою страну, своё правительство, получила в цари Мандукуса[82] и начала униженно, гиперболически преклоняться, возносить

фимиамы, думая только о шкуре своей. Думать тошно об апофеозе „Как закалялась сталь“ в театре Радлова с бюстом Сталина в центре действия. <…>

Теперь Немезида.

Россия не может погибнуть, но она должна понести наказание, пока не создаст изнутри свой прочный фашизм» (I, 263–264).

Последняя строчка требует пояснения. Любовь Васильевна ратовала за национально ориентированную сильную власть и всякий раз с нескрываемым неодобрением замечала присутствие инородцев — грузин и особенно евреев — во властных структурах и в карательных органах. Именно засильем инородцев во главе и в рядах карательных органах автор дневника склонна была объяснять небывалый размах необоснованных репрессий в годы «большого террора». Забегая вперёд скажем, что после смерти Сталина и ареста Берии, когда массовые репрессии отошли в прошлое, Шапорина одобрительно заметила: «Слава Тебе, Господи, это прекратилось, и стало гораздо легче дышать. Во главе правительства стоят русские люди» (II, 276). Пройдёт ещё несколько лет, и Любовь Васильевна с нескрываемым раздражением напишет, что в ЦК партии есть «какие-то восточные человеки» (II, 363). Можно привести множество цитат, подтверждающих её бытовой антисемитизм: она охотно фиксировала в своём дневнике самые нелепые слухи, касающиеся евреев. Тем не менее Любовь Васильевна ещё более беспощадно смотрела и на русский народ. За несколько лет до начала «большого террора», когда времена ещё были относительно «вегетарианские», хотя казни не прекращались со времён Гражданской войны, 22 мая 1930 года Шапорина занесла в дневник очень горькие размышления о русском народе: «У нас всякий прёт (не идёт, а всегда прёт) телом на тело, не ощущая всего ужаса этого. Наша толпа — толпа дикарей, стоящих на самой низкой степени развития. <…> У нас вообще ничего не ощущают, кроме физиологических потребностей, а насчёт греха есть пословица: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасёшься.

Ненавижу. Ненавижу беспардонную, звериную грубость, тупость, наглость, ни на чём не основанную. Ждут поезда, вернее, момента, когда отворятся двери на платформу. И бросаются так, как будто им в спину стреляют из пулемётов. Не видят перед собой никого, готовы всё и всех смести — брбр, — и это дурачьё околпачивают, как хотят. Валяются на улицах, просто, без стеснения, без стыда. Это всё ужасно. Ужасней, чем мы думаем. С каким презреньем должен англичанин смотреть на эти

валяющиеся мертвецки пьяные фигуры, на всё.

Больно. Святая Русь!» (I, 92–93).

11 октября 1930 года Любовь Васильевна, размышляя о русском народе и его правительстве и отталкиваясь от советских реалий, самостоятельно сделает вывод, давно уже сформулированный Шарлем Луи Монтескьё и графом Жозефом де Местром, вывод о том, что *каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает.* «Меня начинает искренно возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство, и, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой бараний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужика при делёжке покосов» (I, 102). Вероятно, сама Любовь Васильевна была бы крайне удивлена, обнаружив несомненное сходство собственных воспоминаний о «зверином оскале у мужика» с наблюдениями столь нелюбимого ею Ильи Григорьевича Эренбурга, сделанными им во время Гражданской войны и тогда же использованными писателем в сатирическом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921). Скорбные размышления Шапориной оказываются конгениальны сатирической прозе Эренбурга. Одна из страниц романа воспринимается как развёрнутый комментарий к мысли Любови Васильевны о «звериных инстинктах»: «Наши попутчики, предпочтительно крестьяне, в промежутках между сражениями делились с нами своими взглядами на религию, крышу, культуру и на многое другое. Во всяком случае, им нельзя было отказать в своеобразии. Господа Бога, по их словам, не имелось, и выдуман он попами для треб, но церкви оставить нужно, какое же это село без храма Божьего? Ещё лучше перерезать жидов. Которые против большевиков — князья и баре, их мало ещё резали, снова придётся. Но коммунистов тоже вырезать не мешает. Главное, сжечь все города, потому что от них всё горе. Но перед этим следует добро оттуда вывезти, пригодится, крыши, к примеру, да и пиджаки или пианино. Это программа. Что касается тактики, то главное, иметь в деревне дюжину пулемётов. Посторонних никого к себе не пускать, а товарообмен заменить гораздо более разумными нападениями на поезда и реквизицией багажа пассажиров»[83].

Разумеется, Любовь Васильевна не замечает, что, фиксируя в дневнике подобные наблюдения и размышления, она, невольно забывая о Немезиде, дает аргументы Фемиде, способные на другой чаше её весов если не уравновесить, то хотя бы частично ослабить весомость обвинительных аргументов, направленных против большевизма. В итоге у читателей дневника возникает

многомерное представление о советской жизни. И внимательный читатель получает уникальную возможность *не только судить, но и понимать* безысходную трагичность выбора, сделанного в 1917 году.

Однако вернёмся к прерванной нити рассуждений. В дни великих испытаний Отечественной войны раздумье о неотвратимом возмездии возникало не только у интеллигенции, эта мысль проникла и в среду безмолвствующего большинства. И Любовь Васильевна чутко зафиксировала этот феномен. Вечером 8 октября 1941 года в дневнике Шапориной появилась красноречивая запись. «Мотя, санитарка детского отделения: „Сами мы виноваты“. — „Чем же мы виноваты?“ — „А тем, что на всех собраниях руки поднимали“» (I, 269).

5 июля 1942 года, когда официально было объявлено о сдаче Севастополя, поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая, третья жена Алексея Николаевича Толстого (1915–1935), сказала Любови Васильевне: «Мы все виноваты в теперешнем положении вещей. Вся страна уже много лет голодает. Помните, как на Витебском вокзале лежали повсюду голодающие украинцы. „Панычу, хлеба“, — протягивали руку. А мы, Алексей Николаевич, я, другие, в хороших шубах, сытые после попоек проходили, и нам казалось, что это где-то далеко, это нас не трогало. Теперь вся страна за это расплачивается» (I, 336).

Дневник Шапориной зафиксировал не только исчезновение людей в годы репрессий, но и постепенное исчезновение нравственных ориентиров в среде интеллигенции, исчезновение понятия греха в народе. «Великий урок грядущим поколениям всего мира: что случается, когда *ненависть* становится религией, или если не религией, то целью, девизом. Классовая борьба — что это такое? Оформленные, узаконенные зависть, донос, грабеж, нищета, голод, смерть. В Россию можно только верить. Тютчев это понимал. Сейчас можно только верить, но уже трудно верить. Народ дошёл до подлости, а в особенности оставшаяся в России, приспособившаяся, подхалимствующая интеллигенция. Господи, спаси и помоги» (I, 140–141). Эта запись была сделана 24 июля 1933 года, то есть уже тогда для Любови Васильевны был очевиден провал социального эксперимента, предпринятого над страной и её народом. Грядущая поступь Истории подтвердила справедливость этого вывода, и 31 мая 1947 года Шапорина написала:

«И какой страшной мне показалась моя собственная жизнь, жизнь моего бедного Васи, какой чудовищный и неудачный эксперимент. Эксперимент полуинтеллигентов» (II, 51).

Любовь Васильевна никогда не принимала ни революции, ни

власти большевиков, ни официальной идеологии. Она никогда не оправдывала насилие над личностью и не стремилась казуистически истолковывать коллективизацию и массовые репрессии, объясняя их государственной необходимостью и потребностями скорейшей индустриализации страны. Впрочем, было одно «но», одно очень существенное исключение. Любовь Васильевна, чьи родные братья воевали на фронтах Русско-японской и Первой мировой, не разделяла пренебрежительного отношения к имперским ценностям, свойственного русской интеллигенции. Вот почему имперские амбиции Сталина воспринимались ею не только без осуждения, но и с явным одобрением. Она была рада, что после победы над Японией страна вновь вернула себе Дальний и Порт-Артур. В день окончания Второй мировой войны она написала: «Теперь, по слухам, огромные массы войск стягиваются к границам Турции и Ирана. Вернем себе Карс. <…> Идём по стопам царей, не сами идём, а ведёт История, наперекор всякой марксистской чепухе. Это всё для будущего поколения. Сейчас страна только искусственно нищает, искусственно голодает, а правительство без толку пользуется рабским бесплатным трудом миллионов ссыльных. <…> Живут в землянках, пухнут от голода, ходят полуголые и мрут» (I, 485). Вот так в одной записи причудливо соединялись принципиальное неприятие государственного внеэкономического принуждения и чувство глубочайшего удовлетворения от реализации имперских замыслов. Имперские амбиции самой Любови Васильевны были столь радикальны, что она мечтала о завоевании Константинополя! Однако она не видела причинно-следственной связи между удручающей нищетой народа, убожеством его повседневной жизни и впечатляющим расширением границ державы. Пройдут годы. На закате жизни Шапорину выпустят за границу. Она побывает в Швейцарии, встретится с братьями, эмигрировавшими из Советской России, и с гордостью скажет давней знакомой: «Нас в последнее царствование при Николае II били два раза, позорно разбили японцы. А вот уже сорок два года, как мы отбились от всех, кто надеялся взять Россию голыми руками, и стали сильнее, чем когда-либо». Давно уже живущая в спокойной и благополучной Швейцарии знакомая не согласилась с этими доводами. «К чему это великодержавие, — ответила она. — Ну, били, но зато как спокойно было жить» (II, 386).

Что правда, то правда. Жизнь Любови Васильевны в СССР никогда не была спокойной. И все эти годы Шапорина размышляла о смысле происходящих событий, стремясь постичь логику Истории. Этим же занималась и советская литература. В

большом времени Истории — от момента завершения Петербургского периода русской истории и вплоть до распада СССР — художественная литература была практически единственным способом постижения сущего. Литература и искусство обладали несравнимо большей степенью свободы в отображении и осмыслении происходящего, чем общественные науки. И сколь бы пагубным ни было воздействие идеологии и цензуры на литературу, это воздействие всё же не было смертельным. «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Реквием» и «Поэма без героя» Анны Ахматовой, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, городские повести Юрия Трифонова, «Братья и сёстры» Фёдора Абрамова — все эти шедевры сегодня нуждаются в обстоятельных бытовых комментариях. Бег времени продолжается: люди, жившие при советской власти, постепенно становятся уходящей натурой. Повседневная жизнь советского человека, запечатлённая на страницах литературы, нуждается в комментировании, а это комментирование отныне невозможно без обращения к дневнику Любови Васильевны Шапориной. В этом его непреходящая ценность. Кто нынче не помнит фразу Михаила Булгакова, вложенную им в уста Воланда и ставшую крылатой: «Квартирный вопрос только испортил их»?! А ведь почти вся жизнь Любови Васильевны была многолетней непрекращающейся борьбой за свою квартиру. И подробное фиксирование мемуаристкой всех перипетий этой борьбы обогатил историю повседневной жизни советского человека множеством выразительных подробностей, позволяющих понять как всю глубину булгаковской фразы, так и весь драматизм жизненной коллизии, отображённой в «Обмене» Юрия Трифонова. Дневник Шапориной конгениально корреспондируется с поэмой «Реквием» Анны Ахматовой:

> Это было, когда улыбался
> Только мёртвый, спокойствию рад.
> И ненужным привеском болтался
> Возле тюрем своих Ленинград[84].

Эти бессмертные строчки уже не кажутся только поэтической метафорой, когда мы читаем в дневнике: «У меня тошнота подступает к горлу, когда слышу спокойные рассказы: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян, расстрелян — это слово висит в воздухе, резонирует в воздухе. <…> Но жить среди этого непереносимо. Словно ходишь около бойни, и воздух

насыщен запахом крови и падали» (1,214, 221).

Дневник Шапориной — это хроника жизни «мыслящего тростника», волею судеб ставшего свидетелем и едва-едва не превратившегося в жертву многолетней войны, которую Советское государство вело против своего собственного народа. И эта хроника трудов и дней «маленького человека», отлично осознававшего, с одной стороны, собственную включённость в исторический процесс, а с другой — свою уникальную *невключённость* в советскую систему, может быть осмыслена в ином, более крупном масштабе. В «большом времени» — времени «диалога культур» — дневник Шапориной обнаруживает потенциальную неисчерпаемость смыслов, позволяя не только современному, но и будущему читателю легко перебросить мостик от эпохи «большого террора» к временам давно прошедшим — будь то Российская империя при Павле I или императорский Рим — и открыть для себя в дневнике новые смысловые ансамбли.

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сём Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.
Жалеть об нём не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно![85]

Каждый день Любовь Васильевна молилась, мечтая дожить до суда над Сталиным. «Этот суд *должен* состояться» (II, 389). И когда бы ни состоялся такой суд, каковы бы ни были судебные прения и грядущий приговор Истории, в этом судебном заседании непременно прозвучат выдержки из её дневника. И будущий историк, прежде чем сделать окончательный выбор между весами Фемиды и мечом или плетью Немезиды, обязательно перечитает этот дневник.

Любовь Васильевна Шапорина была настоящим русским интеллигентом, сформировавшимся ещё до начала русской Смуты. Состояние внутренней свободы, чуждое почти всем интеллигентам советской формации, ей было органически присуще. Именно это состояние препятствовало Любови Васильевне интегрироваться в систему. Это была уникальная ситуация. Прожив большую часть жизни при советской власти, Шапорина ухитрилась смотреть на происходящие события взором независимого внешнего наблюдателя. *Живя внутри системы, она умела смотреть на неё извне.* Любовь Васильевна была отчуждена

от мифологизированного сознания своей эпохи. Ей были одинаково чужды как официальные советские мифы, так и мифотворчество шестидесятников и диссидентов.

Глава 3
ДОМИК В КИСЛОВОДСКЕ

Пятнадцать лет отделяют смерть Сталина в 1953 году от ввода советских войск в Чехословакию в 1968-м. В эти полтора десятилетия две страны — страна сидевшая и страна сажавшая — силою вещей были вынуждены взглянуть в глаза друг другу, пытаясь понять логику происшедшего. И это настойчивое стремление отыскать логику в кошмаре пережитых десятилетий и желание оправдать совершённые властью преступления величием Победы и масштабом свершений — от ликвидации неграмотности до прорыва в космос — именно это упорное стремление понять закон истории, объяснивший все перипетии того пути, по которому страна шла после 1917 года, объединяло поколение людей, названных *шестидесятниками.* Это было первое поколение в истории страны, стремившееся не только разобраться в этой истории, но определить своё место в потоке времени. Со времён Рюрика это было первое поколение, одновременно постигавшее себя в прошлом, настоящем и будущем: оно пристально вглядывалось в минувшее, чтобы понять настоящее, предвидеть будущее — и найти в истории *утешение.* «Я очень люблю закономерности. Понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно принимаю случайные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово», — с афористической точностью выразилась Лидия Яковлевна Гинзбург[86]. Люди этого поколения исходили из аксиомы существования законов истории: круговая порука фактов была символом их веры, и они считали, что в окружающем мире всё подлежит истолкованию. С 1960 года в издательстве «Советский писатель» начал выходить ежегодный научно-художественный альманах «Пути в незнаемое: Писатели рассказывают о науке». Главной целью альманаха, равно популярного как среди «физиков», так и среди «лириков», стало освещение наиболее важных проблем современной науки: его авторы обладали редким даром увлекательно писать о новом в генетике, биологии, истории, физике, археологии, агротехнике, медицине… Такая широта кругозора объединяла людей образованных или желающих прослыть таковыми, объединяла поколение шестидесятников.

Именно эти люди стали читателями и героями прозы Юрия Валентиновича Трифонова. *Писатель всю свою жизнь прожил при советской власти, однако, живя среди людей с*

мифологизированным сознанием, и сам, находясь внутри мифа, он последовательно разрушал этот миф изнутри. Трифонов осознавал себя учеником и продолжателем Чехова. «Чехов совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости»[87]. Именно эта великая сила недосказанного, помноженная на способность советского интеллигента читать между строк, обеспечила феноменальный успех трифоновской прозы. Несмотря на все препоны и рогатки советской цензуры, Трифонов ухитрялся не только высказать всё, что он хотел сказать, но и быть понятым вдумчивым читателем. Именно Юрий Трифонов, опираясь на творчество Чехова, донёс до сознания советского интеллигента мысль о том, что он — лишь звено в длинной, уходящей в глубь веков цепи. Если шестидесятники XIX века не интересовались прошлым своей страны, уничижительно трактуя его как «позорное» и «постыдное», то шестидесятники XX века ни в коей мере не разделяли нигилизм своих предшественников, которые чванились своим разрывом с миром и временем отцов.

«Холодным осенним вечером, у костра, студент Иван Великопольский рассказывает двум крестьянским женщинам историю про то, как Пётр предал Христа во дворе первосвященника. Для студента Пётр не евангельская фигура, а живой человек, который плачет над своей слабостью. „И исшед вон, плакася горько“. Женщины взволнованы рассказом, одна из них, старуха Василиса, тоже заплакала — а ведь какое ей дело до событий, произошедших девятнадцать веков назад?

И студент подумал, что „прошлое связано с настоящим неопределённой цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему показалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой“.

Так же, как студент у костра, Чехов сумел в своём творчестве дотронуться до незримой цепи, связующей поколения, и она задрожала от него, от его сильных и нежных рук, и всё ещё дрожит, и будет дрожать долго…»[88]

Эти строки, содержащие большую цитату из чеховского «Студента», были написаны в декабре 1959 года к 100-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова и опубликованы 28 января 1960 года в «Литературной газете». Высочайшее профессиональное мастерство Трифонова заключалось в том, что используя форму проходной юбилейной статьи в центральном органе Союза советских писателей, он опубликовал литературный манифест своего будущего творчества.

Через несколько лет Трифонов написал рассказ «Кепка с

большим козырьком». Сам автор считал этот небольшой рассказ исключительно важным, определяющим и рубежным для своего творчества. Если бы это было иначе, то он никогда бы не дал сборнику своих рассказов такое же название — «Кепка с большим козырьком» (1969). Это, может быть, самый чеховский рассказ в творчестве Трифонова. Уже первая фраза поражает читателя, современника Трифонова, своим бьющим в глаза несоответствием мировосприятию советского человека. Судя по всему, рассказ написан в самом начале 60-х годов, когда безоговорочное осуждение мещанских ценностей считалось общим местом. «Арташез приехал в С. пять лет назад с твёрдым намерением за короткий срок заработать шестьдесят тысяч денег (это было в 1955 году) и купить дом в Кисловодске»[89]. Восстановим обстоятельства места и времени. Прошло два года после смерти Сталина, ещё год остаётся до разоблачения его культа личности на XX съезде партии, а писатель делает героем своего произведения не полярника, не героя-фронтовика, не строителя канала и даже не будущего целинника. Главный герой рассказа, бесспорно, не принадлежит к тем, кому адресованы книги популярной молодогвардейской серии «Тебе в дорогу, романтик»: романтики великих дел для него не существует.

Как развивалось бы действие в произведении среднестатистического советского писателя, желающего опубликовать свой рассказ? Арташез, родившийся и до двадцати лет проживший в глухой карабахской деревне, по логике развития сюжета должен был бы убедиться в ложности своей мечты о домике. В этом ему помогли бы старшие товарищи и мудрый секретарь парткома или даже райкома. Рассказ завершился бы на оптимистической ноте. Произнеся саморазоблачительный монолог и поблагодарив товарищей за науку, Арташез, ещё не вышедший из комсомольского возраста, поехал бы осваивать целинные земли, чтобы именно там, а не в Кисловодске построить собственный дом. Вспомним популярные фильмы тех лет «Солдат Иван Бровкин» (1955) и «Иван Бровкин на целине» (фильм был создан в 1958-м, а премьера состоялась в январе 1959-го). Иное дело Трифонов. В первом же абзаце он поясняет, почему у армянского паренька из глухой карабахской деревни возникло это настойчивое желание заработать деньги и купить дом в Кисловодске. Но почему именно в Кисловодске? И уже вторая и третья фраза рассказа отвечают на этот вопрос. «Он очень хотел купить дом в Кисловодске. Сам он в Кисловодске не был, но знал, что там красиво, хороший воздух, курортное снабжение, много армян, кроме того, там жил дальний родственник Арташеза и ещё один знакомый человек, земляк

Арташеза из одной с ним деревни, которые оба имели ту же профессию, что и Арташез, и от них доходили слухи, что в Кисловодске работы много и можно жить хорошо»[90].

Писатель сугубо конкретен: уже из первой фразы мы узнаём, сколько стоит вожделенный предмет мечтаний Арташеза. Чтобы современный читатель ощутил порядок цифр, надо знать, что для середины 50-х годов сумма в 60 тысяч рублей (6 тысяч рублей после денежной реформы 1961 года) была суммой не просто большой или очень большой, а, прямо скажем, фантастической. Лишь старший офицер Советской армии или доцент, имеющий степень кандидата наук (и тот и другой принадлежали к наиболее обеспеченным и хорошо оплачиваемым слоям населения), смогли бы скопить эту сумму в течение двух лет, правда, при одном существенном условии — если бы они два года не ели, не пили, а только откладывали свою зарплату, ощутимо превышавшую среднюю зарплату по стране. И первые читатели рассказа прекрасно понимали эти обстоятельства. Герой Трифонова хочет *заработать* эти очень большие деньги, причём заработать быстро и честно. Какому же ремеслу обучен Арташез? Он — парикмахер. Его профессия не героическая, не романтическая и не только малоподходящая для молодого мужчины, но даже слегка презираемая советским человеком. Арташез — дитя войны: с детских лет он привык к голоду, нищете, тяжёлому физическому труду и примитивному быту: в его родной деревне нет ни электричества, ни средней школы. Он с трудом смог закончить лишь четыре класса начальной школы, «потом работал землекопом, возчиком на арбе, одно лето подрядился ремонтировать дорогу, но всё это ему не нравилось, потому что труд был тяжёлый, а платили за него мало»[91]. Исключительно экономными средствами писатель даёт понять внимательному читателю, что голова его героя не была обременена не только школьной зубрёжкой, но и советской идеологией. Обстоятельства места были таковы, что на сознание Арташеза, оставшегося старшим в семье, гораздо больше влияла реальная жизнь, чем официальная идеология. Изначально у него не было никаких иллюзий. Он не надеялся, что, пока он по зову коммунистической партии будет вдали от родного дома строить коммунизм, государство решит его проблемы, например, взяв на попечение его почти потерявшую зрение мать.

Арташез покидает горную деревню, совершает «хожение за море» и оказывается на далёком нефтяном промысле в Туркмении. Ремеслу парикмахера Арташеза научил родной дядя, брат матери, инвалид войны с покалеченной рукой. Дядя же внушил племяннику мысль, что с таким ремеслом в жизни не

пропадёшь. «Он сказал, что это золотое дело: везде нужно и везде за него платят деньги»[92]. Это была весьма нетривиальная мысль. Советская школа ориентировала своих выпускников на приобретение специальностей, нужных государству, стыдливо умалчивая о том, какой именно уровень достатка сулит та или иная профессия, какой уровень жизни сможет обеспечить то или иное ремесло его обладателю в будущем. Любые размышления на эту тему априорно клеймились как низменные, мещанские, недостойные советского человека. Вообще советский человек вступал в жизнь, имея весьма приблизительные представления о самой этой жизни и реальных законах её функционирования: житейской мудрости в школе не учили. Дядя-фронтовик одной этой фразой вложил в голову племянника больше мудрости, чем вкладывал в голову студента университетский курс политэкономии социализма.

Арташез быстро понял, что именно на нефтяном промысле в пустыне он заработает гораздо быстрее, чем в любом городе: «там пустыня и жить тяжело», «чем дальше в глубь песков, тем больше можно заработать»[93]. Заработать можно, но потратить нельзя; труд нефтяников тяжёл, а быт неприхотлив и лишён элементарных жизненных удобств и малейших соблазнов; «и жить там нужна привычка: кругом пески, ни деревца, ни травинки, вода привозная, всё привозное»[94]. Если бы Арташез поехал в туркменскую пустыню, чтобы стать нефтяником, то его поступок идеально вписался бы в картину мира советского человека. Стране была нужна нефть, и чрезвычайно тяжёлая профессия нефтяника не только хорошо оплачивалась, но и была окружена ореолом романтики и героизма. Однако тот, кто ехал в эту пустыню, чтобы, деля с нефтяниками все тяготы и лишения их походной жизни и создавая им своим трудом самый примитивный комфорт, такой человек воспринимался неоднозначно и, безусловно, не подлежал ни героизации, ни подражанию.

План Арташеза в течение нескольких лет заработать деньги на дом в Кисловодске безупречен с любой точки зрения — экономической, психологической, социологической. В пустыне жарко, поэтому стричься надо коротко и не реже одного раза в месяц. На нефтепромысле в пустыне нет воды; мужчине, чтобы побриться опасной бритвой и не порезаться, нужны горячая вода и известная сноровка, хорошие импортные лезвия для безопасной бритвы из нержавеющей стали — это очень большой дефицит, а отечественные лезвия пригодны лишь для точки карандашей; пройдёт пара десятилетий, прежде чем отечественная промышленность освоит производство электробритв, — вот

почему уважающие себя мужчины у парикмахера не только стригутся, но и бреются. «Нефтяники люди богатые, деньги в песках тратить некуда, вот и кидают парикмахерам по тридцатке да по полсотенной за простую работу, поневоле озолотишься»[95]. Вновь поясним обстоятельства времени и места. Тридцать или, тем более, пятьдесят рублей за парикмахерские услуги (в ценах до денежной реформы 1961 года) — это сумма, *в десять раз* превышающая расценки государственной парикмахерской. За тридцать рублей можно было купить десять билетов в обычный кинотеатр, столько платили рядовому солдату Советской армии в месяц. А уж за пятьдесят рублей можно было хорошо пообедать вдвоём в столичном ресторане. Пройдет два десятилетия после начала описываемых в рассказе событий, и в очень дорогом московском салоне на улице Горького модельная мужская стрижка станет стоить пять рублей, то есть пятьдесят дореформенных рублей. Но Арташезу не было суждено узнать об этом.

Итак, Арташезу «хотелось забраться в такое место, где на сто километров кругом он был бы единственным парикмахером»[96]. И ему это удалось. От того места, где закончилась асфальтовая дорога, периодически заметаемая песками пустыни, он ещё целый день ехал на попутном самосвале и вечером добрался до небольшого нефтяного прииска. «Арташез увидел нефтяные вышки, десятка полтора деревянных бараков, груду белого строительного камня, цистерну, радиомачту и несколько палаток»[97]. Арташез стал работать парикмахером при бане. В безводной пустыне у него никогда не было проблем с горячей водой. Уроженец глухой горной деревни был стихийным носителем буржуазного сознания в стране, где официальная идеология ежедневно и ежечасно осуждала и боролась с малейшими проявлениями так называемых частнособственнических инстинктов. Впрочем, вряд ли герой Трифонова задумывался над этим. У него просто не было времени. «Поглядев на него, можно было догадаться, что этот человек одержим страстью. Он был молчалив, быстро двигался, почти не пил вина, не курил, не читал книг, да, пожалуй, и газет, не интересовало его и кино. В доме было радио, но он его никогда не слушал. Как учёный, фанатично преданный своей идее, он был поглощён одним: работой в парикмахерской. Он вставал в шесть утра, в половине седьмого начинал работать и возвращался домой в восемь. Так было изо дня в день. За пять лет он ни разу не был в отпуске и ни разу не болел. В воскресные дни он тоже работал»[98].

Вновь вспомним обстоятельства времени и места. Действие

рассказа начинается в 1955-м, и первоначально Арташез намеревался за два года работы скопить деньги на дом в Кисловодске. Однако путь к осуществлению мечты оказался более долгим, чем это представлялось в самом начале. Прошло пять лет, то есть наступил 1960-й, и лишь на следующий год мечта Арташеза должна была стать явью: весной 1961 года он намеревался переехать в Кисловодск. За это время в стране произошли грандиозные события: был разоблачён культ личности Сталина, советские войска подавили мятеж в Венгрии, Никита Хрущёв выиграл противоборство с «антипартийной группой» и отправил в отставку маршала Жукова, в космос был запущен первый советский спутник, началось грандиозное сокращение Вооружённых сил на один миллион двести тысяч человек, а вожделенный переезд в Кисловодск должен был совпасть по времени с полётом Гагарина в космос. Но Арташез жил вне этого: страсть обуревала его. Возможно, его мечта осуществилась бы раньше, но он женился на девушке Ларисе, которая родила ему двоих сыновей. Осталось загадкой, как при такой всепоглощающей страсти у парикмахера нашлось время для того, чтобы завести семью. Весной 1961-го, когда в поселковой закусочной уезжающему в Кисловодск парикмахеру устраивал проводы его единственный друг Хачик, в случайной драке Арташез был убит ножом в сердце. Смертельную рану нанёс ему тбилисский бандит, приехавший в посёлок, чтобы нелегально перейти границу и бежать в Иран. На голове бандита, армянина по национальности, была светлая кепка с очень большим козырьком.

Рассказ отличается эстетической завершённостью. Вряд ли смерть Арташеза была случайной: люди, подобные трифоновскому парикмахеру, не имели никаких шансов уцелеть в той действительности, в которой разворачивается действие рассказа. Такие люди не только не вписывались, но и выламывались из неё. Рано или поздно, по тому или по другому поводу, но конфликт был неизбежен. Стремление человека к мещанскому счастью, всегда ассоциировавшееся с собственным домом, осуждалось не только Советским государством, но и большинством его граждан, закончивших советскую школу. Не возбранялось ехать в далёкие края «за туманом и за запахом тайги», но решительно и бескомпромиссно осуждалось столь естественное желание в этой тайге заработать.

На что же могли потратить свои кровные деньги простые советские люди, трудившиеся в экстремальных условиях и месяцами лишённые элементарных бытовых удобств? На что издерживали свои громадные по советским меркам заработки те,

кто платил парикмахеру Арташезу по тридцать или по пятьдесят рублей за его работу? В романе «Утоление жажды» есть ответы на эти вопросы.

«На колодце Куртыш стояла партия геофизиков, у них был такой шофёр, Дмитрий Васильевич Плющ. Человек уже немолодой, из Грозного, правда, совершенно одинокий, вдовец. Он крепко зарабатывал и всю получку тратил знаете как? Покупал в Кизыл-Арвате ящик вина, выезжал в пески, останавливался где-нибудь на дороге и всех встречных шоферов поил бесплатно. И не только шоферов, а всех, кто попадётся.

<…> И для этого своего удовольствия — сидеть в песках, на дороге, и поить незнакомых людей вином — он дни и ночи крутил баранку. Вот вам и Плющ. Возьмите его за руль двадцать. <…> Про Сашку Фоменко слыхали? Ну как же, это оригинал, на всей трассе знаменитый. Он десять месяцев в забое безвылазно, а два — гуляет, в Сочи, в Крыму, живёт в лучших гостиницах и выдаёт себя то за какого-нибудь капитана, то за разведчика или полярного лётчика»[99].

В среде шестидесятников была очень популярна комедия Виктора Розова «В поисках радости», впервые опубликованная в декабрьском номере журнала «Театр» за 1957 год. Один из персонажей комедии, пятнадцатилетний Олег, с остервенением рубит саблей деда, «комиссара в пыльном шлеме», только что приобретённый дорогой чешский полированный сервант — и эта сцена стала настоящим символом времени. Сейчас трудно поверить в то, что эта сцена была не только идеологической и пропагандистской конструкцией. Нет, она очень точно выражала искренние чувства современников. Унаследовав от русской интеллигенции принципиальное неприятие буржуазных ценностей и любых проявлений мещанства (само это слово утратило нейтральную окраску и всегда употреблялось с оттенком нескрываемого осуждения), советская интеллигенция, однако, не имела перед собой того веера разнообразных возможностей для самореализации вне сферы государственной службы, открывшихся перед русским интеллигентом с началом эпохи Великих реформ и дававших ему всевозможные способы очень хорошо зарабатывать, чувствовать себя независимым от государственного деспотизма и при всём том жить сыто и весьма достойно. У советской интеллигенции воинствующее неприятие мещанства стало своеобразной превращённой формой преодоления тех унизительных условий, в которых даже очень состоятельным по советским меркам людям приходилось удовлетворять любые материальные потребности. Если советский человек обладал большой суммой денег, но не принадлежал к

партийной или советской номенклатуре, то он сталкивался с разнообразными ограничениями, которые приходилось преодолевать, чтобы легально потратить деньги.

Трифоновский Арташез, даже заработав шестьдесят тысяч рублей, не мог просто так приехать в Кисловодск и купить понравившийся домик. В стране существовал институт прописки, для того чтобы обрести прописку в курортном Кисловодске и разрешение на покупку дома, парикмахеру необходимо было собрать множество разнообразных справок, например, что его детям по состоянию здоровья требовалось сменить климат. Надо было сняться с воинского учета в посёлке нефтяников и встать на учёт в военкомате Кисловодска, а обязательное прохождение этой процедуры (без неё нельзя было выписаться из одного места и прописаться в другом) могло иметь для Арташеза весьма нежелательные последствия. Ведь он не служил в армии, пользуясь разнообразными отсрочками, которые предоставлял ему военный комиссар, судя по прозрачному намёку автора, за взятки. Визит Арташеза в военкомат мог закончиться если не призывом в армию, то призывом на военные сборы. Но даже успешно преодолев все чудовищные бюрократические препоны, Арташез столкнулся бы с множеством новых проблем: даже приобретение самых необходимых строительных материалов было непростой задачей. Легальный рынок этих материалов практически не существовал, стройматериалы были очень большим дефицитом, а их нецелевое использование (строительство собственного дома или его ремонт подпадали под эту категорию) трактовалось как хищение социалистической собственности и расценивалось как преступление. И вновь Арташезу пришлось бы собирать разнообразные справки и ожидать своей очереди, чтобы приобрести щебёнку, гравий, цемент, кирпичи, доски, оконные рамы или кровельное железо. Нелегальное же приобретение всего этого на чёрном рынке и отсутствие разрешающих документов, как тогда говорили, «тянуло на статью»: делало как продавца, так и покупателя весьма уязвимыми с точки зрения существовавших тогда законов.

Действие рассказа начинается через десять лет после Победы. Страна жила тяжело и скудно, однако уже существовал слой относительно обеспеченных людей, к ним относились академики, генералы, народные артисты и художники, главные конструкторы авиационной промышленности, ведущие инженеры оборонной промышленности, члены творческих союзов и так называемые знатные шахтёры, сталевары, железнодорожники… И каким бы немногочисленным ни был этот слой, его представители, даже пользуясь разнообразными льготами и посещая закрытые для

простых советских людей магазины и распределители, тем не менее постоянно сталкивались с непростой проблемой — как потратить деньги. Даже если у генерала или академика были средства для приобретения собственной дачи, необходимо было стать членом дачного кооператива и лишь тогда получить разрешение на строительство или покупку дачи. Вступление же в такой кооператив было вполне сопоставимо по своей трудности с вхождением в члены какого-нибудь закрытого аристократического клуба, например Английского или Яхт-клуба до революции. В своих воспоминаниях вдова маршала Михаила Ефимовича Катукова подробно пишет о том, с какими многочисленными унизительными препятствиями сразу же после войны столкнулся её муж, прославленный военачальник, дважды Герой Советского Союза и в то время генерал-полковник танковых войск, когда захотел построить под Москвой дачу. Со времён битвы под Москвой его имя было у всех на слуху, но популярный герой войны привык идти по жизни прямой дорогой и не хотел ни о чём просить начальство, поэтому вполне законное приобретение дачного участка и строительство дачи стало для самого генерала и его жены тяжёлым испытанием. «Михаил Ефимович был очень удачлив в военных походах, но ему совсем не везло в житейских делах. Здесь всё ему доставалось через препятствия, с огромными трудностями»[100]. Что же тогда говорить о людях не столь именитых и заслуженных?

В конце 1950-х Лидия Яковлевна Гинзбург, всегда чутко фиксировавшая в своих записных книжках характерные приметы повседневной жизни советской интеллигенции, диагностировала суть этой проблемы и описала её характерные признаки: «Тратить значительные суммы у нас труднее, чем зарабатывать их. Тягостные усилия начинаются на уровне холодильников и продолжаются классическим набором — машинами, квартирами, дачами. Далее наше воображение иссякает. Всякое крупно преуспевающее семейство держится на разделении труда — одни зарабатывают, другие тратят. Труд тратящих менее квалифицированный, но более утомительный и нервный»[101]. Цепкое наблюдение Лидии Яковлевны о существовании разделения труда в процветающих советских семействах подтверждается романом Галины Евгеньевны Николаевой «Битва в пути» (1957). Этот современный советский роман, в наши дни безвозвратно забытый, пользовался феерическим успехом в конце 1950-х — начале 1960-х годов: он неоднократно переиздавался массовыми тиражами и в 1961-м был экранизирован. Персонажи романа обсуждают, почему у Семёна Вальгана, генерала, директора крупнейшего завода и очень обеспеченного человека,

такая заурядная жена. Их диалог стоит привести полностью: он стоит иной научной статьи по истории повседневности. Ответ оказывается неожиданным.

«Таких, которым нужна жена как витрина для драгоценностей, у нас, прямо сказать, маловато! Красоток для развлечения им хватает, а особенно после войны. За пару ласковых слов и флакон духов… Печально, но факт… Словом, красотка не проблема! Мужчина ищет подругу жизни. Если он человек, он ищет в подруге человека. Если он из хапуг, то он ищет в подруге жизни умелую, но, заметьте, преданную хапугу. Красота в большинстве случаев довесок. Весьма приятный, но довесок!

— Я думала, у Вальгана жена должна быть красавицей. Почему у него такая обыкновенная?

— Потому что Вальган умный человек. Красоток при желании он будет иметь на стороне в любом количестве. Он же неотразим, когда хочет. А дома ему нужны преданность и комфорт. Его Маргарита — гений домашнего благоустройства, она — Вальган в семейном масштабе. Она ездит в Одессу за отрезами на костюм, в Ригу за мебелью и летит в Тбилиси, потому что муж захотел к завтраку свежего винограда. Супружеский сервис первой категории. Вальган знал, на ком жениться! Они пара!»[102]

Однако вернёмся к прерванной нити рассуждений. Для шестидесятников это столь важное для их мировоззрения отрицание мещанских ценностей стало иллюзорной формой ухода от действительности и её реальных проблем в воображаемый мир фантазий и разнообразных мифов. Шестидесятники верили во всемогущество человеческого разума, наиболее совершенным воплощением которого почиталась наука, и были убеждены в том, что открытия учёных помогут человечеству решить все его проблемы. Априорно считалось, что интеллигентный человек всегда и везде должен быть выше быта в его любых проявлениях: ему надлежало существовать исключительно в возвышенной сфере духа, а не в низменном мире вещей. Стыдно заниматься решением бытовых проблем, когда человечество не сегодня завтра полетит к другим планетам. Разумеется, реальная жизненная ситуация была более сложной и не столь прямолинейной, но именно это безоговорочное осуждение мещанства — не только демонстративное, но и проистекающее из внутренней убеждённости — было отличительным признаком интеллигентного человека или человека, желавшего прослыть таковым. Сила общественного мнения была так велика, что даже убеждённые «вещепоклонники» стеснялись демонстрировать свои устремления не только в

официальной обстановке, но и в повседневной жизни.

В условиях отсутствия рыночных отношений и тотального дефицита предметов первой необходимости потребительское поведение советского человека развивалось по каким-то причудливым законам. Собственный дом и дорогая импортная мебель ассоциировались с мещанством, а вот собственная машина расценивалась как очевидный для всех показатель жизненного успеха. Автомобиль для шестидесятников был «не только средством передвижения, но и знаком престижа»[103]. Тон задавала творческая интеллигенция, о чём с социологической точностью написал Самуил Яковлевич Маршак в эпиграмме, которую он 6 ноября 1961 года оставил в книге для посетителей Дома-музея А. П. Чехова в Ялте и адресовал «братьям-писателям»:

> Писательский вес по машинам
> Они измеряли в беседе:
> Гений — на «ЗИМе» длинном,
> Просто талант — на «Победе».
> А кто не успел достичь
> В искусстве особых успехов,
> Покупает машину «Москвич»
> Или ходит пешком. Как Чехов[104].

Трифонов метко зафиксировал в своём рассказе эту выразительную примету времени конца 50-х — начала 60-х годов. Вдова Арташеза Лариса уехала из поселка нефтяников, вновь вышла замуж, и её второй муж на деньги, заработанные парикмахером, купил легковой автомобиль. Автор рассказа не стал конкретизировать марку машины: первым читателям «Кепки с большим козырьком» и без его пояснений всё было понятно. Оставшиеся после Арташеза деньги позволяли Ларисе приобрести самую дорогую легковую машину тех лет — легендарный «ЗИМ» (аббревиатура названия «Завод имени Молотова»), стоивший около сорока тысяч дореформенных рублей. После того как Хрущёв разоблачил культ личности Сталина и разгромил «антипартийную группу» Молотова, Маленкова и Кагановича, любое упоминание этой марки, слывшей одним из самых ярких символов сталинской эпохи, в открытой печати считалось нежелательным.

Мы не знаем, был ли у трифоновского Арташеза реальный прототип, или это — собирательный образ, но писатель создал выразительный портрет человека, который резко выделялся на фоне своих современников — реальных и вымышленных. И Трифонов не скрывает своего удивления: «Я подумал о том, какое

это могучее свойство, может быть, самое могучее в человеке, — целеустремлённость. Нас обуревает слишком много желаний, но люди, подобные Арташезу, выбирают что-нибудь одно. Они знают, зачем живут. Они не порют горячку в этой жизни, столь приспособленной для горячки. Они не суетятся, не разбрасываются, а с муравьиным упорством продвигаются вперёд и достигают чего-то ведомого им одним. <…> Всё-таки он мне крепко запомнился. Он так не походил на меня и на всех, кого я знал. Он был какой-то удивительно цельный»[105]. Арташез был предназначен для жизни в принципиально иной, чем социализм, социальной системе. Он идеально вписался бы в капиталистическую реальность и сумел бы в ней преуспеть.

В то самое время, когда Трифонов работал над своим рассказом, на страницах толстого журнала «Новый мир» — культового журнала либеральной интеллигенции — из номера в номер печатались и сразу же после выхода в свет в буквальном смысле слова зачитывались до дыр воспоминания Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Трифонов, как и все его образованные современники, не мог не читать этих прославленных мемуаров. Очевидно несомненное генетическое родство между литературным героем его рассказа парикмахером Арташезом и одним из многочисленных реальных персонажей воспоминаний Эренбурга. Рассказывая о своём пребывании в послевоенной Америке, Илья Григорьевич приводит пространные философские рассуждения немолодого американца из глухой провинции. За свою жизнь этот человек несколько раз был на гребне успеха и быстро богател, затем — неожиданно разорялся, но не предавался унынию и вновь шёл вперёд. Он постоянно менял профессии и сферы деятельности: торговал санитарными приборами, был хозяином небольшой колбасной, продавал в киоске горячие сосиски, владел небольшим заводиком по производству сейфов, издавал финансовый листок, занимался наружной рекламой, частным сыском и организацией предвыборной кампании. При любых обстоятельствах этот случайный собеседник Эренбурга из бара в Олбани продолжал идти к достижению поставленной цели.

«Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся: „Я не бельгиец, не француз и не русский, я настоящий американец. В мае мне исполнилось пятьдесят четыре года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я ещё могу взобраться на вершину“. Потом он начал философствовать: „Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверно, они хорошие бизнесмены. Но я читал в „Таймсе“, что у вас нет частной

инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалованье. Это неслыханно скучно! Да если бы во время великой депрессии (так он называл кризис конца двадцатых годов) мне сказали: дадим тебе приличное жалованье, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, — я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно! Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на чёрный день и вырождаются: там каждый молодой человек — духовный импотент…“» [106] Итак, Арташез был удивительно цельным человеком. Именно этой цельности так не хватало персонажам повестей «московского цикла». Героями этих повестей стали горожане. Хотя сам Юрий Валентинович настойчиво возражал, когда ему говорили, что он пишет об интеллигенции, фактически он писал не просто о горожанах, а о горожанах образованных и склонных к рефлексии по поводу собственного бытия — и в этом смысле писал об интеллигенции[107]. Первая повесть «московского цикла» называлась «Обмен» и была написана в 1969 году, одновременно с выходом в свет сборника рассказов «Кепка с большим козырьком». Хотел того автор или нет, но именно «Кепка» стала прологом к этому циклу. Однако никто из современников писателя этого не заметил.

Глава 4
КОМНАТА НА ПРОФСОЮЗНОЙ

Уже первая фраза повести «Обмен» вводит читателя в суть событий: «В июле мать Дмитриева Ксения Фёдоровна тяжело заболела, и её отвезли в Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее»[108]. Этот эвфемизм более чем понятен: у матери инженера Дмитриева обнаружили рак. Стало очевидно, что дни её сочтены. И тогда жена Дмитриева Лена решила срочно съехаться со свекровью. У Дмитриевых — инженера, его жены и их дочери-школьницы — была комната в коммунальной квартире, в которой проживали ещё две семьи. Мы ничего не знаем об этой комнате, кроме того, что при её обмене потребовалась бы доплата, в то время как о комнате свекрови сказано с исчерпывающей полнотой: Ксения Фёдоровна живёт одиноко «в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице»[109]. Первым читателям повести было без дополнительных разъяснений понятно то, что после смерти Ксении Фёдоровны её комната отойдёт государству. Лена Дмитриева захотела обменять две комнаты в коммунальных квартирах на отдельную квартиру. Обмен был единственным способом сохранить комнату для семьи. Однако сразу же возникло, казалось бы, непреодолимое препятствие для намечавшегося обмена. За четырнадцать лет супружеской жизни с Дмитриевым отношения Лены с Ксенией Фёдоровной «отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды»[110], что малейший намёк сына или невестки на предполагаемый обмен Ксения Фёдоровна расценила бы однозначно: дни её сочтены. В советское время безнадёжно больным людям никогда не сообщали их диагноз — это считалось негуманным. Для советского человека 60-х годов согласиться на обмен в предлагаемых обстоятельствах означало переступить через нравственные табу. Такова суть конфликта повести.

Кто же они, эти люди, которым предстоит такой непростой обмен? Ксения Фёдоровна была старшим библиографом крупной академической библиотеки. Лена переводила техническую литературу с английского языка и была соавтором учебника по техническому переводу. Дмитриев работал в отраслевом институте и был специалистом по насосам, которые использовались в нефтегазовой промышленности. По меркам тех лет, это обеспечивало средний уровень благосостояния человека с высшим образованием. Люди, его достигшие, не знали особой

нужды, но и не имели никаких накоплений, жили от зарплаты до зарплаты: любая крупная покупка или дополнительный расход денег во время болезни пробивали брешь в их бюджете. «Может ли долго существовать строй, при котором целая жизнь работы не даёт обеспеченной старости, при котором нет никакой возможности скопить на чёрный день хоть немного, чтобы помочь детям…»[111]Таким риторическим вопросом задавалась в январе 1952 года Любовь Васильевна Шапорина. Прошло без малого два десятилетия, и Юрий Валентинович Трифонов ответил на него своей повестью «Обмен».

Перед нами профессионально состоявшиеся, но не добившиеся заметных успехов в своей профессии интеллигенты. Именно они и были основными читателями толстых журналов, и проблемы семьи Дмитриевых были их проблемами. Выразительная примета времени — многие из них ещё жили в коммунальных квартирах. В Москве уже полным ходом шло кооперативное строительство, но вступление в кооператив для таких, как Дмитриевы, — это непосильная ноша. Они не могут приобрести даже малогабаритную «двушку» в «хрущёвке-пятиэтажке» без лифта. У них нет денег ни для вступительного взноса, ни для последующих ежемесячных платежей. Обмен со свекровью — единственная возможность улучшить свои жилищные условия и обеспечить будущее растущей дочери. И ещё одна выразительная примета времени. Даже не очень обеспеченные горожане вплоть до конца 1960-х годов пользовались услугами домработниц и нянь, платя им сущие гроши. В это время сельское население страны не имело паспортов, то есть фактически было бесправно. (Лишь в августе 1974 года было принято постановление о выдаче колхозникам паспортов, каковые и стали им выдаваться с января 1976-го!) Поэтому для деревенской женщины стать прислугой в городе означало вырваться из государственного рабства: даже у таких небогатых людей, как Дмитриевы, можно было заработать больше, чем в родном колхозе. «В деревне, сколько ни работай, ничего не заработаешь». Ещё в начале 1954 года Любовь Васильевна Шапорина с горечью отметила это в дневнике: «За 25 лет на наших глазах произошёл невиданный в мире героический „исход“ целого класса с насиженных и обжитых веками мест, со *своей* земли»[112]. Таков был чудовищный перекос в экономических отношениях. Трифонов вскользь упоминает, что няня дочки Дмитриевых «спала на раскладушке здесь же, в комнате»[113]. В одной комнате коммунальной квартиры вместе жили четыре человека: инженер, его жена, их дочь Наташа и няня. Когда няня их покинула, супруги Дмитриевы пережили

настоящий медовый месяц. О великая сила недосказанного!

Советская власть ещё очень сильна, и государство осуществляет тотальный контроль всех сфер жизни общества. Даже такая простая житейская коллизия, как обмен, не может быть разрешена без соответствующей санкции государственных организаций, осуществляющих надзор за всеми видами оборота жилой площади. Принцип «разрешено всё, что не запрещено» при советской власти не действует. На всё требуется испрашивать разрешение. И Дмитриевым предстоит эта непростая процедура — сбор разнообразных справок, унизительное хождение по инстанциям, длительные хлопоты и нервотрёпка. Однако уже прошло полтора десятилетия после смерти Сталина, и страх как один из возможных регуляторов поведения людей потерял свою былую силу. Как впоследствии точно сказал по другому поводу сам Юрий Валентинович: «Смысл… не в том, что пали стены тюрьмы — это случилось много позже, — а в том, что пали стены страха»[114]. Горожане очень хорошо научились понимать разницу между интересом государственным и интересом частным. И когда эти противоположные интересы вступали в конфликт друг с другом, без раздумья делали выбор в пользу своего частного интереса. И Трифонов убедительно продемонстрировал это своим читателям.

По производственной необходимости инженер Дмитриев должен был ехать в продолжительную командировку в Сибирь, в Тюменскую область. Однако он отказался отправиться туда даже на десять дней, мотивируя свой отказ болезнью матери, хотя фактически его удерживали в Москве предстоящие хлопоты по обмену. Не захотел поехать в служебную командировку и его коллега Паша Сниткин, «хитромудрый деятель (в отделе его называли „Паша Сниткин С-миру-по-ниткин“ за то, что ни одной работы он не сделал самостоятельно, всегда умел устроить так, что все ему помогали)»[115]. Паша был занят переводом дочки в музыкальную школу. Непосредственные руководители Дмитриева и Сниткина не захотели сами решить этот тривиальный служебный вопрос, хотя речь не шла о какой-то нештатной ситуации или форс-мажорных обстоятельствах. Командировку утвердили ещё в июле, а ехать предстояло в октябре. В результате решение этой задачи был вынужден взять в свои руки сам директор института. Трифонов наглядно показывает неэффективность существующей системы управления: между рядовым инженером и директором существует огромная дистанция, и такими заурядными проблемами директор в принципе не должен заниматься. «Склонив голову набок и глядя с каким-то робким удивлением Дмитриеву в глаза, директор

сказал:

— Так что же будем делать?

Дмитриев ответил:

— Не знаю. Ехать я не могу»[116].

Подобная сцена была абсолютно немыслима в сталинскую эпоху. За самовольный отказ от служебной командировки инженеру грозили бы неминуемые кары: увольнение, отдача под суд, неотвратимый обвинительный приговор и несколько лет лагерей. Перед войной работник даже за опоздание на четверть часа мог поплатиться свободой. И первые читатели «Обмена» из числа людей старшего поколения отлично помнили эти реалии не такого далёкого прошлого. Однако в конце 1960-х времена мобилизационной экономики безвозвратно миновали, а воспользоваться имевшимися в его распоряжении административными рычагами директор института не захотел. В итоге директор принял решение послать в командировку молодого специалиста Тягусова, лишь год назад окончившего институт, «порядочного балбеса»[117], каковым почитал его сам Дмитриев.

Внимательный читатель «Обмена» мог заметить, что на протяжении всего действия повести инженер Виктор Георгиевич Дмитриев всего-навсего «полтора часа работал не разгибаясь»[118], когда готовил необходимые документы для командировки молодого специалиста. Всё остальное время он занимался чем угодно, но только не работой. Впрочем, его коллеги делали то же самое. «За столиком в углу двое рубились в шахматы, очень быстро переставляя фигуры. Невядомский стоял рядом и смотрел. У „кабетришников“ любимым занятием были шахматы, они играли блицы, пятиминутки, а у „кабедвашников“ процветал пинг-понг. Сражения происходили в обеденный перерыв, но иногда прихватывали и от рабочего времени, особенно к концу дня»[119].

Художественными средствами писатель фактически показал, что *система обречена.* Я не знаю, был ли этот вывод осознанно сделан Юрием Валентиновичем и чем можно объяснить мысль об обречённости системы — гениальной прозорливостью и интуицией писателя или беспощадной трезвостью и последовательностью его логических размышлений, но повесть «Обмен» наглядно продемонстрировала эту неминуемую обречённость ещё в самом начале продолжительного исторического периода, впоследствии прозванного «эпохой застоя». Одно можно утверждать непреложно: во взгляде Трифонова на окружающую действительность не было ни романтического флёра, ни инфантилизма, столь свойственных

подавляющему большинству шестидесятников. Всего-навсего четыре года отделяют кинокартину Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» (1965), культовый фильм эпохи оттепели, от повести Юрия Трифонова «Обмен» (1969). Но какая *дьявольская разница*! У героев фильма Хуциева есть непоколебимая вера в светлое будущее страны: вектор движения в нужном направлении уже задан, отдельные недостатки будут неотвратимо устранены этими прекрасными двадцатилетними юношами, наследниками революции. А вот у инженера Дмитриева, которому исполнилось 37 лет, в сущности, нет никакого будущего. Трифонов беспощаден к своему герою. «Что я мог сказать Дмитриеву, когда мы встретились с ним однажды у общих знакомых и он мне всё это рассказал? Выглядел он неважно. Он как-то сразу сдал, посерел. Ещё не старик, но уже пожилой, с обмякшими щёчками дяденька»[120].

Будущего нет ни у Дмитриева, ни у системы. Об её обречённости свидетельствует такой немаловажный факт: в Институт нефтяной и газовой аппаратуры с мудрёным названием ГИНЕГА, в котором служил Дмитриев, можно было попасть только по блату. Ни опыт работы, ни деловые качества не играли практически никакой роли. Только анкетные данные и наличие у претендента соответствующих связей. Вакансии держались только для своих и замещались только своими. Сам Дмитриев никогда бы не попал в институт, если бы не настойчивые хлопоты его тестя Ивана Васильевича Лукьянова: «…если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казённой машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал и Прусаков согласился»[121].

Именно с устройством на работу был связан очень важный нравственный конфликт в жизни Дмитриева. Это место хотел получить Лёвка Бубрик, друг детства, дальний родственник и однокашник Дмитриева. Казалось, что именно у Бубрика есть все данные, чтобы занять это место. «Сразу после института Лёвка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории»[122]. После возвращения в Москву Лёвка Бубрик долго не мог найти работу. Первым читателям повести и без каких-либо дополнительных авторских комментариев было ясно, что анкету Бубрика нельзя было назвать безукоризненной. Именно из-за этой анкеты он и поехал работать по распределению в Башкирию, а не попытался остаться в Москве, как годом раньше это сделал Дмитриев. Были ли родственники Бубрика репрессированы, или же кадровиков не устраивала его фамилия

— это не суть важно. Существенно другое: без посторонней помощи такой человек не мог начать в столице новый виток своей жизни. Первоначально тесть Дмитриева намеревался похлопотать именно за Бубрика, но после того, как посетил ГИНЕГА, понял, что институт идеально подойдёт его собственному зятю. Работая в лаборатории газового завода, Дмитриев получал 130 рублей в месяц и тратил три часа на дорогу. Под нажимом жены Лены Дмитриев после трёх дней мучительных раздумий решил сам занять это место, прекрасно понимая, что его поступок вызовет нескрываемое осуждение со стороны близких родственников — матери и деда, пострадавшего во время репрессий. В наши дни нравственная суть конфликта требует пояснений. Кому сегодня придёт в голову строго судить человека, использовавшего все имевшиеся у него ресурсы для того, чтобы занять хорошее место работы? Дело в том, что Лёвка Бубрик был не просто конкурент. Это был человек, поражённый в правах, и занять его место означало не дать подняться лежачему, лишить его открывшейся возможности встать на ноги и обрести новое качество. Для самого же Дмитриева переход на работу в ГИНЕГА сулил сугубо количественные изменения без очевидных перспектив служебного роста.

Существенным показателем нежизнеспособности системы было то, что решение простейшей повседневной задачи, будь то ремонт квартиры или естественное желание устроить дочку в хорошую школу, приобретение импортной тахты или покупка школьной формы — всё это не только требовало от человека подчас мобилизации всех сил и *«расшибаемости в лепёшку»*[123], но и ставило его перед непростым нравственным выбором. Поскольку в стране практически полностью отсутствовал легальный оборот строительных материалов, всякий, кто затевал ремонт, вынужден был обращаться к дельцам теневой экономики и нелегально приобретать у них материалы, украденные на стройке, то есть фактически вступал в конфликт с законом. Хронический дефицит более качественной импортной мебели или радиоаппаратуры заставлял давать взятки продавцам, чтобы они помогли приобрести нужный товар. Лена и Дмитриев дали продавцу в радиомагазине пятьдесят рублей (судя по всему, в дореформенном исчислении), и он отложил им радиоприёмник. Советские люди постоянно сталкивались с такими житейскими проблемами, и многие научились решать их без особых нравственных мучений, что отнюдь не исключало существование принципиальных граждан — резонёров, безусловно осуждавших подобные сделки с совестью. Именно к их числу относились сестра и мать Дмитриева. Однако и устройство Дмитриева на

работу в институт, и предстоящий обмен — эти, в сущности, заурядные жизненные ситуации могли быть преодолены не путём выполнения всем хорошо известных правил, а лишь ценой нравственного конфликта поистине космического масштаба! Вот как Трифонов описывает переживания Дмитриева, связанные с переходом на работу в ГИНЕГА, когда он перешёл дорогу Лёвке Бубрику: «Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чём нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки»[124]. В повседневной жизни приходилось делать сложнейший нравственный выбор, вовлекая в процесс принятия решения множество людей и порождая между этими людьми новые нравственные конфликты. Все эти проблемы были присущи именно советскому человеку. В условиях нормально функционирующей экономики ни о чём подобном просто не может быть и речи!

У советского человека, получившего высшее образование и не принадлежавшего к номенклатурной среде, был очень ограниченный веер возможностей. Чтобы сделать заметный скачок по карьерной лестнице, Дмитриеву нужно было защитить диссертацию и стать кандидатом наук. Жена Лена очень хотела, чтобы её муж стал кандидатом, но у него не было для этого необходимого упорства, и он уже через полгода сошёл с дистанции. Лена очень скоро поняла это и отказалась от этой идеи. И хотя в конце 1960-х годов авторитет обладателей учёных степеней и званий был очень высок, ни у Трифонова, ни у его героев не было по этому поводу никаких иллюзий. Для них было очевидно, что обладателям учёных степеней фактически платят весьма немалые по тем временам деньги не за их высокую квалификацию, а за сам факт наличия учёной степени. И никого не интересовало, каким способом эта степень получена. Грубо говоря, степень можно было просто высидеть. «Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник — серый малый, но большой трудяга, хитрый Митрий, который во всём себе отказывал и даже не женился до поры, — получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию»[125]. Кандидатскую надбавку платили, руководствуясь формальным критерием, а не за реальный труд и не за реальный вклад. Получив вожделенную учёную степень, её обладатель фактически становился владельцем пожизненной ренты, которую никто не мог у него отнять, разумеется, если её

обладатель не вступал в откровенную конфронтацию с властью. Трифонов излагает эту истину не в лоб, не прямолинейно. Он пишет, что после того, как Дмитриев отказался от идеи писать диссертацию и стал говорить, что «лучше честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надрывать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами»[126]. Вкладывая такие рассуждения в уста Лены Дмитриевой, которую мать и сестра мужа постоянно обвиняют в мещанстве, автор повести защищает эти рассуждения от возможных цензурных нападок. Что взять с мещанки?

Глава 5
ПЕРЕВОДЯ «ЗОЛОТОЙ КОЛОКОЛЬЧИК»

Уже в конце 1960-х годов, когда советская власть была очень крепка и казалась незыблемой, а иллюзии шестидесятников ещё не подверглись эрозии и не вступили в непримиримый конфликт с действительностью, Юрий Валентинович Трифонов фактически показал нежизнеспособность системы: точно диагностировал тяжёлые заболевания системы и её летальный исход. Если в «Обмене» это было продемонстрировано на примере интеллигенции технической, то в повести «Предварительные итоги» (1970) — на примере интеллигенции творческой. Последовательно рассматривая различные группы образованных горожан, Трифонов, никого не осуждая, вновь и вновь пытается понять общество, в котором живёт.

«В начале мая ударила тропическая жара, жизнь в городе сделалась невыносимой, номер накалялся с одиннадцати часов и не остывал до рассвета, у меня начались одышки, головокружения, одна ночь была ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей, стеснением в груди и страхом смерти, к утру смалодушничал и позвонил в Москву»[127]. Страх смерти испытал 48-летний переводчик Геннадий, от лица которого и ведётся повествование. Пережитый ночью страх заставляет его подвести итоги своей жизни. Подведение итогов происходит в разгар работы над переводом поэмы «Золотой колокольчик». Геннадий уже два месяца живёт в Ашхабаде и переводит с подстрочника огромную поэму туркменского поэта Мансура, своего друга, занимающего какой-то важный пост, скорее всего, в руководстве республиканского Министерства культуры или Союза писателей республики. Если у переводчика в повести наличествует только имя (лишь дважды его называют Геннадием Сергеевичем), то у туркменского поэта наличествуют имя и отчество. Кроме того, у Мансура Гельдыевича есть персональный автомобиль «ЗИМ», широчайшие связи и возможность устроить страдающего от жары Геннадия на пустующую дачу работников культуры в горном посёлке Тохире, что в шестидесяти километрах от города.

В поэме «Золотой колокольчик» двенадцать глав и три тысячи строк. Ежедневно Геннадий, которому очень нужны деньги, переводит по шестьдесят строк четырёхстопным амфибрахием — это много. По существующим тогда нормам оплаты

литературного труда и поэту, и переводчику платили построчно. Учитывая то, что «Золотой колокольчик» планируют издать не только в Москве, но и в Минске, Геннадию и Мансуру светит неплохой гонорар, соизмеримый с первым взносом за кооперативную квартиру. А учитывая то, что опусы национальных авторов издавали массовым тиражом в десятки, а то и сотни тысяч экземпляров (меньших тиражей в то время просто не было), поэт и переводчик получат ещё и неплохие потиражные отчисления. Ни о чём подобном сегодняшние литераторы не могут даже мечтать. Очевидно, что «Золотой колокольчик» — поэму о девушке, которую «односельчане прозвали так за звонкий, мелодичный голосок»[128], не будут читать ни на русском, ни на туркменском языках. Весь тираж заляжет мёртвым грузом в книжных магазинах и на складах библиотечных коллекторов. Скорее всего, «Золотой колокольчик» будут давать в нагрузку к дефицитным книгам. И это при постоянном тогда дефиците бумаги! Такое было возможно только в СССР, когда развитию национальных культур уделялось огромное внимание, не в пример центру. В те годы невозможно было купить стихотворные сборники не только Ахматовой, Цветаевой или Пастернака, но даже сборники Тютчева, Фета или Баратынского!

Современному читателю необходимо объяснить реалии недавнего прошлого. Союз писателей меньше всего был творческим объединением. Фактически это был государственный департамент по делам литературы, в котором была своя Табель о рангах — жёсткая иерархия, хорошо оплачиваемые штатные должности и свои литературные генералы. Ни о какой экономической эффективности или самоокупаемости деятельности Союза речи не было. Власть не жалела денег на идеологию, почитая всех писателей или «инженеров человеческих душ» бойцами идеологического фронта. Геннадий, переводя с подстрочника на русский язык национальных поэтов, фактически выполнял идеологический заказ власти, полагавшей необходимым, не считаясь ни с какими материальными издержками, поощрять развитие национальных литератур. Трифонов вскользь сообщает, что подстрочники для перевода Геннадий получал в восьми местах. Однако эти заказы не были регулярными: то густо, то пусто. Сам Геннадий беспощаден к самому себе: «…знания мои приблизительны, интеллигентность показная, я никогда всерьёз не читал Ницше и ничего по-настоящему не знаю ни о Персии, ни о Заратустре, а немецким и французским языками владею лишь в той степени, чтобы в туристической поездке сказать кельнеру в ресторане: „Пожалуйста, ещё хлеба!“»[129].

Но даже занимая одну из низших ступеней в этой Табели о рангах, переводчик Геннадий Сергеевич мог позволить себе вести такой образ жизни, о котором не мог и мечтать не только рядовой инженер, но и остепенённый учёный. У него хорошая трёхкомнатная кооперативная квартира, в которой 62 квадратных метра жилой площади, не считая кухни, прихожей и кладовки. (Считая это обстоятельство весьма существенным, автор повести дважды указывает метраж кооперативной квартиры.) Нет ничего удивительного в том, что эти роскошные хоромы поразили воображение кузена Геннадия, обычного заводского инженера, и его жену — сотрудницу проектной организации. В огромной, по советским меркам, квартире живут три человека: Геннадий, его нигде не работающая жена Рита и их сын студент Кирилл. И хотя в жизни Геннадия периодически бывали времена продолжительного безденежья, в доме всегда была домработница. Геннадий живёт с Ритой уже двадцать лет, это его вторая жена, но настоящей душевной близости между супругами давно нет.

Когда-то красавица Рита, фактически уведя женатого Геннадия из семьи, надеялась, что со временем он станет незаурядной личностью. Прошли годы, и она поняла, что жестоко обманулась в своих расчётах, обнаружив сходство своего мужа с чеховским профессором Серебряковым из «Дяди Вани», который, как известно, долгие годы писал об искусстве, ничего в нём не понимая. Профессор так и не стал мировым светилом, чем жестоко обманул ожидания близких. И во времена Чехова, и во времена Трифонова творческие профессии стали массовыми, и их представители уже не могли претендовать на исключительность только самим фактом принадлежности к этим профессиям. Человек творческой профессии и человек незаурядный перестали быть синонимами. Чехов и Трифонов были первыми, кто открыл своим современникам эту истину. «Но главное, что было в Рите, при всех её качествах и невозможностях, — она понимала, что я такое, как я задуман и что из меня получилось. <…> Рита сказала, что я профессор Серебряков, что она всю жизнь надеялась на *что-то во мне*, но ничего нет, я пустое место, профессор Серебряков, я это услышал и не взорвался, потому что в её словах была боль, истинная боль, которую я почувствовал»[130].

В повести мимоходом сказано об участии Геннадия в Великой Отечественной войне и о его ранении под Ленинградом. В этой мимоходности заключена выразительная примета времени: вплоть до 1970 года фронтовики не очень-то выделялись властью из общего ряда, да и само население не было склонно ставить знак равенства между фронтовиком и героем. Лишь четверть века

отделяла Победу от времени действия повести, фронтовики были ещё молоды, и их было много: ведь воевали миллионы. И лишь в 1970-е годы власть стала настойчиво прославлять участников войны, на всю страну зазвучали песни «Фронтовики, наденьте ордена» и «День Победы».

«У тебя, значит, Красная Звезда и медали в два наката, — нормально!»[131] Эту фразу из романа Трифонова «Студенты» его первые читатели понимали без комментариев: будущий студент награждён боевым орденом Красной Звезды, а медалей на его груди так много, что их пришлось размещать в два ряда. Не упускает автор «Студентов» и такую деталь: один из героев романа, бывший командир торпедного катера лейтенант Пётр Лагоденко, имеет пять наград. И тот, кто прошёл войну, без дополнительных пояснений понимал, какими именно наградами мог быть отмечен лейтенант флота. Всем военнослужащим, начиная с 1943 года, в обязательном порядке полагалось носить в будние дни орденские планки, а по праздникам — сами награды. В те первые послевоенные годы люди ещё умели разбираться в наградах, по орденским ленточкам безошибочно определяя весь набор боевых орденов и медалей того или иного ветерана. Однако к середине 1950-х лишь единицы из них носили орденские планки на штатском пиджаке.

> Я носил ордена.
> После — планки носил.
> После — просто следы этих планок носил,
> А потом гимнастёрку до дыр износил.
> И надел заурядный пиджак [132].

Итак, в «Предварительных итогах» нет никаких подробностей ни об участии Геннадия в войне, ни о его наградах, если таковые были. Когда Геннадий вернулся с фронта, им овладела прежде неведомая жажда жизни, и первые послевоенные годы он «хватал и грабастал жизнь в весёлых послевоенных вузах»[133]. Именно этой жаждой жизни он объяснял себе свою первую женитьбу, оказавшуюся неудачной. Впрочем, и его второй брак нельзя назвать счастливым. У Геннадия и Риты есть сын Кирилл, но у них нет семьи.

Их роскошная по советским меркам кооперативная квартира — это территория совместного проживания трёх эгоистов. Рита не работает последние пять лет и в это время ведёт фактически паразитический образ жизни. Быть может, она решила посвятить свою жизнь мужу и, отказавшись от собственной карьеры, создать ему идеальные условия для творчества? Быть может, ею овладели

демоны тщеславия, заставившие её забыть о работе ради обеспечения резкого карьерного взлёта мужа? Увы, на эти вопросы приходится дать отрицательный ответ. Несмотря на обилие свободного времени, Рита не занимается домашним хозяйством, перекладывая бремя своих забот на домработницу. Трифонов подчёркивает, что в семье Геннадия и Риты домработница была всегда. Примечательно то, что Рита всегда ухитрялась конфликтовать с помощницами по хозяйству. Одна домработница сменяла другую, и Геннадию хотелось дать объявление, что в этом доме всегда нужна помощница.

Впрочем, домработница Нюра — по официальным документам Анна Федосеевна — задержалась дольше других. «Было Нюре всего тридцать два, но выглядела она лет на сорок пять: в волосах седина, лицо опавшее, зубов нет и почти глухая»[134]. Её отец и брат погибли во время войны, мать умерла от голода, и сама Нюра пережила голод и в войну, и в первые послевоенные годы. Именно эта женщина и скрепляла дом, поддерживая у его обитателей иллюзию общности. Ушла Нюра — всё распалось. В последние несколько лет дела Геннадия Сергеевича шли не лучшим образом, Рита по-прежнему не работала, сын окончил школу, поступил в институт — и в семье часто не было денег на зарплату Нюре. С ней решили расстаться, тогда домработница заявила, что готова работать бесплатно, пока не появятся деньги. Но Нюра серьёзно заболела, долго лечилась в больнице и уже не могла полноценно исполнять свои обязанности. Более того, она сама теперь нуждалась в уходе. У Нюры обнаружилась шизофрения, и Геннадий с Ритой не захотели забирать её из больницы. Нюре, проработавшей у них десять лет и фактически вырастившей их сына, негде было жить после выписки из больницы. Судя по всему, Нюра покинула родную деревню в возрасте четырнадцати лет и до появления у Геннадия и Риты в течение восьми лет работала «по домам». Она надеялась со временем получить право на постоянную жилплощадь в Москве, однако механизм обретения этой жилплощади был скрыт за семью печатями. Хотя, нанимая Нюру, Рита заключила с ней официальный договор, соответствующим образом оформленный в групкоме домашних работниц, Нюра так и не стала москвичкой: восемнадцать лет работы «по домам» не позволили ей получить хотя бы комнату в коммунальной квартире. Государство не дало ей ничего, кроме мизерной пенсии по инвалидности. Однако даже эту тридцатирублёвую пенсию по существующему закону могли отобрать, если бы стало известно, что Нюра работает и получает зарплату.

Итак, у Нюры не было своего угла, рассчитывать же на работу

в каком-то другом доме не приходилось. Несмотря на то что Нюра прожила в этой семье целых десять лет, никто не чувствовал никакой моральной ответственности перед ней. Рите нужна была помощница по хозяйству, а не больной человек, требующий присмотра. Уже не нуждавшийся в няньке студент Кирилл напирал на то, что Нюра не является их родственницей. Сам Геннадий выбрал позицию стороннего наблюдателя. И каждый из членов семьи пытался переложить бремя ответственности на другого. «Рита говорила, что мы злостные бездельники, не помогаем ей, она с ног сбилась, и теперь ещё мы хотим навьючить на неё больную домработницу. <…> „Если б у меня были другой муж и сын, я бы взяла эту женщину не задумываясь“. Да, да. Конечно. При этом уже всё было решено, она уже отделила от себя Нюру, назвала её *этой женщиной*. Я говорил: „А если бы у меня была другая жена, такого вопроса вообще не стояло бы“»[135].

Проблема не в том, что Геннадий Сергеевич, Рита и их сын Кирилл не захотели взять больную Нюру к себе домой. Требовать самопожертвования нельзя. Но они сняли с себя всякую ответственность за судьбу «этой женщины», в одночасье выбросив её из своей жизни. В конце концов судьба Нюры устроилась. Её поместили в загородную клинику благодаря хлопотам лечащего врача Радды Юльевны; Геннадий и Рита не имели к этому никакого отношения. «Предварительные итоги» — повесть об исчезновении нравственных ориентиров в среде горожан. Если инженер Дмитриев ещё не утратил способность испытывать муки совести и в конечном счете расплачивается гипертоническим кризом за свой обмен, то для Геннадия, Риты и Кирилла главное — это собственный душевный комфорт. Обретение этого душевного комфорта делает избыточным всё остальное, а душевная пустота заполняется различными мнимостями. Рита пытается читать философскую, религиозную литературу Серебряного века, всеми правдами и неправдами за большие деньги достаёт у букинистов книги Леонтьева и Бердяева и рядом с большой репродукцией картины Пикассо вешает старинную икону. Ею движет не стремление отыскать ответы на важнейшие вопросы бытия, но пошлое стремление не отстать от моды. (Внимательный читатель не мог не заметить определённое родство трифоновской Риты с чеховской Попрыгуньей.) Рита испытывала неприкрытое чувство зависти, когда её лучшая подруга сумела достать шесть икон, фактически ограбив своих деревенских родственников, а у самой Риты ещё не было в тот момент ни одной. Она чувствовала себя обездоленной.

Советский студент не мог не быть комсомольцем, и Кирилл

не составляет исключения, однако официальная идеология уже никоим образом не оказывает влияния ни на его образ мыслей, ни на его поступки. Он не ощущает никакого духовного родства со своим отцом, хотя с успехом использует его полезные знакомства и рассматривает Геннадия исключительно как источник денег на карманные расходы. К работе отца он относится с нескрываемым презрением: «производишь муру»[136], но охотно пользуется вещественными плодами этой «муры». В свои восемнадцать лет он достаточно циничен. Он любит хорошие импортные вещи и обожает получать подарки. Даже в дневнике накануне дня рождения Кирилл прогнозирует, кто и что ему подарит: оценив материальные возможности отца, приходит к выводу, что тот вряд ли подарит ему импортный магнитофон, но вполне осилит отечественный. В конце 1960-х годов собственный магнитофон был весьма престижной вещью и выделял его обладателя в молодёжной среде; немногие могли им похвастаться. Тётя Наташа, старшая сестра отца, подарила племяннику альбом для открыток и набор акварельных красок. У неё было тяжёлое детство, отец погиб на финской войне, мать постоянно болела, Наташе приходилось тянуть Геннадия, и в её бедной на радостные события памяти навсегда запечатлелось, что альбом для открыток и краски — это очень хороший подарок. Однако Кирилл и Рита считали иначе, полагая, что старая дева проявила элементарную жадность. Племянник поцеловал тётку в щёку, горячо поблагодарил за альбом и краски, участливо осведомился о её работе и самочувствии, а в дневнике записал: «Приходила кикимора и принесла какой-то жалкий альбомчик для открыток и набор красок. Рубля на три всё вместе»[137]. Лицемерие Кирилла объяснялось просто. Племянником движет потребительское отношение к жизни и к людям. Тётка работала в министерстве и иногда по государственной пене доставала дефицитные билеты на джазовые концерты, у перекупщиков же один такой билет стоил пять рублей — на эти деньги экономный студент мог жить почти неделю. Трифонов, перечисляя гардероб Кирилла, создаёт портрет представителя столичной золотой молодёжи: «Мокасины, брюки с поясом — вот уже сотня. А синий пиджак с алюминиевыми пуговицами?» [138] На это великолепие Кирилл заработал сам, выступая в качестве гитариста в битл-группе «Титаны» на школьных балах, вечеринках и свадьбах. Благодаря возможностям отца у Кирилла есть и импортные джинсы, и иностранные пластинки с джазовой музыкой. Для большинства его сверстников всё это было недостижимой мечтой.

В институт Кирилл поступил благодаря не только связям отца и настойчивым хлопотам матери, но также тем знаниям,

которые за несколько щедро оплаченных ими занятий дал ему Герасим Иванович Гартвиг, великолепно знавший именно «то, *что нужно знать*» [139]. Герасим Иванович, скоро ставший в семье переводчика просто Герой, сумел натаскать Кирилла, кроме того, секретарь приёмной комиссии института был его близким приятелем — в итоге дело было сделано, и плохо учившийся в школе Кирилл стал студентом престижного вуза. Судя по всему, между Гартвигом и Ритой завязались близкие отношения. Геннадий предпочитал это не замечать. Гартвигу, как и Дмитриеву из «Обмена», тридцать семь лет, он на одиннадцать лет моложе переводчика Геннадия. Гартвиг прекрасно образован, знает четыре языка, читает латинских авторов в подлиннике, великолепно разбирается в музыке. «Он кандидат наук, занимает хорошую должность в научном институте, что-то пишет, где-то преподаёт — устроен преотлично»[140].

Гартвиг с необычайной лёгкостью достиг того, к чему многие безуспешно стремились всю жизнь. Он обладает тем джентльменским набором, о котором мечтал интеллигент 1960-х годов. На фоне таких людей, как Дмитриев и его жена или кузен Геннадия заводской инженер Володя, его жена Ляля и их многочисленные сослуживцы, то есть на фоне образованных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, Гартвиг кажется исключительно благополучным и обеспеченным человеком. Чем в таком случае объяснить его многочисленные чудачества? Взяв, например, академический отпуск, он мог неожиданно уехать в Одессу и поступить матросом на торговый корабль, или два месяца бродить по Украине, работая косарём, сборщиком яблок, дорожным рабочим, или завербоваться на месяц в артель лесорубов, работавших в Калининской (ныне Тверской) области. Ещё одна выразительная примета времени. В то время как инженеру Дмитриеву, работавшему в отраслевом институте, чтобы уйти с работы на час раньше, нужно было отпрашиваться у начальства, в академических институтах царила необычайная вольница. И эта вольница позволяла Гартвигу, заручившись липовыми справками, исчезать из института на полгода. Когда он возвращался в Москву, его встречали как героя и закатывали в его честь пиры, расценивая такое поведение как некий протест или вызов. Всё это вызывало живейшее недоумение Геннадия: «Какой протест? Кому, прости господи, вызов?»[141]

Трифонов сумел показать удивительную духовную нищету иных столичных интеллигентов, живших в мире мифов и эти мифы постоянно воспроизводящих. Знаменательно, что фронтовое прошлое Геннадия никем не расценивается как нечто героическое. Рита и Кирилл замечают лишь то, что он

«производит муру». Они не испытывают чувства гордости от того, что их муж и отец защищал и защитил Родину, пролил за неё кровь. Поразительная деформация нравственных ценностей! А вот якобы протестное, а по сути совершенно бессмысленное с точки зрения Геннадия поведение Гартвига вызывает бурное восхищение Риты и людей её круга. Они не желают видеть, что так называемый вызов решительно ничем не грозит самому Гартвигу.

Геннадий же полагал, что Герой движут не столько протестные настроения, сколько отсутствие смысла жизни и глубоко запрятанный комплекс неполноценности, когда творчество заменяется его имитацией. «А когда нетворческий человек пытается творить, он заменяет акт творчества чем попало — чаще всего ничтожными домашними революциями <…> Ведь обществу, окружающим от этих геройств не холодно и не жарко»[142]. Геннадия раздражает потребительское отношение Гартвига к людям и своим близким. «Только бедная Эсфирь страдает и ребёночек отвыкает от отца. Обыкновенный цинизм в благородной упаковке: потому что наплевать на всех, кроме себя. Захотел удрать от вас от всех на полгода — хоть матросом, хоть куда — удрал, и до свиданья»[143]. Вместе с тем Геннадий отдавал должное уму, обширным знаниям Гартвига и его стремлению изучать не только минувшее, копаясь в средневековых текстах, но и настоящее, доходя «до последней капли, до дна. И куда другие заглянуть не решаться, он заглянет, не смутится ничем»[144]. Судя по всему, Гартвиг серьёзно интересовался не только латинскими авторами, но и трагическими страницами недавнего прошлого. Если для Геннадия поездка Геры на лесоповал в Калининскую область была очередным «вздором», то для социолога Гартвига это было самым настоящим полевым исследованием.

Настойчивое стремление Герасима Ивановича окунуться в гущу настоящей жизни не было «вздором, причудами полусладкой жизни»[145], и подобные эскапады безнаказанно сходили Гартвигу с рук лишь до поры до времени. Трифонов удивительно точен при характеристике обстоятельств времени и места. Вспомним, что события в повести происходят в конце 1960-х годов. После событий в Чехословакии 1968 года власть стала закручивать гайки, и даже имитация протестных настроений могла привести к оргвыводам. Кроме того, начались гонения на советскую социологию. В 1969 году из Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР был уволен известный социолог Юрий Александрович Левада, один из зачинателей социологии в стране и впоследствии создатель Левада-Центра. Была фактически разгромлена только что

созданная кафедра методики конкретных социальных исследований философского факультета МГУ, а первая заведующая кафедрой профессор Галина Михайловна Андреева в 1971 году была вынуждена покинуть философский факультет и перешла работать на факультет психологии. Социология как самостоятельная научная дисциплина оказалась под запретом. Как пишет в своих воспоминаниях историк Арон Яковлевич Гуревич, «причина запрета этой научной дисциплины по-прежнему заключалась в том, что партийные боссы и мракобесы от марксизма упорствовали в своём нежелании признать за ней право на самостоятельное существование»[146]. Не будем забывать, Гартвиг не просто занимался социологией, но настойчиво пытался связать старину и современность. После 1968-го всё это уже не выглядело так безобидно. «Кто-то мне сказал, что у Гартвига неприятности в институте и ему вроде бы даже грозит увольнение. Ну, следовало ждать. Я нисколько не удивился»[147].

Вспомним, что повесть называется «Предварительные итоги». Юрий Трифонов подводит предварительный итог не только жизни переводчика Геннадия, но и предварительный итог полувековому существованию советской интеллигенции, «дочерпывая», по его выражению, мысли, выраженные в «Кепке с большим козырьком» и «Обмене». «Нужно дочерпывать последнее, доходить до дна…»[148]У его героев-интеллектуалов напрочь отсутствовала целеустремленность, цельность парикмахера Арташеза. У инженера Дмитриева, переводчика Геннадия и социолога Гартвига нет никакого внутреннего стержня и почти полностью атрофировано стремление идти к намеченной цели, да и самой этой цели нет. При этом жизнь Геннадия ещё и абсолютно бессмысленна: он занимается хорошо оплачиваемым, но по сути никому не нужным и абсурдным делом. «Мне представилось, что дрянная ашхабадская водка, стоявшая на моём столе, есть *подстрочник,* который я должен *перевести* четырёхстопным амфибрахием на русский язык, и тогда это будет бутылка „столичной“»[149]. Выразительная деталь. Даже самого автора «Золотого колокольчика» абсолютно не интересует русский перевод своей поэмы: едва выслушав чтение двух глав из двенадцати, он поспешно сбегает по своим неотложным делам. Абсурдной была деятельность Геннадия не только с творческой точки зрения, но и с идеологической, хотя именно за идеологию ему, строго говоря, и платили. Официальная идеология, вынуждающая считаться с ней даже самых свободолюбивых и талантливых творцов, уже была мертва. Образовавшуюся пустоту нужно было чем-то заполнить. В семье Геннадия эту пустоту

заполняли суррогатами — псевдорелигиозными исканиями и жаждой потребительства.

Попытки отыскать смысл жизни в настоящем ни к чему не привели, призывы к строительству светлого будущего вызывали лишь ироническую ухмылку. Оставалось только прошлое. И герои Трифонова попытались выявить связь между прошлым и настоящим, дотронуться до конца нити, протянувшейся из минувшего в сегодняшний день. Происходило ощутимое разрешение временных горизонтов.

Глава 6
КОГДА ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ…

Если переводчик Геннадий из «Предварительных итогов» часто углублялся в события двадцатилетней давности, вспоминая свою послевоенную юность, полную надежд, которым так и не суждено было сбыться, то драматурга Григория Реброва и его жену актрису Лялю Телепневу из повести «Долгое прощание» (1971) мы застаём в момент, когда «всё впереди, всё ещё случится, произойдёт»[150].

Молодость Реброва и Ляли, как и молодость Геннадия, пришлась на последние годы жизни Сталина. «В те времена, лет восемнадцать назад, на этом месте было очень много сирени. <… > Но, впрочем, всё это было давно. Сейчас на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже которого помещается магазин „Мясо“. Тогда, во времена сирени, жители домика за жёлтым дачным заборчиком ездили за мясом далеко — трамваем до Ваганьковского рынка. А сейчас им было бы очень удобно покупать мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут»[151].

«Долгое прощание» — повесть о постепенном исчезновении надежд на счастье, растянутое во времени и в пространстве прощание с иллюзиями и надеждами. Главный герой повести Гриша Ребров воевал, был ранен, мыкался по госпиталям и в течение целого ряда лет не мог найти себя в мирной жизни.

Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.

Господствовала прямота,
и вскользь сообщалося людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем…[152]

Зимой 1952 года, когда разворачиваются основные события повести, Ребров — литературный подёнщик, живущий случайными заработками и не имеющий ни постоянной работы, ни определённого места в обществе. Он написал две вполне

конъюнктурные пьесы: одну — о строительстве высотного здания Московского университета, другую — о войне в Корее. «К своим пьесам Ребров относился двойственно — с одной стороны, как бы не всерьёз, видел их слабину, прозрачный расчёт, но не очень-то огорчался, полагая, что *эти* пьесы для него дело второстепенное, неглавное; с другой же стороны, они были делом вполне главным и даже главнейшим в смысле житейском, на них зиждилось будущее»[153]. Если бы театр принял к постановке эти пьесы, то жизнь Реброва изменилась бы радикально: он разом обрёл бы материальную обеспеченность и твёрдое общественное положение. Однако обе пьесы были отвергнуты театром. Ситуация усугублялась тем, что именно в этом театре служила жена Реброва Ляля Телепнева, и её в этом театре всячески унижали и не давали ходу. Ребров и Ляля жили вместе уже пять лет, с зимы 1947 года, но мать Ляли всячески препятствовала тому, чтобы они оформили свои отношения, резонно полагая, что Гриша не в состоянии содержать семью. У актрисы была невысокая ставка в театре — 650 рублей в месяц (65 рублей после реформы 1961 года), а случайные заработки Реброва существенной роли в семейном бюджете не играли. «В лучшие времена выходило около тысячи в месяц. Иногда набегало по семьсот, по триста, а то и вовсе — пшик»[154].

Но они молоды, талантливы, полны надежд и верят в своё будущее. Хотя отвергнутые пьесы Реброва посвящены злободневным вопросам сегодняшнего дня, истинный интерес Гриши обращён к истории — к событиям и людям вековой давности. Он интуитивно ощущает неразрывную связь между прошлым и настоящим и настойчиво ищет в минувшем свою тему. Работает над пьесой о народовольцах, пытается написать повесть о декабристах или о восстании ссыльных поляков Сибири, упорно погружается в жизнь фигур второго плана эпохи 1860-х и 1880-х годов: исследователя и бытописателя кабаков Ивана Прыжова, поэта некрасовской школы Михаила Михайлова и народовольца Николая Васильевича Клеточникова, сумевшего внедриться в Третье отделение и предупреждавшего товарищей о грозивших им арестах. Григорий Ребров гребёт против течения. С точки зрения официальной исторической науки начала 1950-х годов, это были непроходные темы, никаких шансов напечатать результаты своих разысканий у него не было. (С середины 1930-х и до конца 1950-х годов изучение истории «Народной воли» и сопряжённых с нею сюжетов находилось под запретом, санкционированным лично товарищем Сталиным[155].) Ребров это отлично понимал, но день за днём просиживал в научном зале Ленинской библиотеки, истово продолжая писать в стол. «Всё это

незаконченное, сумбурное, грудами черновиков лежало в бесчисленных папках, ожидая своего часа. Внезапно наступал такой день, когда прорезывался пока ещё робкий, холодноватый, но обещавший великое оледенение вопрос: зачем? Дальше всё происходило быстро. Мотор переставал стучать, надвигалась скука, и, кроме того, следовало срочно зарабатывать деньги на жизнь»[156]. О том, каковы были эти заработки, мы уже знаем.

Многолетние неудачи Реброва объяснялись отнюдь не недостатком таланта, работоспособности или упорства. Всего этого ему было не занимать. Пётр Александрович Телепнев, отец Ляли, так рассуждает о причинах его неудач: «Да ведь жизнь несладкая: какой год бьётся, а толку нет. Никто его пьес не берёт, киносценариев тоже. А пишет неплохо, замечательно, талант большой. Не хуже, чем у других-то. Про восстание в Сибири давал читать: здорово! Язык очень хороший, крепкий, факты богатые. Видимо, связей не хватает. Так ведь без этого никуда. Сто лет будешь биться — всё впустую, даже не думай…»[157]

Однако «Долгое прощание» — это повесть не о трудностях первого шага в творчестве, а повествование о времени, когда этот первый шаг предстояло сделать. Заканчивается 1952 год, наступает 1953-й, и никто из персонажей повести не подозревает, что наступающий год станет переломным не только в их личной судьбе, но и в истории страны. В «Долгом прощании» былое дано в его незавершённости.

По существовавшим тогда законам Гриша Ребров обязан был ежегодно обновлять справку для домоуправления о том, что он является внештатным сотрудником того или иного периодического издания. Наличие такой справки гарантировало отсутствие разнообразных неприятностей. Человек, не состоявший членом творческого союза и не имевший подобной справки, мог быть причислен к тунеядцам, лишен московской прописки, выписан с занимаемой жилплощади и лишён права на жизнь в столице. У Реброва была оставшаяся от родителей комната в коммунальной квартире, занять которую мечтал Канунов, его сосед, обременённый большой семьёй инвалид войны. У Канунова была своя правда: другой возможности улучшить жилищные условия у инвалида не было. Ребров месяцами жил у Ляли, комната пустовала, а приезжал он в коммуналку лишь за тем, чтобы взять из своей обширной библиотеки очередную порцию книг и сдать их в букинистический магазин: вырученные за них деньги позволяли хоть как-то залатать дыры в бюджете. (Именно так, как мы помним, поступала Любовь Васильевна Шапорина.)

Беда пришла, откуда не ждали. Григория Реброва вычеркнули

из списка внештатников. Сказалась борьба с «безродными космополитами», в разряд которых попадали и лица, чьи анкетные данные вызывали опасения кадровых органов. «Безродных космополитов» без долгих разговоров увольняли с работы, например, лишился своего места Боб Миронович Маревин, завлит театра, в котором служила Ляля. И Ребров, утратив свой и без того зыбкий статус внештатного сотрудника, мог легко потерять и свою жилплощадь. Тогда Гриша решил взять вожделенную справку в театре: ведь формального отказа от дирекции он не получал, и ему могли выдать справку о том, что драматург Ребров работает над пьесой для театра. Такая официальная бумага помогла бы ему удержаться на плаву и сохранить за собой комнату.

Желая любой ценой получить эту справку, Ребров отправляется в театр, попадает к главному режиссёру Сергею Леонидовичу и в течение двух с половиной часов рассказывает ему о Николае Васильевиче Клеточникове. На Сергея Леонидовича этот рассказ произвёл сильное впечатление: «Удивительно, как много прекрасных и забытых людей жило на земле. И ведь недавно! Мой отец был современником вашего Николая Васильевича, тоже петербургский житель… <…> Понимаете ли, какая штука: для вас восьмидесятый год (XIX века. — *С. Э.)* — это Клеточников, Третье отделение, бомбы, охота на царя, а для меня — Островский, „Невольницы“ в Малом, Ермолова в роли Евлалии, Садовский, Музиль… Да, да, да! Господи, как всё это жестоко переплелось! Понимаете ли, история страны — это многожильный провод, и когда мы вырываем одну жилу… Нет, так не годится! Правда во времени — это слитность, всё вместе: Клеточников, Музиль… Ах, если бы изобразить на сцене это течение времени, несущее всех, всё!»[158]

Эти рассуждения, которые Юрий Трифонов вложил в уста театрального режиссёра, стали настоящим откровением для первых читателей повести и подлинным прорывом в философском осмыслении прошлого. В конце 1960-х — начале 1970-х годов такие исторические сюжеты были строго разнесены по различным департаментам, находившимся в разных и никогда не пересекавшихся плоскостях: и тот, кто изучал освободительное движение, плохо представлял себе, что в это же время в стране была и другая жизнь. А тот, кто занимался историей искусства, если и соотносил жизнь духа и историю творческой деятельности с революционным движением, делал это, оставаясь в плену официально утверждённых вульгарно-социологических схем. Ни о каком *многожильном проводе* не могло быть и речи! Если бы Юрий Валентинович не оставил после себя ничего, кроме этой

метафоры, его имя всё равно навсегда сохранилось бы в истории мировой литературы и в истории культуры. Благодаря этой метафоре Трифонов, несомненно, оставил свой след в философии истории: никого не разоблачая, никого не осуждая и никого не казня, он сумел постичь суть бега времени. У Борхеса есть блистательный рассказ «Сфера Паскаля», он был опубликован в 1952 году в книге «Новые расследования» и начинается так: «Быть может, всемирная история — это история нескольких метафор»[159]. Одну из таких ярких метафор человечеству подарил Трифонов.

Однако вернёмся к повести. Кто же в это время был востребован театром? Николай Демьянович Смолянов — успешный и удачливый советский драматург, чья планида в течение четырёх лет круто набирает высоту: он обласкан властью, его пьесы идут в сорока театрах страны. Смолянов сочиняет пьесы на злобу дня — о лесополосах (сталинский план преобразования природы) и послевоенных колхозах. «Дерьмо средней руки», — говорит об одной его пьесе завлит Маревин[160]. «Рептильная драматургия», — вторит другой персонаж повести[161]. Не отстаёт от них и Ребров. «Со Смоляновым он знаком не был, пьес его не видел и не читал, но почему-то был убеждён в том, что Смоляное — бездарность и ловкач, а пьесы его — чепуха»[162]. Актёры, как пишет Трифонов, *злошутничают* и по поводу смоляновских пьес, и по поводу самóго провинциального автора, недавно перебравшегося из Саратова в Москву, но не отказываются ни от его хлеба-соли, ни от участия в его пьесах. И даже Ляля, ставшая любовницей Смолянова, взирает на него без особой симпатии. «В лице Смолянова было что-то сырое, непропечённое»[163].

Однако было бы ошибкой видеть в драматурге только пронырливого приспособленца и бездарного конъюнктурщика. Он не понаслышке знает жизнь и олицетворяет собой социальную мобильность предвоенных, военных и послевоенных лет. «В Москву приехал четыре года назад, до этого работал в провинции, во время войны — во фронтовой газете, а ещё раньше, в тридцатые годы, был полярником, зимовал на Диксоне, служил в погранчастях, в угрозыске, в физкультурных организациях, сам был боксёром. Однажды своей рукой застрелил бандита на станции Калач»[164].

Пусть Смолянову не хватало образования и культуры, да и таланта драматурга, но в смоляновских немудрящих пьесках имелись крупицы современности — «что-то было свеженькое, от жизни…»[165]. Именно эти приметы реальной жизни импонировали зрителю. О жестоких и печальных сторонах реального мира зрители были прекрасно осведомлены и без пьес

Смолянова и до времени не имели претензий требовать, чтобы на театральных подмостках скрупулёзно воссоздавалась их реальная жизнь. В смоляновских пьесах зрители послевоенной поры видели себя и своих современников. И были за это безмерно благодарны автору. Но видели не такими, какими они были на самом деле, а такими, какими хотели бы быть и какими их хотела бы лицезреть власть — в недостижимом в реальной жизни идеале. Добавим — социалистическом.

Власть всячески поощряла, по словам Исайи Берлина, авторов «произведений невысокого качества, но безупречно ортодоксального чувства, провозглашающих новый тип советского героя, храброго, пуританского, простого, благородного, самоотверженного, безусловно преданного своей стране»[166]. Впоследствии всё это назовут «лакировкой» действительности. Внимательный западный наблюдатель Исайя Берлин был поражён «до смешного наивной» реакцией советских зрителей послевоенной поры на пьесы классического репертуара: «…зритель иногда реагирует на всё так, словно речь идёт о современной жизни; строчки, произносимые актёрами, встречают одобрительным или неодобрительным гулом, откликаясь живо и непосредственно»[167], а зрительская реакция на современные пьесы показалась ему ещё раскованнее: «…они до сих пор смотрят как неглупый ребёнок с богатым воображением»[168]. Зрители охотно шли на эти спектакли, аплодировали актёрам и драматургу — и забывали о пьесе сразу же после выхода из театра.

Выйдя из театра, они окунались в реальную жизнь, и эта жизнь не имела ничего общего с официально утверждённой советской пропагандой теорией *бесконфликтности*: в журналах и книгах, на киноэкране и театральных подмостках допускался лишь конфликт хорошего с лучшим. Ещё никогда за всю историю Советского Союза пропасть между официальным искусством и реальной жизнью не была столь глубока. На дворе стояла самая мрачная пора в истории страны. Даже в годы «большого террора» положение советской творческой интеллигенции не было столь безысходным. 11 декабря 1952 года Любовь Васильевна Шапорина написала в дневнике: «Теперь же все искусства: живопись, литература, музыка и даже наука — сплошная, вернее, сплошные оды во славу советской власти. Поэтому-то они и зашли в тупик. На одном славословии далеко не уедешь»[169]. Это был пик официального мракобесия. Под запретом оказались генетика и кибернетика. День ото дня набирала обороты борьба с «безродными космополитами» и «низкопоклонством перед Западом»: французская булка в одночасье стала называться

городской, а сыр «Камамбер» — «Закусочным», даже слово «эклер» оказалось скомпрометированным. Вузовского преподавателя могли обвинить в «низкопоклонстве» и уволить за то, что он, рассказывая студентам о зарубежных машинах, использовал в лекции слово «дюйм». Ежечасно нарастал государственный антисемитизм — от «безродных космополитов» последовательно освобождались в научно-исследовательских лабораториях, вузах, редакциях газет и журналов, а 23 февраля 1953 года были уволены все евреи, работающие в Министерстве государственной безопасности, вне зависимости от прошлых заслуг и занимаемой должности[170]. Распространялись слухи о грядущих погромах и депортации всех евреев в Сибирь и на Дальний Восток…

В это тревожное время поэт-фронтовик Борис Слуцкий сочинил своё прославленное стихотворение «Голос друга» («Давайте после драки…»), посвящённое памяти погибшего на войне поэта Михаила Кульчицкого и как бы написанное от его имени. Заключительные строки стихотворения заставляли подумать о том, что в это безнадёжное время у живых есть основание завидовать мёртвым.

> Давайте выпьем, мёртвые,
> За здравие живых!

Сам поэт так комментировал стихотворение: «„Давайте после драки…“ было написано осенью 1952-го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяц-два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему-то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной.

Повторяю: ничего особенного ещё не произошло ни со мной, ни со временем. Но дело шло к тому, что нечто значительное и очень скверное произойдёт — скоро и неминуемо.

Надежд не было. И не только ближних, что было понятно, но и отдалённых. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня нет, и у людей моего круга не будет никакого»[171].

Однако этот «глухой угол времени», хотя и запечатлён в «Долгом прощании», но запечатлён на периферии повести.

Главный режиссёр Сергей Леонидович говорит Реброву «про то, что зол на весь мир, находится в опаснейшем, мизантропическом настроении, человечество себя не оправдало, мы погибнем от лицемерия — и что-то ещё в таком духе»[172]. Но ни сам Ребров, ни Ляля, кажется, не замечают этого лицемерия. Повторю: они молоды, любят друг друга, погружены в творчество и полны надежд. Ляля получила выигрышную роль в новой пьесе Смолянова. Спектакль имел оглушительный успех, актриса Телепнева стала любимицей публики, её фото было напечатано на журнальной обложке, зрители писали ей восторженные письма, новый театральный сезон начался для неё с высшей театральной ставки. Лялю постоянно приглашали выступать на различных творческих вечерах и выездных концертах. С юных лет Ляля считала, что «жизнь без театра не имеет смысла»[173]. Казалось, будущее сулит лишь новые успехи… Искренне пожалев драматурга Смолянова, над которым во время гастролей театра в Саратове *злошутничали* её коллеги, Ляля далеко зашла в своей жалости и стала его любовницей. «Ошибок за недлинную жизнь было наделано много, но всё это были ошибки чувств, но не ошибки расчётов»[174]. В итоге удалось преодолеть *затир,* который в течение нескольких лет устраивали Ляле в театре, не давая ей ролей. Так был оплачен её успех. Именно Смолянов настоял на том, чтобы Ляля получила роль в его пьесе. Погружённый в свои исторические изыскания Гриша ни о чём не догадывался. Тем более что Ляля искренне любила именно его и не собиралась оставлять незадачливого и нищего Реброва ради преуспевающего и богатого Смолянова.

Однако драматург не был счастлив. От первого брака у Смолянова есть дочь — умственно отсталая девочка, которая живёт в Саратове под присмотром бабки. Преуспевающий драматург стесняется перевезти их в Москву. Возражает против этого переезда и вторая жена Смолянова, женщина психически не вполне уравновешенная. Драматург много пьёт. «Нет, богатство не даёт счастья. Надо ещё что-то, главное», — размышляет Ляля[175]. Это главное было у Ляли и Реброва. Смолянов — это калиф на час, человек без будущего. По сути он давно уже исчерпал свой и без того небогатый творческий потенциал и нуждается в литературных подёнщиках. Реброву уготована участь одного из них. Смолянов обвиняет Григория в отсутствии «почвы», что является эвфемизмом: фактически Смолянов причисляет Реброва к «безродным космополитам».

У Смолянова был реальный прототип — драматург Анатолий Алексеевич Суров, лауреат двух Сталинских премий, очень популярный в последние годы жизни Сталина и прочно забытый к

началу 1970-х годов. О нём помнили лишь как о персонаже эпиграммы Эммануила Казакевича, написанной по случаю драки между двумя лауреатами Сталинской премии — антисемитами Бубенновым и Суровым.

Суровый Суров не любил евреев.
На них везде и всюду нападал.
Его за это порицал Фадеев,
Хоть сам он их не очень уважал…

Когда же Суров, мрак души развеяв,
На них кидаться чуть поменьше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.

Певец «Берёзы» в ж… драматурга,
Как будто в иудея Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.

Но, следуя традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Рассматривает дело партбюро[176].

Вскоре после смерти вождя Суров был уличён в том, что пользовался услугами «литературных негров», которые фактически и писали его пьесы. За это Сурова в 1954 году исключили из партии и из Союза писателей. Вспомним, что в «Долгом прощании» Смолянов без обиняков предлагает уже стоявшему на самом краю обрыва Реброву сделаться его «литературным негром». Ни о каком соавторстве не было и речи, однако срочно нуждающийся в трудоустройстве Григорий получил бы в результате этой сделки штатное место театрального завлита, которое ещё недавно занимал «безродный космополит» Маревин, с очень хорошим окладом в 1500 рублей. (Напомню, что Ляля получала в том же театре 650 рублей.) Ребров, догадавшийся о связи Ляли и Смолянова, отказался, круто изменил свою судьбу, завербовавшись в геологическую партию, и в начале марта 1953 года уехал из Москвы. О смерти Сталина он узнал в поезде.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит.

И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждёт!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идёт.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернётся в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна[177].

Прошло восемнадцать лет. Каким же стало то будущее, на которое столько надежд возлагали герои повести? Смолянов канул в безвестность: «обеднял, захирел, пьес не пишет и живёт тем, что сдает дачу жильцам на лето»[178]. Конфликт «хорошего с отличным» уже перестал существовать, и искусство стало постигать реальную жизнь. Но в этом новом искусстве Ляле не было места. Актёр-актёрычи не простили ей былого успеха. Ляля была вынуждена уйти из театра. И хотя ей пришлось довольствоваться Домом культуры, жизнь Ляли сложилась вполне благополучно: муж — военный инженер, преподаватель академии, кандидат наук; сын-восьмиклассник, собственный автомобиль, ежегодные автомобильные поездки летом то в Крым, то на Карпаты, то в Прибалтику.

Не менее успешно сложилась и жизнь Григория Реброва: «процветает, хорошо зарабатывает сценариями, живёт на Юго-Западе, тоже есть машина, и, кажется, был уж дважды женат. Вот, собственно, и всё»[179]. Строго говоря, Ребров успешно реализовал именно тот сценарий своей жизни, о котором в молодые годы он думал лишь как о вспомогательном средстве обеспечения главного — своих исторических изысканий. Однако второстепенное стало главным, и ни о каких исторических исследованиях речь уже не идёт. В жизни Реброва есть поездки на кинофестивали в Аргентину или в Бразилию, но нет сути — страстного желания его молодости найти нить, которая связывает прошлое с настоящим и тянется в будущее. «„Моя почва — это опыт истории, всё то, чем Россия перестрадала!“ И зачем-то стал говорить о том, что одна его бабушка из ссыльных полячек, что прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь, что другая его бабушка преподавала музыку в Петербурге, отец этой бабушки был из кантонистов, а его, Гришин, отец участвовал в первой мировой и в гражданских войнах, хотя был человек мирный, до революции

статистик, потом экономист, и всё это вместе, кричал Гриша в возбуждении, и есть почва, есть опыт истории, и есть — Россия, чёрт бы вас подрал, с вашими вывороченными мозгами!»[180]

Ляля и Ребров достигли предельно возможного в то время благополучия и достатка, но так и не смогли добиться главного — того, что составляло смысл их существования в последние годы жизни вождя. Из их жизни безвозвратно ушло творчество, а сама жизнь стала заурядной и рутинной. Ни их талант, ни их душевный жар так и не были востребованы. Если талантливые люди не имеют возможность реализовать свой дар, то это означает лишь одно: строй, при котором они живут, обречён. Ровно за двадцать лет до конца советской власти Юрий Валентинович Трифонов своей чуткой интуицией большого художника постиг полную бесперспективность этой самой власти. Герои «Долгого прощания» были способны прожить другую жизнь.

Глава 7
ИНФАНТИЛИЗМ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Именно так называется следующая повесть «московского цикла» — «Другая жизнь» (1975). Главный герой повести — историк Сергей Афанасьевич Троицкий. Историк скоропостижно скончался в возрасте 42 лет. Жизнь Сергея мы видим глазами Ольги Васильевны, его вдовы. Их знакомство пришлось на начало весны 1953 года — на «начало весны, той тревожной, неясной, которую ещё предстояло разгадать… когда все кругом затаив дыхание чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили»[181]. Понятно, что все эти ожидания, предположения и споры были связаны с только что случившейся смертью вождя. А роман Сергея и Ольги Васильевны начался летом 1953 года в Гаграх, на берегу Чёрного моря; это было первое лето после смерти Сталина. Именно здесь они узнали об аресте Берии. И хотя это имя в момент написания повести было под строжайшим запретом, Трифонов сумел так построить своё повествование, что наиболее проницательные читатели сразу же поняли, о чём идет речь. Трифонов смотрит на былое глазами Толстого: одно историческое событие сменяется другим, а частная жизнь людей идёт своим чередом. Итак, начало частной жизни Сергея и Ольги совпало по времени с поворотным моментом в жизни страны, а сама эта жизнь целиком уместилась в историческом промежутке между началом оттепели и первыми годами после ввода войск в Чехословакию, то есть между оттепелью и застоем. Это был период относительной идеологической свободы, когда генеральная линия партии неуклонно колебалась, а советские гуманитарии стремились понять законы развития общества, в котором они жили.

Вспоминает историк Арон Яковлевич Гуревич: «В первые годы после смерти Сталина, когда наметились какие-то „телодвижения“ Хрущёва и его окружения, у студентов, естественно, началась ломка сознания. Те, кто задумывался над историей нашей жизни в новейшее время, не понимали, как быть, терялись. В школе их учили, что всё происходящее у нас — истина в последней инстанции; теперь всё расшаталось. Мне приходилось вести с ними откровенные беседы, но я предпочитал делать это всё же приватно, разговоры в больших группах могли привести к неприятностям»[182]. Сергей Троицкий не стал, подобно Гартвигу из «Предварительных итогов», напрямую связывать седую древность со злободневными проблемами

сегодняшнего дня, однако сам метод его углубления в историю не имел ничего общего с ортодоксальным марксизмом, который в годы советской власти зачастую выступал в извращённой форме вульгарно-социологического изучения истории. Сергея не интересовали ни общественно-экономические формации, ни классовая борьба, в его лексиконе не было таких слов, как «базис», «надстройка», «историческая закономерность» — для профессионального советского историка, шесть лет проработавшего в секторе революции и гражданской войны, всё это казалось более чем странным и не совсем нормальным.

По авторитетному свидетельству Арона Яковлевича Гуревича, «изучение народных движений и революций ценилось в те годы превыше всего. <…> Было привычным и достойным поощрения изучение разных форм классовой борьбы: восстаний, забастовок или — у крестьян — намёков на неё, побегов, глухого ворчания. Естественно, все формы недовольства выдавались за „классовую борьбу“ (хотя понятие „социальная борьба“ не исчерпывается борьбой классов), порождаемую экономическими противоречиями, угнетением крестьян, рабочих и других социальных групп»[183]. Однако обратить внимание на такую неестественность научных интересов историка Сергея Троицкого могли лишь очень проницательные первые читатели повести и лишь в том случае, если они сами принадлежали к цеху советских гуманитариев. Разумеется, не могло быть и речи ни о каком гласном обсуждении этой противоестественности времени и места.

Маститый советский историк академик Николай Михайлович Дружинин так излагал методы исследовательской работы историков, выработанные им на основе личного опыта: «Изучая историческое явление в опосредствовании других смежных явлений, я старался прежде всего извлечь из своих источников всё, что раскрывало его экономические корни, связывало общественные события и отношения с глубокими социально-экономическими сдвигами данного периода. Для первой половины XIX в. в истории России таким определяющим процессом был переход от феодальной формации к капиталистической; поэтому естественно, что я старался решить вопрос о закономерностях и особенностях разложения и кризиса феодально-крепостнического строя как основе буржуазных тенденций… <…> Но основным противоречием, которое напоминало о себе при изучении источников, оставался конфликт между ростом производительных сил и феодальными отношениями, находивший своё отражение в классовой борьбе крестьянства»[184]. Да простит мне читатель эту длинную цитату,

но в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого столетия в Советском Союзе о логике исторического процесса можно было писать только так, и никак иначе. Первое издание книги академика Дружинина вышло в 1967 году, второе — в 1979-м. Сам Николай Михайлович был превосходным историком, немало пострадавшим лично от оголтелых нападок сторонников вульгарно-социологического подхода к истории. Академик не был начётчиком, но даже он, несмотря на высоту своего академического величия, не мог обойтись без обязательного «ритуального самоосквернения».

Историк Троицкий мыслил иначе: «Человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он, никогда не примирится со смертью, потому что в нём заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду…»[185] Подобные рассуждения были абсолютно немыслимы в устах профессионального советского историка, работавшего в Академии наук или преподававшего историю в вузе. Обстоятельства времени и места были таковы, что всякий гуманитарий, рискнувший излагать подобные взгляды, неминуемо бы поплатился. Это и произошло с героем «Другой жизни».

Во-первых, обсуждение его кандидатской диссертации на заседании сектора закончилось полным провалом: соискателю были сделаны многочисленные замечания, а его диссертация не была рекомендована к защите. Во-вторых, не осталась без внимания коллег сомнительность, если не сказать порочность, с точки зрения официальной методологии, предложенных историком Троицким методов исследования: в институте на него было заведено персональное «дело». Современному читателю это не вполне понятно. Обсуждение любого персонального «дела» изначально предполагало, что его фигурант ставился в положение обвиняемого и обязан был доказывать коллегам свою невиновность, а все его товарищи по работе в обязательном порядке должны были публично определить своё отношение как к сути разбираемого «дела», так и к самому фигуранту. Зачастую итог такого разбирательства был предрешён заранее и означал неминуемое изгнание с работы. Ситуация одинаково неприятная и унизительная как для самого Сергея Троицкого, так и для его коллег. Некоторые из них, внутренне не согласные с инициаторами «дела», могли отмолчаться при обсуждении, но

они всё равно должны были голосовать. Даже воздержаться в этой ситуации означало навлечь на себя неприятности, а уж проголосовать «против» — значило проявить незаурядное гражданское мужество. «Люди там разделились, по словам Серёжи, на три категории: было несколько подлецов, были умеренные и были люди, которые вели себя безукоризненно»[186].

Сергей Троицкий был загнан в угол. У него не было ни серьёзных печатных работ, ни сложившейся репутации учёного, ни «запасного аэродрома» — альтернативного места работы по специальности. Однако даже в этой ситуации Сергей не стал каяться и публично признавать свои ошибки, на что, собственно, и рассчитывали организаторы его «дела». Он предпочёл подать заявление об увольнении из института по собственному желанию. Фактически ему предстоял уход в никуда. Фигуранта персонального «дела» никто не взял бы работать по специальности: отсутствие учёной степени и научных работ не позволяло ему рассчитывать на переход в какой-либо другой институт, и даже работа школьного учителя была для него невозможна. Выбор у Сергея был небогатый. Он мог пополнить собой ряды диссидентов, авторов самиздата и через короткое время очутиться либо в психиатрической больнице, либо в мордовских лагерях. Мог уйти в глубокую внутреннюю эмиграцию, то есть пойти работать кочегаром, сторожем или дворником и, не вступая ни в какие контакты с государством и его институциями, продолжать писать в стол без малейшей надежды на публикацию своих рукописей. Разумеется, избери автор «Другой жизни» любой из этих путей для своего героя, повесть никогда не была бы напечатана. Поэтому Трифонов предпочёл для Сергея Троицкого другой выход — скоропостижную смерть. Что же обусловило этот печальный конец? Судя по «Другой жизни», в этом виноваты как обстоятельства времени и места, так и сам герой. У Сергея Троицкого не могло быть ни другой жизни, ни другой судьбы.

С обстоятельствами времени и места всё более или менее ясно. Вспомним излюбленную мысль историка Троицкого. «Человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое». Отщепив и выделив самого Сергея из ткани повествования «Другой жизни», можно многое понять в характере, мироощущении и системе ценностей шестидесятника XX века. Достоинства и недостатки Сергея Троицкого — это достоинства и недостатки типичного шестидесятника в их полном развитии. До своего смертного часа этот герой повести остается инфантильным и полностью лишённым чувства ответственности как за свою

собственную жизнь, так и за жизнь и судьбу своих близких. В момент знакомства с Ольгой Васильевной он работает не по специальности. И это можно объяснить переменчивыми обстоятельствами весны 1953 года. После ареста Берии жизнь стабилизировалась, и уже осенью Сергей нашёл работу в музее. Там очень мало платили (однажды он потратил половину своей месячной зарплаты на обед с Ольгой Васильевной в ресторане), не было никаких склок, зато была возможность заняться написанием книги. В музее Сергей проработал семь лет, подготовил за это время рукопись «Москва в восемнадцатом году», но рукопись так и не стала книгой. Мы не знаем, почему так получилось и кто в этом был виноват. Важен результат — книга так и не вышла в свет.

Однако Сергей не сделал из этой истории никакого практического вывода и ничтоже сумняшеся перешёл работать в институт, где занял скромную должность младшего научного сотрудника, надеясь со временем защитить кандидатскую диссертацию. «Он метался, сначала то, потом другое, потом третье. То история московских улиц, а то охранка, а то и вовсе посторонняя наука. Его сгубили метания. Сначала увлекался, потом неизбежно остывал и рвался к чему-то новому. Вечно рвущийся куда-то неудачник. <…> Конечно, семь лет угроблено на музей, никакой отдачи, никаких накоплений, сам виноват: постоянно разжигали его пустые грёзы. Но и они виноваты, все, все, кто был вокруг! Виноваты злодейски, жестоко: не могли остановить эти колёса, вертевшиеся впустую… Семь лет! Те годы, когда ровесники делали лихорадочные усилия, совершали рывки и проталкивались дальше и дальше. А он жил так, будто впереди у него девяносто лет. Были какие-то планы, делались изыскания в архивах, велись переговоры с издательством…»[187]

За это время сама Ольга Васильевна, биолог по образованию, ушла из школы, где некоторое время работала после института, и стала постепенно подниматься по ступенькам карьерного роста в научно-исследовательском институте — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией. Выросла, пошла в школу их дочь Ирина, а Сергей продолжал оставаться вечным мэнээсом без степени. Ирина вот-вот должна была окончить школу, а в положении Сергея ничего не менялось. Ему никогда не приходилось решать никаких мужских вопросов. Квартирный вопрос был решён помимо участия Сергея: сначала жили у отчима Ольги Васильевны, затем переехали в небольшую двухкомнатную квартиру, принадлежавшую его матери Александре Прокофьевне, наконец, в результате обмена стали жить вместе с Александрой

Прокофьевной в трёхкомнатной квартире. Вопрос, на какие деньги и как существует семья, его не интересовал. И Ольга Васильевна никогда не попрекала мужа: «Нет средств на Ялту — будем жить в Василькове у тёти Паши. Нет денег на телевизор — будем слушать радио»[188].

Сергей не смог использовать те плюсы, которые давало ему положение музейного работника: спокойная обстановка, отсутствие интриг в коллективе, свободный доступ к ещё не вовлечённым в научный оборот музейным фондам и наличие свободного времени. Вспомним, что именно работая в областном музее, кумир шестидесятников Натан Яковлевич Эйдельман написал и блестяще защитил кандидатскую диссертацию, выпустил книгу и фактически начал единственную в своем роде карьеру независимого историка и исторического писателя. Семь лет — это большой срок. И если исследователь подготовил за это время рукопись, которая так и не была издана, то это свидетельствует либо о том, что тема исследования не вписывалась в официальную концепцию, либо качество проведённого исследования оставляло желать лучшего, а сам автор не проявил должной настойчивости и упорства по продвижению своей рукописи в печать. Иными словами, рукопись Троицкого была мало талантлива, а сам он недостаточно целеустремлён, чтобы переломить ситуацию. Книги Эйдельмана абсолютно не вписывались в официальные каноны историописания, но они были до такой степени талантливы, что смогли преодолеть все препоны и рогатки. Так историк создал себе имя, а потом уже это имя работало на него. Реальный историк Натан Эйдельман был ровесником литературного персонажа Сергея Троицкого.

Сошлёмся на авторитетное свидетельство другого реального историка, исключительно результативно работавшего именно в те годы, о которых рассказывает в своей повести Юрий Трифонов. «Неизбежная сращённость, органическая связь человека и его творчества мне кажутся очень существенными. В моей жизни это было особенно важным, потому что сплошь и рядом обнаруживалось: тот или иной мой коллега, обладающий несомненными научными потенциями, не создал того, что он мог создать, потому что у него не хватило характера, не хватило воли, стойкости для перенесения всех невзгод, которые на него обрушились, не хватило силы для того, чтобы устоять, несмотря на ту мерзкую атмосферу, в которой мы росли детьми, мужали, продолжали жить вплоть до конца истекшего столетия. Ум никому не помешал, но главное для человека — его характер, и как раз на этом споткнулись очень многие. <…> И те, кто

выдержал испытание, скорее могли создать что-то полезное и ценное, даже при средних способностях»[189].

Работая в музее, Сергей не имел ни денег, ни заманчивых карьерных перспектив. Отсутствие интриг в музее объяснялось очень просто: там нечего было делить и некуда было расти по службе. В институте, куда пришёл работать Сергей, ситуация была принципиально иной: «обещанья, надежды, проекты, страсти, группировки, опасности на каждом шагу…»[190] Всё это кипение страстей было вызвано причинами сугубо материальными. В институте было *что делить,* ибо защитивший диссертацию сотрудник фактически получал пожизненную ренту — весомую ежемесячную прибавку к зарплате и обретал перспективу карьерного роста, делая мощный рывок вперёд по сравнению со своими неостепенёнными коллегами. Количество научных ставок, особенно ставок старших научных сотрудников, было ограничено штатным расписанием, и вырвавшийся вперёд и занявший такую ставку сотрудник если и не лишал своих менее расторопных коллег каких-либо карьерных перспектив, то делал эти перспективы до чрезвычайности проблематичными и сильно пролонгированными во времени. Рассуждавший о «тончайшем нерве истории» Сергей Троицкий, судя по всему, не только плохо разбирался в неписаных правилах поведения корпорации, которые вырабатывались если не веками, то десятилетиями, но и не считал нужным придерживаться этих правил. Его взяли в институт на известных условиях, тема будущей диссертации была включена в план института, и когда Сергей настоял на перемене темы, он создал этим определённые трудности руководству и невольно нарушил сложившуюся расстановку сил в институте. Разумеется, эти трудности не были большими, однако по своему положению мэнээса Сергей ещё не имел права на подобную несговорчивость и тем самым заработал себе немало если не врагов, то недоброжелателей.

По неписаным правилам аспиранты, лаборанты и мэнээсы, особенно — неостепенённые, считались зависимой частью научного коллектива. Они зависели от своего научного руководителя, от заведующего сектором или отделом, от учёного секретаря института, от его директора и председателя Учёного совета. И эту зависимость можно было уподобить зависимости клиента от своего патрона, вассала от своего феодала или сеньора. Степень этой зависимости, её характер и продолжительность во многом определялись уровнем личной порядочности руководителя. (Когда в конце 1979 года я закончил очную аспирантуру и защитил диссертацию, передо мной встала проблема поиска работы. Заведующий кафедрой одного из

провинциальных университетов готов был взять меня на работу, но выдвинул обязательное условие трудоустройства: ближайшие три года я буду «пахать» на него и лишь после истечения этого срока получу «вольную» и смогу заняться своей собственной научной работой. Это условие нельзя было назвать кабальным, ибо иные руководители заставляли «пахать» на себя не менее пяти лет, и все эти годы подневольный сотрудник остерегался публиковать статьи под своим собственным именем, предпочитая соавторство с руководителем.) В научных институтах известная степень свободы и независимости наступала лишь после защиты кандидатской диссертации и получения ставки старшего научного сотрудника, в вузе — после получения ставки старшего преподавателя или доцента. Поскольку в те времена между мэнээсом и эсэнэсом не было промежуточной ступени, переход от мэнээса к эсэнэсу был самым настоящим качественным скачком — ощутимо менялась не только зарплата, человек обретал принципиально иной социальный статус. Ожидание этого перехода могло растянуться на долгие годы: в эпоху застоя в московских академических институтах кандидаты наук ожидали не менее восьми-десяти лет. Вот почему во многих институтах так процветали интриги, и институт, в котором работал Сергей Троицкий, не составлял исключения из этого правила: «Праскухин против Демченко, Демченко против Кисловского, потом Гена Климук…»[191] Именно Гена Климук, некогда бывший близким другом Троицкого, очень жёстко дал понять Сергею, что его упорное нежелание придерживаться неписаных правил поведения может очень плохо для него кончиться. Гена Климук занимал ключевой пост учёного секретаря института, и за его спиной стояла весьма влиятельная группировка. «Одно было ясно: они могут сделать так, что защита не состоится»[192].

Было ещё одно очень существенное обстоятельство, которое могло повлиять на грядущую защиту. Сергей сумел раздобыть список секретных агентов московской охранки, начиная с десятых годов и вплоть до февраля 1917 года. Список был куплен у какого-то пропойцы за символическую сумму в 30 рублей. Это была очень ценная находка. Ничего подобного в архивах не сохранилось: во время Февральской революции все списки секретных агентов были уничтожены. Сергею удалось установить подлинность приобретённого списка: в Городце им был найден некто Кошельков, почтенный старец, в молодые годы работавший на охранку. Судя по всему, институтские коллеги узнали об этой сенсационной находке. Кисловский, возглавлявший Учёный совет института, захотел использовать этот список в своей докторской диссертации и через Климука попросил Сергея уступить ему

уникальный документ. Сергей наотрез отказался, чем фактически поставил крест на своей защите. Кисловский был, безусловно, непорядочным человеком: он не гнушался использовать в личных целях своё исключительное положение председателя Учёного совета. Однако и поведение Сергея было в высшей степени инфантильным. Он не сумел защитить свою находку. Хотя публикация вновь выявленного источника была делом непростым, в сложившейся ситуации надо было срочно опубликовать этот документ со своими комментариями, тогда никто не смог бы использовать злополучный список в своей работе без ссылки на его публикацию. Вместо этого Сергей, который был человеком импульсивным, растрезвонил всем о своей находке. Институтские коллеги знали даже то, что списки находятся в папке с розовыми тесёмками. Сергей не поддался на шантаж Климука, за которым стоял влиятельный Кисловский, чем фактически загубил не только свою защиту, но и своё будущее в институте — свою другую жизнь в науке. На одной чаше весов лежал список секретных агентов, на другой — будущее. Конечно, список было жаль отдавать, а поддаваться шантажу — унизительно. Но жизнь требовала от Сергея взрослого поступка. В конце концов, этот список был лишь малой частью тех разнообразных подготовительных материалов, которые были собраны Сергеем для написания диссертации. Эти выписки занимали тридцать шесть толстых общих тетрадей, и на этом фоне даже очень ценный список не мог существенно сказаться на его научных исследованиях.

Сергей был человеком бескомпромиссным. Таков был дух времени. Само это слово «компромисс» по определению заключало в себе негативную оценку. И эта негативная оценка разделялась как властью, так и образованной частью общества. Бескомпромиссность была краеугольным камнем системы ценностей шестидесятника, и в этом он видел проявление личной доблести, а не отсутствие трезвого понимания своего места в социуме и неумение налаживать отношения с людьми, как по горизонтали, так и по вертикали. В большинстве своём шестидесятник не умел проводить грань между компромиссом и беспринципностью: любую тактическую уступку он однозначно трактовал как грубейшее нарушение нравственного закона, то есть как подлость. Такие взгляды можно с успехом отстаивать во время посиделок на кухне, но с ними трудно добиться поставленной цели.

Разумеется, к цели можно двигаться различными путями. Вспомним классический литературный пример из «Войны и мира» Льва Толстого. Князь Борис Друбецкой, желающий преуспеть и

сделать блестящую карьеру, открывает для себя наличие двух видов дисциплины. «Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку, и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика»[193]. В реальной жизни всегда существуют две субординации и две дисциплины. Человек с чувством собственного достоинства способен осудить выбор, сделанный Борисом Друбецким, и предпочесть для себя лично иной путь — путь, лишённый компромиссов и сделок с собственной совестью. Однако человек умный должен понимать, во-первых, что неписаная дисциплина существует и, во-вторых, это её объективное существование нельзя игнорировать. Совершив компромисс, человек не перестаёт быть самим собой, а вступив на путь беспринципности, расплачивается за это распадом собственной личности. Итак, учёный секретарь и председатель Учёного совета института потребовали от мэнээса Троицкого расстаться со списком агентов охранки, однако на этой стадии развития конфликт ещё не прошёл точку невозврата: от историка Троицкого никто не требовал отказа от его научной концепции. Пожертвовав списком, Сергей мог защитить не только диссертацию, но и своё оригинальное видение истории. Отказавшись от этой жертвы, он не только поставил под удар диссертацию, но фактически перечеркнул свои многолетние изыскания и своими собственными руками загнал себя в тупик, из которого не было выхода.

Историк Сергей Троицкий «искал нити, соединявшие прошлое с ещё более далёким прошлым и с будущим»[194]. Свой метод он называл «разрыванием могил». Это было очень смело, особенно в условиях тотального господства марксистско-ленинского взгляда на исторический процесс. Любой современник Трифонова прекрасно понимал, что метод «разрывания могил» не имеет ничего общего с официальной теорией общественно-экономических формаций и не предполагает изучения классовой борьбы как движущей силы

истории. Вспоминает академик Аполлон Борисович Давидсон: «В те времена историков призывали изучать процессы общественного развития, формации, классовую борьбу — разумеется, с марксистских позиций. А сами люди оказывались вне поля зрения. Их повседневная жизнь, характеры. Кое-что, конечно, допускалось. Сталину, например, захотелось, чтобы возвеличивали роль личностей в истории. И появился „Наполеон“ академика Тарле. „Пётр I“ Алексея Толстого. Но это были исключения»[195]. Я прочитал повесть «Другая жизнь», когда учился на пятом курсе философского факультета МГУ. Мои однокурсники взахлёб читали номер «Нового мира», где была напечатана эта повесть. Когда я дождался своей очереди, получил толстый журнал в голубой обложке и, наконец, прочитал «Другую жизнь», в моём сознании произошла самая настоящая сшибка: в советском журнале были напечатаны мысли, явно противоречившие советской же философской науке и официальному взгляду на историю. Советский историк в принципе не мог так рассуждать! Разумеется, при известной ловкости и умении говорить намёками можно было вполне легально излагать взгляды, фактически не имеющие ничего общего с ортодоксальным марксизмом, но нельзя было этот марксизм *ревизовать* и *подвергать сомнению,* а именно это и делал Юрий Валентинович Трифонов устами своего героя.

Думающие учёные прекрасно понимали, что ортодоксальный марксизм отнюдь не является универсальным методом познания в гуманитарных науках. Когда уже на излёте оттепели Арон Яковлевич Гуревич был принят на работу в Институт философии Академии наук СССР, историка поразила теоретическая «всеядность» его новых коллег. «Рассказывали о каком-то французском философе (впрочем, наверное, это легенда), который приехал тогда в Москву, общался с разными философами от Константинова, Юдина, Митина до Межуева, Келле, Левады и сказал, что он нашёл тут и неокантианцев, и позитивистов, и логических позитивистов, и гегельянцев, и младогегельянцев и проч. Единственное направление, которого он не обнаружил, — это марксизм»[196]. Однако ни один из них не отваживался на явное противоборство с ортодоксальным марксизмом как официальной идеологией и в обязательном порядке ссылался на Маркса, Энгельса и Ленина. Объём знаний, полученных в советской высшей школе, легко позволил сделать мне этот вывод. Сложнее было с другим: понять, каким образом историк Троицкий пришёл к этой нетривиальной для советского учёного мысли, или, пользуясь терминологией тех лет, каков был генезис его мировоззрения. Ни один из моих университетских

преподавателей не писал и не говорил ничего подобного. Ясно было лишь одно, что Трифонов вложил в уста своего героя собственный взгляд на историю. Спустя какое-то время, уже учась в аспирантуре, я установил и несомненное родство этой важнейшей для Трифонова идеи со «Студентом» Чехова и «Философией общего дела» Николая Фёдоровича Фёдорова (1828–1903), оригинального русского мыслителя-энциклопедиста и утописта, влияние которого испытали на себе Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Валерий Брюсов, Александр Блок, Андрей Белый, Циолковский, Вернадский. После того как в аспирантском зале Научной библиотеки МГУ я прочёл первое издание «Философии общего дела», генезис идеи «разрывания могил» стал мне ясен. В итоге и я ощутил в себе эту непрекращающуюся нить, идущую из прошлого в будущее, ощутил собственную включённость в историю.

Однако вернёмся к герою «Другой жизни». В те годы, когда писалась эта повесть, даже школьники старших классов были приучены рассуждать и писать сочинения о «типичных представителях», в качестве таковых выступали Онегин, Печорин, Рудин, Базаров… В ряду этих литературных персонажей может быть помещён и Сергей Троицкий как типичный представитель той категории советских интеллигентов, которых мы именуем шестидесятниками. Он живёт исключительно духовной жизнью и не обременяет себя проблемами быта, он дорожит своими идеями, но не умеет их защищать, вольготно ощущая себя в мире идей, он не даёт себе труда вникнуть в реальную жизнь и понять законы самоорганизации сообщества, к которому он принадлежит. Подобно своему предку — шестидесятнику XIX века — он не стремится приобщиться к «казённому пирогу», одинаково презирая как мещан, так и карьеристов. Он — убеждённый бессребреник. Но это его качество является оборотной стороной эгоцентризма. Как вспоминала о Сергее Ольга Васильевна, его любящая жена: «Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось. Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений»[197]. А его желание при любых обстоятельствах места и времени оставаться бессребреником фактически обрекает его близких на постоянное безденежье и убогое существование. Под стать Сергею был и его друг детства и коллега по работе Фёдор Праскухин, трагически погибший в автокатастрофе. Праскухин, хотя и был учёным секретарём института, имевшим немалые возможности для решения своих личных проблем, этими возможностями не воспользовался. Его вдова Луиза и двое детей живут в старой квартире: «…стали вспоминать Федину доброту, привычку помогать людям и заодно уж, с оттенком умиления, —

его бесхозяйственность и непрактичность, чем он действительно отличался. Луиза неожиданно расплакалась и стала жаловаться на всё подряд: никуда дальше Крыма не ездили, не было у него хорошего зимнего пальто, квартиры не поменял, всё хотел поменять через бюро обмена, а почему не добиться на работе, как все добиваются? Теперь уж надеяться не на что»[198]. В начале 70-х такое поведение уже воспринималось как анахронизм: на словах интеллигентная публика ещё была способна одобрительно относиться к персонажам, подобным Феде, но в ситуации реального жизненного выбора предпочитала поступать иначе и не забывать о своих интересах. Федя Праскухин олицетворял собой уходящую натуру.

Такими же были и родные Сергея: «Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им нравилось, губили этих людей…»[199] И хотя они сами считали своё поведение несомненной доблестью, как правило, их поступки были продиктованы инфантилизмом и эгоизмом. Неистребимое желание делать только то, что нравится, позволяло этим людям сбросить с себя груз ответственности не только за своё будущее, но и за судьбу своих близких. «Неудачи из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри его оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута, — пружинил, но не ломался. И это было бедой. Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это значило, что, хотя он мучился и много терпел от неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, что у него помутился разум, приходил в отчаянье и терзал всем этим своё бедное сердце, он всё же не хотел ломать то, что было внутри его, такое стальное, не видимое никому. А она всё равно любила его, прощала ему и ничего от него не требовала»[200].

После трагической гибели Праскухина новым учёным секретарём института стал Гена Климук, как мы помним, друг юности Сергея и Феди. Хотя он был их ровесником, это был человек совершенно иной формации: в нём совсем не было инфантилизма и мечтательности, зато с избытком присутствовал голый прагматизм, многократно усиленный цинизмом. «Давайте сколотим свою группку, свою кликочку, свою маленькую, уютную бандочку!»[201] Создав и возглавив «маленькую бандочку», Климук стал успешно решать исключительно личные проблемы: в результате нескольких обменов жилья получил неплохую квартиру, в которую сознательно не приглашал друзей юности, дважды издал под грифом института свою слабую монографию и неоднократно выезжал в заграничные поездки вместе с женой

Марой. Любые заграничные поездки в советское время воспринимались как несомненный показатель жизненного успеха, а уж поездки вместе с женой расценивались как нечто исключительное. Если Сергей Троицкий был постоянно погружён в какие-то идейные искания, то Гена Климук радел лишь о собственном благополучии и всех людей расценивал исключительно с точки зрения своих нынешних и грядущих комбинаций — будь то очередная институтская интрига или многоходовая торгашеская сделка. Все эти интриги и сделки предпринимались только для того, чтобы укрепить благополучие Климука и его семьи, научные интересы института и его сотрудников не имели к этому никакого отношения.

И Троицкий, и Климук — это герои своего времени. Однако у Троицкого нет будущего. Он — уходящая натура. У Климука же будущее есть, и оно исчерпывается движением по карьерной лестнице. Тем не менее, когда будущее есть лишь у карьеристов и приспособленцев, будущего лишена страна. Ситуация была безысходной. Интеллигенты, подобные Сергею Троицкому, были не жизнеспособны, а образованны, подобные Климуку, не имели ни творческих интенций, ни оригинальных замыслов и были полностью лишены способности к созиданию. Юрий Трифонов приходит к неутешительному выводу: общество, в котором живут герои повести «Другая жизнь», не способно трансформироваться, в нем нет здоровых сил, способных обеспечить этому обществу и самим себе другую жизнь. Это общество может лишь погибнуть, дойдя до крайнего предела, но не в состоянии видоизмениться.

Вероятно, этот неутешительный вывод не удовлетворил писателя, и он попытался преодолеть его абсолютную безысходность, взглянув на обстоятельства места и времени в ином, более крупном временном масштабе, или, как сказал бы его великий современник Михаил Михайлович Бахтин, в большом времени истории. И тогда рассуждения историка Сергея Троицкого о неисчезающих нитях истории приобретали необычайную актуальность и позволяли смотреть на будущее со сдержанным оптимизмом. А несогласие с существующим мироустройством получало историческое обоснование. Вот почему в самом начале эпохи застоя образованное общество так интересовалось историческими сочинениями. В прошлом искались не только истоки сегодняшних проблем, но и черпался исторический оптимизм, находилось оправдание собственным неудачам. Наблюдался даже некоторый парадоксальный перехлёст. Интеллигентные читатели «Другой жизни» в личных невезениях, осечках, срывах, провалах — в любом неуспехе видели историческое, а значит, и нравственное подтверждение

собственной правоты. Тем самым снимался вопрос о личной ответственности за этот неуспех. Подобно своим предшественникам, жившим в XIX столетии, они любили рассуждать о *среде,* которая их *заела,* но не хотели замечать и использовать те возможности, которые открывала перед ними жизнь. Разумеется, речь идёт лишь о тех возможностях, воспользоваться которыми можно было, не теряя собственного лица и не поступаясь собственными нравственными принципами. Эти читатели, воспринимавшие жизнь с юношеским максимализмом, ориентировались в своём нравственном выборе на историка Сергея Троицкого. Они продолжали упорствовать в интеллигентских заблуждениях, не желая считаться с объективными законами функционирования социума, в котором они вращались.

Вспомним, что собственные неудачи лишь укрепляли Сергея Троицкого в справедливости его размышлений о нитях в истории. «Он говорил что-то путаное насчёт своих собственных предков, беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь к пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости, — во всех них клокотало и пенилось *несогласие*… Тут было что-то не истребимое ничем, ни рубкой, ни поркой, ни столетиями, заложенное в генетическом стволе…»[202]

Глава 8
БЕСКОРЫСТИЕ

К циклу «московских повестей» примыкает повесть об Андрее Желябове (напомню, создателе и руководителе «Народной воли», организаторе покушений на Александра II) «Нетерпение». Она была завершена в 1972 году, в 1973-м опубликована в журнале «Новый мир» (№ 3, 4, 5) и вышла отдельной книгой в серии «Пламенные революционеры», выпускаемой Политиздатом. Эту повесть, которую иногда справедливо называют романом, должен был написать, да так и не написал Гриша Ребров. В «Нетерпении» Трифонов в большом времени истории ищет ответ на извечный русский вопрос: «Как жить не по лжи?» Литературоведы не сумели должным образом оценить значимость этой книги в истории русской литературы. «Нетерпение» — это самая толстовская вещь во всей посттолстовской литературе. Более того: Юрий Валентинович Трифонов написал исторический роман, пойдя по тому самому пути, по которому намеревался пойти Лев Николаевич Толстой.

Общеизвестно, что великий писатель дважды приступал к работе над историческим романом о декабристах, однако его творческий замысел так и не был реализован. Первый раз Толстой, желая написать о вернувшемся из Сибири декабристе, «вернулся сначала к эпохе бунта 14 декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805 годом, то всё сочинение начал с этого времени»[203]. Так была написана эпопея «Война и мир». После окончания работы над романом «Анна Каренина» Толстой вновь решил обратиться к эпохе декабристов, заинтересовавшись вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14 декабря 1825 года. О своём новом замысле он 8 января 1878 года поведал графине Софье Андреевне: «И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там где-нибудь в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14-го декабря попадёт к этим переселенцам — и „простая жизнь в столкновении с высшей“. <…> „Вот, например, смотреть на историю 14 декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать“»[204].

Этот толстовский замысел не был осуществлён. Однако, опираясь именно на эти чётко сформулированные Толстым

принципы, Трифонов сумел написать свой исторический роман. Во-первых, он взглянул на проблемы, волновавшие его современников, в ином временно́м масштабе — обратился к эпохе Великих реформ, когда в России впервые стала формироваться демократическая интеллигенция, исповедовавшая как либеральные, так и революционные идеи. Во-вторых, писатель мастерски изобразил в «Нетерпении» и революционеров-народовольцев, и либералов, и заурядных обывателей, и самого царя Александра II. Это казалось невероятным! Человеческий, а не обличительный или окарикатуренный образ императора — точнее, психологический портрет Александра Николаевича Романова — был совершенно немыслим не только на страницах советского исторического романа, но и в сугубо научных сочинениях советских историков. Юрий Валентинович Трифонов попытался всех понять и не хотел никого судить. Однако современники писателя, поднаторевшие в выискивании более или менее прозрачных аллюзий либо глубоко скрытых намёков, не сумели должным образом оценить то, что сделал Трифонов.

В конце сентября 1979 года в выходящей в Париже еженедельной газете «Русская мысль» была опубликована статья известного в своё время диссидента Михаила Агурского с претенциозным названием «Полемика с диссидентами Юрия Трифонова». Автор статьи, весной 1975-го эмигрировавший в Израиль, мог не опасаться политических преследований и рассуждал без оглядки на советскую цензуру. Он сделал то, на что никогда бы не отважился ни один советский критик: попытался выявить якобы имевшийся в «Нетерпении» антидиссидентский подтекст. «Создаётся впечатление, что автора больше всего интересовала психология революционного и оппозиционного движения как такового, прежде всего современного советского инакомыслия. Это даёт ему повод к завуалированной критике советских диссидентов, хотя нельзя утверждать, что эта критика ведётся с официальных позиций. Трифонов ищет параллелей между народниками и советскими диссидентами, подчёркивая бесплодность их борьбы… Не был ли для Трифонова прообразом Желябова — В. Буковский, Гольденберга — П. Якир или В. Красин, а Окладского — А. Добровольский?.. Лично я в этом уверен…»[205]Оставим на совести автора весьма спорное отождествление диссидентов с народовольцами: явное приписывание Трифонову собственных мыслей и неявное желание представить «Нетерпение» как антидиссидентский роман, подобно тому как в русской классической литературе XIX века существовал так называемый антинигилистический роман. Суть не в том, стремился ли Юрий

Валентинович осудить диссидентов, сознательно вызывая у вдумчивого читателя подобные ассоциации с современностью. (Сам Трифонов это отрицал, утверждая, что такие мысли даже не приходили ему в голову.) Суть в другом. Книги имеют свою судьбу. Написав «Нетерпение», Трифонов создал не только образец прекрасной прозы, но и заставил посмотреть на современную ситуацию в ином масштабе — в большом времени истории. Для тех, кто эмигрировал из СССР и уже несколько лет жил на Западе, его книга стала путеводной нитью, дающей возможность попытаться отыскать ориентиры и найти выход в запутанном лабиринте советских реалий. Была ли данная попытка добросовестной и удачной — это совсем другой вопрос. Важно, что повесть «Нетерпение» позволяла такую попытку предпринять, а оценка её литературного результата во многом зависела от таланта рецензента. «Задача писателя — рассказать ещё о том, что ВНЕ книги. Читатель должен пытаться понять не только то, о чём рассказывает книга, но и то, что она ХОЧЕТ высказать»[206]. Таково было писательское кредо Трифонова. И Михаил Агурский, выдвигая в высшей степени спорные гипотезы, фактически рассуждал в рамках эстетических принципов автора «Нетерпения».

Уже первая фраза «Нетерпения» настраивала читателя на злободневность темы. «К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том: какова болезнь и чем её лечить?»[207] Формально речь шла о давно прошедших временах конца 1870-х, но все умели читать между строк. Подход к истории России, как к истории болезни, был нов и смел. И хотя журнальный вариант «Нетерпения» был опубликован в либеральном «Новом мире», а советское образованное общество уже делилось на либералов-западников и патриотов-почвенников (последние предпочитали журнал «Октябрь»), в начале 1970-х ни один образованный человек не посмел бы оспорить эту мысль. Действительно, страна была больна. Споры шли о симптомах или следствиях с каждым днём прогрессирующей болезни, но мало кто задумывался о её причинах. Трифонов любил цитировать Артура Шопенгауэра. «Талант попадает в цели, в которые простые люди попасть не могут. А гений попадает в цели, которые простые люди *не видят*»[208]. На сей раз сам писатель попал в цель, о существовании которой даже не подозревали его «простые» современники.

Обратившись к истокам возникновения русской демократической интеллигенции, Трифонов установил, что с момента своего рождения эта интеллигенция несла на себе

родимые пятна *нетерпения* и *бескорыстия.* Сам писатель признавался, что если бы он не назвал свою повесть «Нетерпение», лучшего названия, чем «Бескорыстие», трудно было бы придумать. Герои повести Трифонова, желавшие одним решительным ударом раз и навсегда покончить с вопиющей социальной несправедливостью, были нетерпеливы и бескорыстны одновременно, ибо не жаждали обрести для себя лично никаких благ или преимуществ. Революционеры-народовольцы, видевшие, что после отмены крепостного права иные из недавних люмпенов начинают быстро обогащаться и эксплуатировать неимущих в геометрической прогрессии, увеличивая размер несправедливости в мире. То, что при этом во вступившей на путь капиталистического развития стране строились заводы и сотни тысяч пролетариев порывали с «идиотизмом деревенской жизни» и приобщались к городской культуре; строились земские школы и больницы, прокладывались стальные магистрали и вступал в свои права век пара и электричества, для миллионов людей делавший жизнь более комфортной, — всё это российские радикалы и русская интеллигенция предпочитали не замечать. Они были готовы ниспровергнуть существующий миропорядок и пожертвовать всем, включая самих себя и своих близких, ради обретения какой-то высшей справедливости — так, как они её понимали. И всякий, кто безоговорочно не разделял их представление о справедливости, объявлялся ими подлецом.

Желая пришпорить «клячу истории», образованные люди XIX столетия фактически становились у неё, истории, на пути. Радикально настроенные интеллигенты каждый новый шаг России по пути капиталистического развития воспринимали как личную трагедию и считали себя вправе распорядиться не только личной судьбой, но и судьбой страны. Существовала устойчивая литературная традиция, восходящая к XIX столетию и унаследованная советскими писателями: всякий стремящийся к обогащению «приобретатель», даже если это обогащение было плодом его личных *трудовых* усилий, подлежал обличению и однозначно трактовался как персонаж сугубо отрицательный. Обличали и клеймили наотмашь! Трифонов пишет об этом с предельной ясностью: «…медленное приготовление к социальному переустройству, выковка критически мыслящих личностей — не годилось, потому что затягивало всё надолго, неведомо на сколько поколений. А ждать долее невтерпёж! Гибли лучшие, народ дичал, тупел и страшной угрозой вырастал кулак в деревне и капиталист в городе. <…> Никакие умственные, интеллигентские силы не спасут общину от мироедства, ибо

когда ещё скажется эта долгая, муравьиная копотня, а тут — наскок, проворство, русские немцы окореняются не годами, а неделями. Яков с дедовой невесткой откупили у Лоренцова долю птичьего хозяйства и уже торговали яйцом и битой птицей в Керчи. Другому мужику, тоже бывшему крепостному, Лоренцов продал часть земли, бросовую, горы да буераки, а тот затеял вырубать камень, дело пошло лихо, рабочая сила дармовая, бродяги и гольтепа стекались сюда, к теплу, со всей России, море близко: за два года обогатился неслыханно. Торопиться нужно! Иначе России — каюк»[209].

Вся советская интеллигенция без исключения разделяла обличительный пафос шестидесятников XIX века. Миновало столетие. Страна прошла через три революции и две мировые войны, через ужасы вторичного закрепощения крестьянства, однако русская интеллигенция по-прежнему продолжала обличать любого накопителя. Всюду накопителя выводили на чистую воду — будь то страницы очередного производственного романа или кадры популярного кинофильма. В 1966 году на экраны страны вышла кинокомедия Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Берегись автомобиля», быстро ставшая народным хитом: в течение года её посмотрели 29 миллионов зрителей. Этот фильм по праву считается классикой советского кинематографа. Нет нужды пересказывать сюжет фильма. Один из героев «Берегись автомобиля», блистательно сыгранный гениальным актёром Анатолием Папановым, стал настоящим культовым персонажем, чьи реплики стали афоризмами и обогатили фольклор.

«С жульём, допустим, надо бороться!»

«Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущими, допустим, на нетрудовые доходы!»

«Тебя посодют — а ты не воруй!»

И, конечно же, сакраментальное: «Свободу Юрию Деточкину!»

Однако мало кто даже из числа безусловных поклонников фильма помнит, как звали этого персонажа — Семён Васильевич Сокол-Кружкин, подполковник в отставке. Со сталинских времён отставные старшие офицеры и генералы имели право на получение приусадебных участков, которые по своим размерам ощутимо превосходили пресловутые *шесть соток* — такова была площадь дачного участка, выделявшегося обычному советскому человеку, не имевшему никаких привилегий. Никита Сергеевич Хрущёв не только разоблачил культ личности Сталина, за что его славословили шестидесятники, но и сократил армию на один миллион двести тысяч человек, многие из которых воевали во время Великой Отечественной войны, но не успели выслужить

положенную по закону пенсию. Помимо этого Хрущёв чувствительно срезал уже назначенные пенсии отставным военным, ранее вышедшим на пенсию. Чтобы как-то свести концы с концами, отставники стали выращивать на своих участках овощи и фрукты — для себя и на продажу. В газетах публиковались фельетоны, обличавшие военных пенсионеров, торгующих на рынке овощами и фруктами со своих дачных участков. С точки зрения реалий сегодняшнего дня эта ситуация кажется абсолютно алогичной. За что же клеймили военных пенсионеров? Ведь с точки зрения закона они не совершали никаких правонарушений. Всякий, кто торговал на рынке, платил налог за торговое место. Казалось бы, этим оплаченным налогом и должны были исчерпываться взаимоотношения продавца и государства. Однако всякий торговец на рынке — и с точки зрения государства, и с точки зрения стихийного правосознания — облыжно трактовался как необоснованно обогащающийся спекулянт. Всякий, кто своим нелёгким трудом получал хоть какой-то доход, по своим размерам превосходящий заработную плату в сфере государственной экономики, осуждался даже теми, кто охотно покупал продукты его труда. И в первых рядах обличителей шли интеллигенты. «Я торгую клубникой, выращенной собственными руками!» Окарикатуренный образ отставного подполковника мешал понять смысл этой простой фразы. А ведь Сокол-Кружкин говорил истинную правду. Он действительно торговал плодами собственного труда. Однако шестидесятники предпочитали не замечать этой очевидной истины. Несть числа произведениям, созданным талантливыми и порядочными людьми, искренне считавшими, что в «светлом будущем» нет места тем, кто гонится за «длинным рублём» и стремится к личному обогащению. Авторы этих произведений не только добросовестно выполняли социальный заказ власти, но и творили, повинуясь собственным убеждениям.

Читатель может задать вопрос: какое отношение подполковник Сокол-Кружкин имеет к роману Трифонова? Самое прямое. Я принадлежу к числу тех, кто читал «Нетерпение» в журнале «Новый мир», номер за номером, по мере публикации, и хорошо помню пережитое потрясение. Университетские преподаватели толковали о диалектическом и историческом материализме, о смене общественно-экономических формаций и законах истории, но практически ничего не говорили о человеке в истории. Их лекции мне, тогдашнему студенту второго курса, казались верхом премудрости. Вот почему повесть Трифонова вызвала столь сильное впечатление, отчасти напоминающее солнечный удар. Меня поразили человеческий образ императора

и его любовная история с княжной Катей Долгоруковой. «Император побежал по лестнице наверх, в комнаты княгини, полагая, что она погибла, но Катя, живая, бежала ему навстречу, крича: „Саша! Сашенька!“, и они обнялись в темноте, как могли бы обняться в раю на другой миг после смерти»[210]. Не меньшим откровением были и страницы, повествующие о любви «пламенных революционеров» Андрея Желябова и Софьи Перовской. О таком нам в МГУ никогда и никто не рассказывал. Однако исключительно важная мысль, глубоко замаскированная Трифоновым в повествовательной ткани «Нетерпения», мысль о сущностном родстве системы ценностей шестидесятников двух разных столетий не была мной уяснена и прочувствована. Столь естественное для экономических и всех прочих реалий сегодняшнего дня стремление человека заработать тогда казалось не только мне, которому ещё не исполнилось и девятнадцати лет, но и всякому, притязавшему на интеллигентность человеку, чем-то постыдным и не вполне приличным. Юрий Валентинович Трифонов действительно попал в цель, которую никто не видел.

Андрей Иванович Желябов, главный герой «Нетерпения», родился в Таврической губернии в семье крепостных крестьян. Ему было десять лет, когда в России отменили крепостное право. Сын бывших дворовых, ставший свободным, в 1869 году с серебряной медалью окончил Керченскую гимназию и поступил на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе. Ему была предоставлена стипендия. Однако уже в октябре 1871 года за участие в студенческих волнениях Желябов был выслан из Одессы. Трифонов подробно рассказал, за что именно пострадал студент Желябов. Один из его товарищей, Абрам Бер, задремал на лекции. Читавший лекцию профессор сделал ему замечание, Бер начал оправдываться, тогда профессор заорал на студента: «„Молчать! Вон!“, топал ногами, как генерал на денщика, ну и, разумеется, оставить такое скотство без последствий было нельзя»[211]. Профессору объявили бойкот. Студенты ожидали от него объяснений и извинений. Их не последовало. Ректор университета попытался замять эту «историю». Не получилось. Петербург потребовал наказать зачинщиков-коноводов. И их наказали. Желябов был выслан. Восстановиться в университете через год он не смог.

Трифонов исподволь подводит читателей к выводу: в пореформенной России появилось много «новых людей» с обострённым чувством собственного достоинства. Малейшую несправедливость они воспринимали как личное оскорбление. Это были люди действительно новой формации, а реальная жизнь, в которую они вступили, была полна грубости, косности,

даже скотства. Эти молодые люди не думали о том, как далеко страна ушла вперёд по сравнению с прошлым, они возмущались мерзостью сегодняшних реалий. Вся эта грубость и косность не могла исчезнуть в одночасье. Новое время требовало новых людей. Образованных людей становилось всё больше и больше, со временем они должны были вытеснить людей, воспитанных в старых понятиях, которые к тому же осознавали, что их время уходит. Но нетерпеливая молодёжь не могла и не хотела ждать постепенного изменения русской жизни, а власть не знала, как следует вести себя, чтобы не усугублять взрывоопасность ситуации. Неизбывный трагизм ситуации заключался в следующем: система былых имперских ценностей, на которых были воспитаны несколько поколений, рушилась на глазах. Иерархичность, основанная на Табели о рангах, была абсолютом русской жизни. Именно Табель о рангах, а не сам человек, была мерою всех вещей. За редчайшими исключениями человек осознавал сам себя и воспринимался окружающими в соответствии с его чином, то есть с той ступенью, которую он занимал в социальной иерархии. Генерал свысока смотрел на «маленького человека» и трактовал его как «тварь дрожащую», а сам этот «маленький человек» чувствовал собственное ничтожество перед генеральским достоинством.

«Городничий. Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперёд: „Лошадей!“ И там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!»[212] Гоголевский герой, перевоплотившись на мгновение в генерала, с высоты этого чина с презрением и пренебрежением смотрит на самого себя — заурядного городничего. Так было в Николаевскую эпоху.

В пореформенной России всё изменилось, и другой литературный герой, отставной николаевский генерал Николай Семёнович Карташев из повести «Детство Тёмы» (1892) Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, в начале 1870-х годов, на закате жизни с тоской говорит своему сыну: «Мы росли в военном мундире, и вся наша жизнь в нём сосредоточивалась. Мы относились к нему, как к святыне, он был наша честь, наша слава и гордость. Мы любили родину, царя… Теперь другие времена… Бывало, я помню, маленьким ещё был: идёт генерал, — дрожишь — бог идёт, а теперь идёшь, так, писаришка какой-то прошёл. Молокосос натянет плед, задерёт голову и смотрит на тебя в свои

очки так, как будто уж он мир завоевал… Обидно умирать в чужой обстановке…»[213] Молодёжь стала осознавать самого человека мерой всех вещей, не желая быть ни «тварью дрожащей», ни «маленьким человеком»: сам по себе высокий чин не был для «новых людей» предметом безусловного поклонения, а его обладатель — существом высшего порядка.

Все эти подробные пояснения обстоятельств времени и места нужны нам для осмысления одного значимого эпизода в романе Юрия Валентиновича. Уже в самом начале первой главы «Нетерпения» Трифонов рассказал историю заключённого Боголюбова, который был выпорот по приказу градоначальника Трепова. Боголюбов содержался в Петербурге в Доме предварительного заключения, о котором Трифонов вскользь замечает, что надзиратели гордились местом своей службы: «…в нашей образцовой тюрьме, лучшей в Европе…»[214] За участие в мирной политической демонстрации — первой протестной демонстрации в истории России, состоявшейся в декабре 1876 года у Казанского собора в Петербурге, — 25-летний Архип Петрович Боголюбов (настоящая фамилия Емельянов) был арестован, зверски избит в полицейском участке, доставлен в Дом предварительного заключения и после продолжительной отсидки по приговору суда осуждён к лишению всех прав состояния и каторжным работам в рудниках на 15 лет! Чудовищная, даже по меркам тех лет, суровость приговора объяснялась тем, что участники демонстрации оказали активное сопротивление полиции, предпринявшей безуспешную попытку их разогнать. Власть увидела в этом сопротивлении опасный прецедент и решила в зародыше подавить любые поползновения подобного рода. Приговор Боголюбову ещё не вступил в законную силу, а сам осуждённый подал кассационную жалобу и продолжал содержаться в Доме предварительного заключения. 13 июля 1877 года в тюрьму прибыл столичный градоначальник генерал-адъютант Фёдор Фёдорович Трепов. Градоначальник обнаружил отсутствие элементарного порядка при содержании под стражей политических заключённых: арестованные по одному делу вместе гуляли по тюремному двору, что было строжайше запрещено. Трепов выразил бурное возмущение. Боголюбов осмелился ему возразить: «А я по другому делу»[215]. Это взбесило генерала, и он распорядился заключить Боголюбова в карцер. Однако тюремное начальство замешкалось с выполнением генеральского приказа — и Боголюбов продолжал гулять по тюремному двору, где вновь столкнулся с генералом. При встрече с начальством заключённые были обязаны снимать шапки, что Боголюбов сделал при первой встрече с градоначальником, однако при новой встрече

Боголюбов не стал обнажать голову.

«И тут раздражительно настроенному генералу показалось крайним оскорблением для себя то, что Боголюбов — мерзавец, каторжник — не поклонился ему при встрече и не снял шапки. А Боголюбову, вероятно, представлялось достаточным один раз поклониться и один раз снять шапку, что было сделано несколько минут назад. „В карцер! Шапку долой!“ — закричал Трепов и замахнулся, чтобы сбить шапку с головы Боголюбова. Тот отпрянул, шапка упала. Видевшие эту сцену из окон заключённые решили, что генерал ударил Боголюбова по лицу. В ту же секунду начался тюремный бунт. Сотни людей в бешенстве колотили в стены, ломали мебель, орали: „Палач! Подлец Трепов! Вон подлеца!“, бросали вниз, во двор, всё, что могло пролезть сквозь решетки. В ответ Трепов распорядился: Боголюбова выпороть»[216].

Боголюбова высекли: он получил 25 розог. По тем меркам подобное наказание выглядело едва ли не отеческим внушением: так наказывали провинившихся школьников или кадет, а николаевским солдатам редко давали менее 200 розог, одному солдату за плохо пришитую пуговицу дали 500 розог. Подполковник Михаил Юльевич Ашенбреннер (1842–1926), член военной организации «Народной воли», вспоминая о своей учёбе в кадетском корпусе, подробно написал и о практиковавшихся там телесных наказаниях: «В 1853 году я поступил в I Московский кадетский корпус, который тогда, подобно школе кантонистов, — был „палочной академией“. Ротный командир Сумернов мне сделал такое напутствие: „Помни, у меня всякая вина виновата. За ослушание, дурное поведение и единички высекут: будь у тебя семь пядей во лбу, а виноват — значит марш в „чикауз“ (искажённое от „экзерциргауз“ — крытое помещение для военных упражнений в холодную и ненастную погоду, манеж. — *С. Э.*); у меня правило: помни день субботний“. По субботам водили в „чикауз“ человек 20–30. Одних пороли, другие назидались. Малышам давали до 25 ударов, подросткам до 50, а взрослым до 100»[217]. Генерал Трепов был человеком прошедшей, Николаевской эпохи, и в его системе координат порка Боголюбова не выглядела истязанием — ни физическим, ни нравственным.

Однако времена изменились. В эпоху Великих реформ телесные наказания были отменены и сохранились лишь для осуждённых. Боголюбов был осуждён, но приговор ещё не вступил в силу, поэтому распоряжение Трепова было не вполне законно. «Новые люди», многие из которых были детьми крепостных, крайне болезненно относились не столько к тяжести физического

истязания, сколько к унизительности самого факта порки. А сделавший блестящую карьеру генерал-адъютант Трепов начал свою службу простым солдатом и, последовательно поднимаясь по ступеням служебной лестницы, сумел дослужиться до высших чинов. Иерархическое чинопочитание вошло в его плоть и кровь, а представления о чувстве собственного достоинства, присущем любому человеку, даже осуждённому, у него не было вовсе. Градоначальник сформировался в иную эпоху. Столкнулись два мира, два представления о человеческой личности. Понять друг друга они не могли — могли только уничтожить друг друга.

24 января 1878 года нигилистка Вера Ивановна Засулич, дочь капитана, не имевшая никакого отношения к выпоротому Боголюбову и даже не знакомая с ним, в приёмной градоначальника выстрелила в Трепова из револьвера и нанесла ему очень тяжёлую рану. *«Она не смогла вытерпеть надругательства над другим.* О, если бы все, если бы каждый так страдал!»[218] 31 марта 1878 года суд присяжных оправдал Веру Засулич, и она благополучно скрылась и эмигрировала в Швейцарию. Генерал Трепов остался жив, но пулю из тела извлечь так и не удалось, и вплоть до своей смерти в 1889 году Фёдор Фёдорович постоянно терпел мучительные боли. В течение нескольких дней весь Петербург обсуждал решение суда. Общественное мнение было на стороне террористки. Большинство петербуржцев, в том числе, как утверждает военный министр Милютин, «многие дамы высшего общества и сановники», не говоря уже об интеллигенции, — все они бурно рукоплескали решению суда, и лишь очень немногие «скорбели о подобном направлении общественного мнения»[219]. Вдумаемся в парадоксальность ситуации. Генерал-адъютант государя получил тяжёлое огнестрельное ранение и только по счастливой случайности не был убит. Однако ему никто не сочувствовал. Даже люди одного с ним круга выразили Трепову своё порицание за злополучную порку, хотя огнестрельное ранение, полученное градоначальником при исполнении служебных обязанностей, по своей тяжести не шло ни в какое сравнение с физическими последствиями экзекуции Боголюбова. В действиях Трепова увидели лишь одно — «произвол и самодурство администрации»[220], испокон веку привыкшей игнорировать человеческую личность и человеческое достоинство. Все, даже очень благонамеренные люди, в своей жизни не раз и не два сталкивались с этим произволом и с этим самодурством, поэтому не только русская интеллигенция, но и светское общество сочувствовали любому протесту, не исключая и такого чудовищного эксцесса, как покушение на убийство высшего

должностного лица Российской империи.

«Откуда же эта непобедимая боль, эта *невозможность примириться?*»[221] Этот вопрос автор «Нетерпения» задаёт самому себе и начинает поиск ответа, рассчитывая на содействие умного читателя, живущего интересами сегодняшнего дня, но не замыкающегося в скорлупе сиюминутных проблем, интересующегося историей и способного к ассоциативному мышлению.

«Нетерпение» — книга о людях, для которых чувство собственного достоинства было не только самодостаточной, но абсолютной ценностью. Любое попрание этого чувства они расценивали как оскорбление, которое можно было смыть только кровью, и именно отсюда произрастали не только *нетерпение* народовольцев, но и их *нетерпимость* — столь характерная для них и отмеченная Трифоновым *«невозможность примириться».* Анатомируя взаимную нетерпимость власти и русской интеллигенции, Юрий Трифонов обратил свой взгляд туда, куда принципиально не желали смотреть шестидесятники как XIX, так и XX века. В течение веков Левиафан российской государственности применял насилие над личностью. «Новые люди» не желали терпеть то, что молчаливо терпели поколения их предков. Борясь против тех, кто попирал человеческую личность и человеческое достоинство, они сами, в свою очередь, совершали чудовищное насилие над личностью, не желая считаться с мнением тех, кто не разделял их «особое *террористическое настроение*»[222].

У Андрея Желябова могло быть блистательное будущее. Он мог окончить университет, стать юристом и трудиться на благо новой России. Обстоятельства времени и места открывали Желябову и таким, как он, широчайшие возможности цивилизаторской деятельности, о которых не могли даже мечтать их отцы и деды. И какими бы унизительными и омерзительными ни казались ему реалии современной действительности, бег времени продолжался, и перед «новыми людьми» были открыты новые пути: в них нуждались государственный аппарат, земские учреждения и уже вступившее на путь промышленного переворота российское предпринимательство. Вместо этой созидательной деятельности наиболее радикальные из их числа оставляли вокруг себя выжженную землю. Речь идёт не только о случайных жертвах террористической деятельности «Народной воли», но и о сломанных судьбах их родных, друзей и просто людей, оказавшихся в их окружении и вовлечённых в их орбиту. У Андрея Желябова была семья: любящая жена Ольга и маленький сын Андрей. Тесть Семён Яхненко — дворянин, состоятельный

человек, гласный думы и член городской управы Одессы — был человеком по-настоящему широких взглядов: он без всякого предубеждения отнёсся к тому, что его дочь вышла замуж за сына бывших дворовых. Видный земский деятель Яхненко, не разделяя революционных идей зятя, глубоко его уважал и считал человеком незаурядным. Яхненко ненавидел очень многое из того, что ненавидел народоволец Желябов. «Но выводы из этой ненависти они делают разные»[223]. Земский деятель Яхненко уповал на медленное, постепенное развитие и не гнушался заниматься реальными делами: постройкой сиротского дома, ремонтом набережных, назначением мировых судей. Желябов всё это считал каплей в море, которую народ даже не заметит. Тесть возражал: «но если такую каплю во благо народа будет отдавать каждый…»[224] Точку в этом споре поставила жизнь. После казни Желябова его тесть не вынес потрясения и скоропостижно скончался от удара. С семьёй Яхненко никто не хотел иметь никаких дел, и прекрасная, культурная, деятельная семья разорилась. Ольга Семёновна очень нуждалась и едва ли не нищенствовала, есть намёки, что она побиралась. Автор «Нетерпения» специально акцентирует внимание читателя на этой трагедии: информация о ней даётся от лица музы истории Клио и графически выделяется в тексте курсивом. А ведь всё могло быть иначе. Трифонов пишет, что Семён Яхненко с горечью говорил про зятя: «Ведь в любой стране с его умом, ораторским дарованьем он стал бы членом парламента, министром. А у нас? Загонят куда-нибудь за Можай, в ссылку и будет там гнить…»[225] Ничего несбыточного в этих прогнозах не было. Спустя четверть века после гибели Александра II Россия обрела парламент, и Андрей Иванович Желябов, если бы занимался легальной деятельностью, вполне мог стать его членом.

Под «карету истории» попала не только семья цареубийцы Желябова. Её колёсами была без всяких сантиментов раздавлена просвещённая семья доктора и доцента Харьковского университета Осипа Семёновича Сыцянко. Доктор Сыцянко, на десятилетия опередивший своё время, занимался электротерапией и содержал электролечебное заведение. Консервативная публика отнеслась к его методам лечения настороженно, и доктор никак не мог свести концы с концами. Он был человеком передовых взглядов, в его доме всегда было много молодёжи, товарищей его детей. Его сын Александр, оказавшийся на периферии революционного движения, согласился спрятать в принадлежащем отцу флигеле орудия неудавшегося покушения на Александра II: бур, батарею, спираль, кинжалы, револьверы, провод. Через три дня в дом пришли с обыском. О том, что

произошло дальше, автор говорит от лица Александра Сыцянко. Так в «Нетерпении» появляется «ещё один забытый голос»: «И всё покатилось, всё рухнуло, жизнь наша переломилась навсегда. Арестовали отца, меня, сестёр, всех наших по очереди… Год нас терзали. Сначала держались бодро, потом стали выбалтывать. И даже кузенов притянули к следствию, мальчишек, запугали до слёз, и они тоже выложили всё, что знали… Семнадцать лет! Сначала Верхоленский округ, потом Киренский, потом опять Верхоленский. Отец был оправдан, но не вынес горя и вскоре умер. Сестра Маша поехала за мной в Сибирь»[226]. На этом хождение по мукам Александра Сыцянко не закончилось: в феврале 1898 года он, после отбытия наказания примкнувший к эсерам и вновь арестованный, повесился в своей одиночной камере, не выдержав подозрения в предательстве, инспирированного полицией. Кто сосчитает точное число подобных жертв?! Взаимная нетерпимость привела к тому, что в огне взаимного истребления бесцельно сгорали люди, которые могли стать той самой новой Россией, которую они так нетерпеливо жаждали увидеть.

На страницах «Нетерпения» звучат голоса не только пламенных революционеров или их антагонистов, что было делом вполне обычным для советского исторического романа, но раздаются и голоса тех, кого принципиально предпочитали не замечать шестидесятники как XIX, так и XX столетий. Ни для тех, ни для других шестидесятников обыватель просто не существовал. Они его презирали и осуждали, не утруждая себя пониманием его точки зрения. Само это слово «обыватель» и его синонимы «мешанин» и «филистер» всегда употреблялись исключительно в пренебрежительном контексте. Трифонов был единственным советским писателем, осмелившимся пойти против сложившейся в русской культуре традиции и запечатлеть обывательский взгляд на события, который под его пером предстаёт как взгляд людей, *претерпевающих историю* и осознанно не желающих попасть в число её жертв.

Судя по всему, Юрий Валентинович был хорошо знаком с текстом Нобелевской лекции, прочитанной Альбером Камю 10 декабря 1957 года в Стокгольме, и сознательно действовал в соответствии с изложенными в лекции принципами: «…Роль писателя неотделима от тяжких человеческих обязанностей. Он, по определению, не может сегодня быть слугою тех, кто делает историю, — напротив, он на службе у тех, кто её претерпевает. В противном случае ему грозят одиночество и отлучение от искусства. И всем армиям тирании с их миллионами воинов не под силу будет вырвать его из ада одиночества, даже если —

особенно если — он согласится идти с ними в ногу. <…> Поскольку призвание художника состоит в том, чтобы объединить возможно большее число людей, оно не может зиждиться на лжи и рабстве, которые повсюду, где они царят, лишь множат одиночества. Каковы бы ни были личные слабости писателя, благородство нашего ремесла вечно будет основываться на двух трудновыполнимых обязательствах — отказе лгать о том, что знаешь, и сопротивлении гнёту»[227]. Возможности легального сопротивления гнёту в СССР были сужены до предела. Трифонов отказался лгать о том, что он хорошо знал.

Шестидесятники XX века обывателя игнорировали, а советская идеология его осуждала. Обывателем называли человека с ограниченным кругозором, живущего мелкими, личными интересами. Такова была точка зрения официальной идеологии. Каковы же были эти мелкие, личные интересы?

Один из персонажей «Нетерпения», хороший, хотя и жадный врач-немец, хочет лишь одного — быть спокойным за собственную безопасность и безопасность своей семьи в переполненной революционерами Одессе. Противостояние власти и революционного подполья достигло апогея. Судят революционера Ивана Ковальского, во время ареста оказавшего вооружённое сопротивление, приговаривают к смертной казни. В это время его товарищи съезжаются в Одессу и готовятся поднять в городе восстание, чтобы помешать исполнению казни. «Знакомая доктора видела своими глазами, как с вокзала по Старопортофранковской шла целая толпа приезжих революционеров, они все были вооружены, по нескольку кинжалов и револьверов у каждого»[228]. Власть не дремлет и вводит в город войска, «три роты башкир и казачий полк»[229]. Дальнейшие события мы видим глазами доктора. «Крики, стрельба! <…> Он запретил домочадцам два дня выходить на улицу. <…> Всё-таки русская революция немножко wild und barbarisch (дикая и варварская. — *нем.):* эти разбойники с кинжалами, дети на баррикадах, казаки со своими длинными пиками. Убить невинного человека ничего не стоит. Два дня сидели дома, дрожали от страха, питались сыром и печеньем, это было мучительно. Страна, которая не может обеспечить покой своим гражданам, не имеет права причислять себя к европейским странам»[230].

Можно легко осудить доктора за узость взгляда. Но при каких обстоятельствах он произносит свою тираду! Несмотря на беспорядки в городе, доктор не стал уклоняться от исполнения своего профессионального долга и по жаре отправился на дальний хутор, чтобы оказать помощь умирающей женщине. Он

даже не догадывался, что умирающая от чахотки женщина, её муж и их гость Андрей Желябов имеют непосредственное отношение к революционному подполью. Ковальский был публично расстрелян, а уже через день революционеры нанесли ответный удар: Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский среди бела дня на Михайловской площади в центре Петербурга заколол кинжалом шефа жандармов генерал-адъютанта Николая Владимировича Мезенцева. Террорист благополучно скрылся с места преступления, нелегально эмигрировал, обосновался в Швейцарии и выпустил там памфлет «Смерть за смерть», в котором попытался теоретически обосновать право революционной партии на антиправительственный террор: «До тех же пор, пока вы будете упорствовать в сохранении теперешнего дикого бесправия, наш тайный суд, как меч Дамокла, будет вечно висеть над вашими головами, и смерть будет служить ответом на каждую вашу свирепость против нас».

Андрей Желябов считал себя вправе принести в жертву не только самого себя, но и своих близких. Если его тесть Яхненко предпочитал вести с зятем идейные споры о будущем России, не переходя на личности, то тёща Желябова вела себя иначе. И читатели «Нетерпения» получили возможность посмотреть на события её глазами: «Они семьи заводят, а жить семейно не могут. Разве это честно? Детей народят, и детьми не интересуются, не видят их месяцами, — дрожащим голосом, но всё более громко говорила тёща. — Деньги в дом не носят, трудиться не хотят и близких своих делают несчастными… Я проклинаю этих людей! Проклинаю, проклинаю!»[231] Подобный взгляд на людей, *претерпевающих историю*, шёл вразрез не только с системой ценностей шестидесятников, но и с советской идеологией. Однако новаторство Юрия Трифонова не было замечено, понято и оценено его современниками. Они не смогли дочерпать до дна всю глубину романа.

Итак, Россия больна. С этим никто не спорит. Но каков диагноз? Трифонов видит причину болезни не в отдалённых последствиях монголо-татарского ига или вековой экономической отсталости страны, не в кознях враждебного Запада, не в самодержавии или не изжитых до конца остатках крепостничества. Он пишет о том, о чём никто из его современников не подозревает. Узость взгляда на события, ограниченность кругозора, сектантство как способ мышления: стремление выдать свою одностороннюю точку зрения за единственно возможную, нежелание и неумение слушать тех, кто с ней не согласен; и, более того, непоколебимая убеждённость в том, что эта однобокая точка зрения — универсальна.

Ограниченность была присуща шестидесятникам XIX столетия, и шестидесятники XX века не смогли вырвать с корнем этот врождённый порок, этот первородный грех русской интеллигенции. Трифонов вновь поразил цель, которую никто не видел. Но его современники и на сей раз не заметили цели, в которую попал автор «Нетерпения», и этот первородный грех русской интеллигенции до сих пор не изжит образованным обществом.

Однако я не хотел бы винить во всём только русскую интеллигенцию. Это было бы слишком вульгарно. В болезни страны была виновата и власть, и долю вины власти, как и долю вины интеллигенции в этой болезни, ещё предстоит выяснить. Сейчас речь идёт о другом. «Всякий читавший Трифонова лично знаком с ним», — утверждает Ольга Романовна Трифонова (Мирошниченко). Эти слова вдовы писателя дают мне право рассказать о том, что произошло со мной летом 2013 года, когда я перечитывал «Нетерпение» и размышлял об описанном писателем методе исторического исследования. Вспомним, что герой повести «Другая жизнь» историк Сергей Троицкий «искал нити, соединявшие прошлое с ещё более далёким прошлым и с будущим»[232]. Свой метод Троицкий называл «разрыванием могил». Именно в процессе написания книги, которую вы сейчас держите в руках, мне довелось применить этот метод на практике и убедиться в его исключительной эффективности.

Глава 9
МАЙОР ПОЛИЦИИ, ИЛИ ВСТАВНАЯ НОВЕЛЛА

Уравнение с тремя неизвестными

22 мая 2013 года Григорий Анатольевич Леви, заместитель генерального директора «Русской антикварной галереи», предложил мне приехать в галерею и посмотреть на появившиеся там портреты двоих неизвестных русских офицеров — графический и живописный. В этот день дождь лил как из ведра, мы с коллегами по редакции готовили к сдаче в печать очередной номер «Родины», и счёт времени шёл на минуты, а через пару дней мне предстояло отправиться в отпуск: билеты на самолёт уже лежали в моём кармане. Казалось, всё было против того, чтобы принять это заманчивое предложение. Я уже собирался вежливо поблагодарить Григория Анатольевича и отказаться от встречи, но интуиция, которой я привык доверять, продиктовала мне иное решение, и спустя час я держал в руках и с нескрываемым восхищением разглядывал эти портреты. Казалось, я переместился не только в пространстве, но и во времени. Меня окружали красивые вещи позапрошлого столетия — живопись, графика, мебель и предметы материальной культуры. Всё располагало к тому, чтобы взяться за решение непростой задачи — попытаться установить имена неизвестных офицеров.

Мне предстояло решить уравнение с тремя неизвестными. На овальном живописном портрете, который я держал в руках, был изображён офицер в русском военном мундире. Портрет принадлежал кисти академика живописи Льва Степановича Игорева, был подписан художником и датирован 1874 годом. Но я не знал ни фамилии офицера, ни рода войск, к которому он принадлежал, ни его наград.

Последнее неизвестное казалось самым удивительным. На груди офицера одиноко располагалась светло-бронзовая медаль на Андреевской ленте. И хотя художник не стал подробно прорисовывать аверс (лицевую сторону) медали, я без труда определил эту награду, учреждённую в 1856 году в ознаменование окончания Крымской войны и по случаю коронации Александра II. Офицер был награждён светло-бронзовой медалью на Андреевской ленте «В память Восточной

войны 1853–1856»[233]. Медаль получал тот, кто находился в районе боевых действий во время войны, но не воевал против неприятеля с оружием в руках. Участники боёв награждались светло-бронзовой медалью на Георгиевской ленте, эта медаль считалась выше предыдущей и ценилась дороже. Медаль на Андреевской ленте выдавалась всем, кто был награждён серебряной медалью «За защиту Севастополя». На портрете генерала Александра Семёновича Ковалевского, принимавшего участие в боях во время Крымской войны, мы видим две медали: одну серебряную на Георгиевской ленте «За защиту Севастополя», другую на Андреевской ленте «В память Восточной войны 1853–1856». У неизвестного офицера имелась лишь одна медаль. И всё. Никаких орденов или иных знаков отличия не было. Даже заурядного ордена Святого Станислава 3-й степени, которым был награждён никчёмный чиновник — персонаж картины Павла Андреевича Федотова «Свежий кавалер». И это выглядело странным: портретируемому было не менее сорока лет, на его породистом лице отчётливо просматривался второй подбородок, молодость уже прошла, а для славы или известности ещё ничего не было сделано. Во всяком случае, на груди офицера не было никаких наружных атрибутов признания его заслуг перед царём и отечеством — ни орденов, ни знаков отличия.

> Что ж? — Быть может, сатаны
> Он бежал приманок;
> Звёзды, ленты и чины
> Презрел спозаранок?[234]

На этот риторический вопрос, некогда сформулированный Денисом Давыдовым, я ответил отрицательно. Неизвестный офицер был явно старше «Свежего кавалера» и, казалось, подобно этому знаменитому персонажу давно уже должен был выслужить свой первый крестик. И чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие иных наград, кроме одинокой медали, он украсил свой мундир продетой в мундирную петлю массивной золотой цепочкой, к которой был прикреплён прямоугольный золотой брелок — либо футляр для хранения ключей, предназначенных для завода носимых на этой цепочке карманных часов, либо ладанка или медальон. Важно не функциональное назначение брелока. Существенно другое. Этот золотой брелок издали можно было принять за знак отличия. И я вспомнил героя рассказа Чехова «Лев и Солнце» — городского голову Степана Ивановича Куцына. «Куцын имел две медали, Станислава 3-й степени, знак Красного Креста и знак „Общества спасания на водах“, и кроме

того, он сделал себе ещё брелок (золотое ружьё и гитара, которые перекрещивались), и этот брелок, продетый в мундирную петлю, похож был издали на что-то особенное и прекрасно сходил за знак отличия. Известно же, что чем больше имеешь орденов и медалей, тем больше их хочется, — и городской голова давно уже желал получить персидский орден Льва и Солнца, желал страстно, безумно»[235]. Итак, даже у этого литературного героя было больше знаков отличия, чем у неизвестного офицера.

Однако офицер, судя по его портрету, не только не унывал по данному поводу, но был весьма доволен своим положением. Иначе зачем бы он стал заказывать художнику собственный портрет в парадном мундире, украшенном одной-единственной медалью?!

Живописец мастерски передал холёное лицо офицера, его умные и проницательные глаза, непреклонное спокойствие, которое нельзя сыграть и которое бывает лишь у людей, убеждённых в правильности собственной жизни, то есть у самодостаточных людей, уверенных в том, что их жизнь удалась, и желающих продемонстрировать свою убеждённость окружающим. Это было породистое лицо вельможи, а не самодовольное лицо парвеню — выскочки, упоённого сознанием собственной значимости. Его причёска и ухоженные бакенбарды напомнили мне великого князя Алексея Александровича, любителя красивых вещей, который считался образцом красоты, изящества и элегантности в Доме Романовых. Офицер явно подражал великому князю, даже стилизовал себя под августейшую особу. Стилизация была столь убедительной, что в какой-то момент я даже подумал о том, не является ли неизвестный внебрачным сыном одного из Романовых.

Офицер позиционировал себя как человека, принадлежавшего к хорошему обществу, но выглядело это несколько нарочито. У него не было той очаровательной небрежности в туалете, свойственной светскому человеку, зато была искусно замаскированная озабоченность тем, как воспримут и оценят его окружающие. Судя по всему, он не принадлежал к знатным и богатым представителям высшего света, но хотел произвести впечатление человека их круга. «Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырёх сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым»[236]. Неизвестный «подделывался». Светский человек никогда не украсил бы свой мундир такой массивной золотой цепочкой, счёл

бы это вульгарной демонстрацией достатка, простительной купцу-толстосуму, но не человеку света. Офицер явно переусердствовал, демонстрируя свою успешность, «что само по себе противоречило неписаным нормам хорошего тона и было vulgar»[237].

Щеголеватый мундир сидел на офицере как влитой. Так мог пошить лишь искусный столичный портной, привыкший обшивать офицеров лейб-гвардии. В провинции так шить не умели. Вспомним «Героя нашего времени». «Они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввёл их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись»[238]. Армейские эполеты имели цветное поле и цветной корешок, что тотчас отличало армейского офицера от офицера лейб-гвардии. Поле и корешок гвардейских эполет целиком были золотыми или серебряными — в зависимости от цвета приборного металла, присвоенного тому или иному гвардейскому полку. При виде этого неизвестного офицера степные помещики из романа Лермонтова вряд ли стали бы отворачиваться. Всё качественное, дорогостоящее и очень достойное. Серебряный узор шитья на воротнике мундира и великолепные серебряные эполеты, явно приобретённые в дорогом столичном магазине офицерских вещей, не могли принадлежать армейцу. Неизвестный офицер не мог служить ни в армейской кавалерии, ни в армейской пехоте. Поле и корешок его эполет были из серебра.

Эполеты портретируемого офицера имели тонкую серебряную бахрому, свидетельствующую о его штаб-офицерском достоинстве, а две золотые звёздочки позволяли точно определить чин. Перед нами был майор. Бахрома дорогих эполет, изготовленная из очень качественной серебряной канители, была столь густой и роскошной, что эти штаб-офицерские эполеты можно было ошибочно принять за генеральские, на что, вероятно, и рассчитывал их обладатель. Итак, перед нами был майор. Ни в гвардии, ни в Генеральном штабе, ни в специальных войсках чина майора в 1874 году не было. Серебряное шитьё воротника чем-то напоминало шитьё офицеров Генерального штаба, но у портретируемого офицера не было «учёного» серебряного аксельбанта, присвоенного всем офицерам Генерального штаба. Майорский чин офицера и отсутствие у него аксельбанта — любого из этих условий было достаточно, чтобы сразу же избавить меня от соблазна причислить неизвестного офицера к генштабистам. И я не стал подгонять решение задачи под желаемый ответ. Среди офицеров Морского министерства были майоры из числа военных чиновников, состоящих по

Адмиралтейству, а также офицеров корпуса флотских штурманов или офицеров ластовых рот, однако узор их мундирного шитья не имел ничего общего с шитьём, изображённым на портрете. В самый раз было воскликнуть вместе с резонёрствующим Чацким:

> Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
> Когда-то укрывал, расшитый и красивый.
> Их слабодушие, рассудка нищету…[239]

Кому же принадлежал этот «расшитый и красивый» мундир? Его обладатель не был армейским пехотинцем или армейским кавалеристом, не служил в Генеральном штабе или специальных войсках, не принадлежал к чинам лейб-гвардии и не имел никакого отношения к Морскому министерству. И при всех этих разнообразных «не» на неизвестном офицере был однобортный русский военный мундир, в 1872 году пришедший на смену мундиру двубортному.

Ответ оказался неожиданным. В 1867 году серебряное шитьё, которое запечатлел художник Игорев на портрете неизвестного майора, было присвоено полицмейстеру, начальнику полицейского резерва и 38 участковым приставам Санкт-Петербургской полиции[240]. Указ подписал император Александр II, однако шитьё было выполнено по рисунку, некогда утверждённому ещё императором Александром I. Вот почему мундирное шитьё офицеров столичной полиции имело несомненное стилистическое единство с шитьём офицеров Генерального штаба: и то и другое было осуществлено по рисункам самого Александра I. Итак, ещё одно неизвестное было найдено. Я получил точку опоры для дальнейших изысканий. Впору было задуматься над логистикой последующих исследований. Неизвестный майор служил в Санкт-Петербургской полиции и, скорее всего, был одним из участковых приставов, ибо столичные полицмейстеры имели чин полковника. Не был он и рядовым офицером полиции, например, помощником пристава, ибо полицейские офицеры, состоявшие в военных чинах и продолжавшие числиться по армейской кавалерии или пехоте, имели иное мундирное шитьё — более скромное и традиционное, отличное от запечатлённого на портрете. Но как было узнать фамилии всех майоров, служивших в 1874 году в рядах столичной полиции?

Я обратился к «Справочной книжке Санкт-Петербургского градоначальства и городской полиции». Это официальное ежемесячное издание позволило с исчерпывающей полнотой ответить на поставленный вопрос. В «Справочной книжке»

указывались фамилии, имена и отчества и чины всех военных и гражданских чиновников столичной полиции. Сообщалось, с какого момента состоит в должности тот или иной чиновник и когда именно он получил свой чин. Оставалось лишь просмотреть годовой комплект «Справочной книжки» за 1874 год и выписать из неё фамилии всех майоров. К сожалению, ничего не говорилось об имеющихся у них знаках отличия, что существенно усложнило решение задачи по идентификации неизвестного офицера. Чтобы получить представление о знаках отличия полицейских офицеров, надлежало обратиться к другому официальному справочнику — «Спискам штаб-офицерам по старшинству».

Первый градоначальник

Вся столичная полиция подчинялась Санкт-Петербургскому градоначальнику генерал-адъютанту и генерал-лейтенанту Фёдору Фёдоровичу Трепову. «Полиция в столице составляла целую иерархическую лестницу, во главе которой стоял градоначальник. Далее следовали (в каждой части) — полицмейстер, пристав, помощники пристава, околоточные, квартальные и постовые городовые. В обязанности домовладельцев, старших дворников и швейцаров входило содействие полиции в выявлении и пресечении правонарушений»[241]. Генерал Трепов был полицейским высочайшего класса. За весь Петербургский, или Императорский, период истории России во главе столичной полиции никогда не стоял человек, обладавший таким уникальным опытом службы именно в полиции. В 1860–1861 годах Фёдор Фёдорович, тогда ещё в чине полковника, был Варшавским обер-полицмейстером, где прекрасно себя проявил и пошёл на повышение. В 1863–1865 годах генерал-майор Трепов был генерал-полицмейстером Царства Польского. Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин в комплиментарных выражениях вспоминал о службе генерала в этом мятежном крае. «Особенно содействовало успешной борьбе с остатками крамолы прибытие в Варшаву генерал-майора Трепова, назначенного начальником III округа Корпуса жандармов, человека, известного замечательной энергией, деятельностью и уже близко знакомого с местными условиями края»[242]. Николай Алексеевич Милютин, брат военного министра и статс-секретарь по делам Царства Польского, из всех лиц коронной администрации в Варшаве одного лишь Трепова находил человеком полезным и дельным.

«Без него была бы безалаберность полная»[243]. Мятежники его ненавидели и приговорили к смерти. «С самого приезда своего в Варшаву он уже был обречён на смерть подпольным Жондом; несмотря на то, он продолжал ездить по городу один, без конвоя и каждое утро имел обыкновение ходить пешком с дочерью из Брюлевского дворца в православный собор молиться за упокой души недавно скончавшейся супруги. 21 октября [1863 года] в 9 часов утра пятеро негодяев подстерегли его в Сенаторской улице, один из них бросился на Трепова с намерением нанести удар топором по голове. К счастью, топор скользнул и только задел немного ухо. Трепов, обернувшись, схватил злодея за ворот, вырвал из его рук топор и нанёс ему три раны. Проходившие в это время офицер и писарь помогли Трепову задержать злодея; другие сообщники последнего убежали, побросав свои кинжалы; но один из них также был вскоре арестован. Все они оказались ремесленниками, завербованными подпольным Жондом. Оба захваченные были по приговору суда повешены 31 октября на Театральной площади, близ самого места происшествия»[244].

После неудачного покушения Дмитрия Каракозова на жизнь императора Александра II, совершённого 4 апреля 1866 года, генерал Трепов — «человек с характером и энергией»[245] — был вызван в Санкт-Петербург и назначен на пост обер-полицмейстера. Ему установили беспримерно высокое жалованье — 18 033 рубля 70 копеек в год, которое складывалось из 16 033 рублей 70 копеек денежного содержания и 2000 рублей ежегодной аренды. В это же время даже военный министр генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин получал меньше — 15 тысяч рублей в год: 12 тысяч рублей содержания и 3 тысячи рублей аренды. Именно Трепов провёл реформу столичной полиции и заметно обновил её офицерский корпус за счёт привлечения на эту службу энергичных войсковых офицеров, большинство которых он знал лично по предыдущей службе. Военный министр Милютин высоко оценил умение Трепова разбираться в людях. Генерал ещё в свою бытность в Царстве Польском, сосредоточивая местную власть в одних руках и добиваясь единства и энергии в распоряжениях, смело выдвигал на административные посты молодых офицеров: «…большей частью они оказались людьми дельными и благонамеренными»[246].

Доселе служба в полиции не пользовалась уважением ни в глазах власти, ни в глазах городских обывателей. Считалось, что сюда идут служить исключительно ради наживы. Даже официальный историк столичной полиции был вынужден признать, что «люди, имеющие средства к жизни, в должность

пристава или надзирателя не шли, а люди, лишённые собственных способов существования, принимая подобную должность, вынуждены были искать в ней других доходов, кроме жалованья»[247]. Вот почему в полиции было так много, с одной стороны, заслуженных и увечных штаб- и обер-офицеров, с другой — офицеров, проштрафившихся и выгнанных из полков за предосудительные поступки. И те и другие шли сюда ради «безгрешных доходов». Справедливости ради надо сказать, что жалованье офицеров полиции до прихода туда Трепова было очень низким и не обеспечивало офицерам и их семьям даже минимальный прожиточный уровень в таком дорогом городе, как Санкт-Петербург.

Генералу Трепову удалось переломить эту ситуацию. 27 июня 1867 года император Александр II утвердил новый штат столичной полиции. В том же году, как мы помним, полицмейстер, начальник полицейского резерва и участковые приставы получили весьма эффектное серебряное шитье на воротник и обшлага мундира. Мундир участкового пристава стал не менее элегантным, чем мундир гвардейца. «Пристава — это уже полубоги; вид у них, по меньшей мере, фельдмаршальский, а апломба, красоты в жестах!..» — писал Сергей Рудольфович Минцлов, оставивший интересные воспоминания о Петербурге начала минувшего столетия[248]. На содержании полиции стали выделять 910 439 рублей в год, из которых лишь 150 тысяч ассигновывало Государственное казначейство, а остальные деньги давал город. Должность участкового пристава была отнесена к VII классу Табели о рангах. Это означало, что беспорочно служивший пристав мог дослужиться до чина подполковника и уйти в отставку полковником. Ежегодно 1/5 часть, то есть 20 процентов личного состава офицеров полиции могли быть представлены к награждению чинами или орденами. Иными словами, каждый офицер раз в пять лет мог быть награждён либо чином, либо орденом. Торжествовал прагматизм. Офицеры полиции предпочитали за отличие по службе получить очередную звёздочку на эполеты, а с ней и прибавку к жалованью, а не орден. Более высокий чин позволял претендовать на более высокую должность, с которой было сопряжено соответствующее жалованье. Вот почему среди участковых приставов, состоявших в солидных штаб-офицерских чинах, было несколько человек, так и не получивших ни одного ордена. Неизвестный офицер принадлежал к их числу. Приставу полагалось годовое жалованье 1400 рублей и 700 рублей столовых. Это были очень достойные деньги, 2100 рублей серебром в год, а ведь помимо этих денег приставу полагалась ещё и бесплатная казённая квартира на

территории его участка. Должность помощника пристава была отнесена к VIII классу Табели о рангах, и помощник в чине майора получал 1200 рублей серебром в год. Армейским офицерам такие деньги и не снились. Итак, благодаря попечению генерала Трепова жалованье офицеров полиции было увеличено в несколько раз, не забыли и о рядовых полицейских.

После 1866 года, когда Фёдор Фёдорович стал столичным обер-полицмейстером, в городской полиции появилось много новых лиц. Это был самый настоящий «треповский призыв» — войсковые офицеры в обер-офицерских чинах, каждый из которых прослужил в строю не менее шести лет. Так, например, Людомир Карлович Бирон, потомок знатного курляндского рода, один из участковых приставов, получивших в 1874 году чин майора, до перехода в полицию в течение трёх лет и шести месяцев командовал ротой. Бирон участвовал в кампании 1863–1864 годов по подавлению мятежа в Царстве Польском, в 1867 году был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени, а в 1874-м получил уже упоминавшийся выше персидский орден Льва и Солнца. Людомир Карлович прослужит в Санкт-Петербургской полиции 14 лет, 22 августа 1882 года станет начальником полицейского резерва, а 11 октября 1884-го — полицмейстером[249]. Бирон дослужится до чина генерал-лейтенанта и в 1910 году упокоится на Волковском лютеранском кладбище. К числу треповских выдвиженцев принадлежал и всем хорошо известный по детективам и сериалам «гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Трепова не смутили ни имевшийся в тот момент у Путилина скромный чин титулярного советника (IX класс Табели о рангах, соответствовал армейскому капитану), ни молодость чиновника. 31 декабря 1866 года столичный обер-полицмейстер назначил 33-летнего Ивана Дмитриевича начальником Сыскной полиции Санкт-Петербурга (сначала — временно исполняющим обязанности, а через восемь месяцев утвердил в должности). Уже 6 декабря 1874 года, спустя всего-навсего восемь лет, Путилину был пожалован чин действительного статского советника (IV класс Табели о рангах, соответствовал чину генерал-майора). «Начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин был одной из тех даровитых личностей, которых умел искусно выбирать и не менее искусно держать в руках старый петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов», — гласит авторитетное свидетельство Анатолия Фёдоровича Кони.

«О бедном майоре замолвите слово»

В 1874 году, когда был написан портрет, в штате столичной полиции значилось свыше 30 майоров. Этот год был исключительно «урожайным» для офицеров полиции: в течение года наблюдалось их заметное продвижение по лестнице чинов. Четыре майора стали подполковниками, а несколько капитанов и ротмистров были произведены в майоры. В процессе идентификации персонажа портрета мной по официальным «Спискам штаб-офицерам по старшинству» было проверено 35 офицеров столичной полиции. Проверялись не только те, кто уже имел майорский чин в 1874 году или получил его в течение этого года, но и все майоры, которые в течение этого времени были произведены в подполковники[250]. В результате проверки были отвергнуты офицеры, награждённые по состоянию на 1874 год российскими или иностранными орденами. В итоге была выделена подгруппа из шести майоров, не имевших никаких орденов. Затем были отведены три майора, хотя и служившие в полиции, но не занимавшие штатные должности участковых приставов (им было присвоено иное шитьё на воротнике и обшлагах). После этого была проведена проверка формулярных списков, которая позволила решить уравнение с тремя неизвестными и установить имя офицера, награждённого светло-бронзовой медалью на Андреевской ленте «В память Восточной войны 1853–1856».

Им оказался дворянин Полтавской губернии Николай Александрович Кулябко, 1831 года рождения. Его формулярный список[251] гласит, что 15 августа 1842 года Кулябко поступил в Петровский Полтавский корпус, из которого 10 августа 1850 года был переведён в Дворянский полк. (В 1855 году, в память первого шефа, цесаревича Константина Павловича, Дворянский полк был переименован в Константиновский кадетский корпус, а в 1859 году преобразован в Константиновское военное училище.) В то время размещённые в провинции кадетские корпуса давали лишь начальную военную подготовку и не имели права представлять своих воспитанников к производству в офицеры, поэтому воспитанников «для окончания наук» переводили в расположенный в Петербурге Дворянский полк. Спустя три года Кулябко окончил обучение в Дворянском полку и был произведён в офицеры армейской кавалерии, что свидетельствует о достаточном состоянии его родителей. Службу в кавалерии могли себе позволить лишь обеспеченные дворяне, ибо недешёвые кавалерийские лошади и амуниция приобретались офицерами за свой счёт. Одной-единственной лошадью обойтись было невозможно, а надеяться купить за офицерское жалованье хотя бы одну приличную верховую лошадь было вещью несбыточной. На

службе в офицерских чинах Кулябко находился с 26 июня 1853 года (корнет Кирасирского Военного ордена полка). 4 ноября 1854 года корнета перевели в Новороссийский кантонистский дивизион, который хотя и не принимал участия в боях с союзниками во время Восточной (Крымской) войны, дислоцировался на территории, объявленной на военном положении. Поэтому после окончания кампании корнет Кулябко был награждён светло-бронзовой медалью на Андреевской ленте «В память Восточной войны 1853–1856». Корнет не имел боевого опыта, но очень рано приобрёл опыт административный: в этом невысоком чине в течение продолжительного времени управлял волостью — административной частью уезда — и проживавшими там кантонистами, и казёнными крестьянами. К этому времени он уже женился на Анне Николаевне Панаевой, дочери генерал-майора. Это был брак по любви: у тестя-генерала было 13 детей, но не было состояния[252]. Рассчитывать на приданое не приходилось. Не приходилось питать надежду и на связи Николая Ивановича Панаева. Хотя Панаев и был товарищем детских игр великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I, это обстоятельство никак не сказалось ни на карьере самого Николая Ивановича, ни на благосостоянии его семьи. Семья была прекрасно осведомлена о причинах многолетней царской немилости. Панаев, в те поры молодой инженерный подполковник, проявил мужество, хладнокровие, изобретательность и находчивость во время бунта военных поселений в 1831 году[253]. Но он же стал невольным свидетелем кратковременного смятения государя, лично явившегося к бунтовщикам. Первоначально император отказал принять хлеб-соль из рук поселенцев. Это вызвало недовольство толпы — и царь, справедливо опасаясь весьма вероятного кровавого эксцесса, уступил. «Николай никогда не прощал Панаеву то, что он видел его в минуту слабости, видел его побледневшим в соборе, когда начался глухой ропот. Панаев был свидетелем, как Николай, смешавшись, уступил и отломил кусок кренделя. Он не давал никакого хода человеку, который себя, в его смысле, вёл с таким героизмом. Панаев умер генерал-майором, занимая место коменданта, кажется, в Киеве»[254]. Панаев, в возрасте тридцати четырёх лет получивший чин полковника, затем в течение двух десятилетий ожидал производства в генералы. Многочисленное генеральское семейство имело достаточно веские основания сомневаться в справедливости утверждения «За Богом молитва, а за Царём служба — не пропадёт!». За неимением у новобрачной приданого корнету Кулябко пришлось довольствоваться печальным жизненным опытом семейства Панаевых.

18 сентября 1856 года у молодой четы родилась дочь Антонина[255]. 29 июля 1859-го корнета произвели в поручики, а 2 января 1861-го — в штабс-ротмистры. Обретя этот обер-офицерский чин, Николай Александрович Кулябко круто изменил траекторию своей жизни, благо обстоятельства времени и места этому способствовали. Началась эпоха Великих реформ. В Российской империи отменили крепостное право. «Распалась цепь великая…» Доходы даже состоятельных помещиков ощутимо сократились, и штабс-ротмистру впору было задуматься о будущем — своём собственном и своей семьи. Николай Александрович принял неординарное решение. 6 октября 1862 года он перевёлся в штат Санкт-Петербургской полиции с оставлением по армейской кавалерии. Две недели спустя штабс-ротмистра прикомандировали к 3-й Адмиралтейской части, и он начал осваивать азы службы в полиции, постепенно поднимаясь по административной лестнице и отнюдь не перескакивая через её ступеньки: вначале помощник, затем — старший помощник квартального надзирателя, наконец — квартальный надзиратель. Когда генерал-майор Трепов был назначен обер-полицмейстером, Кулябко уже успел приобрести необходимый опыт, что благотворно сказалось на его карьере. Трепов заметил расторопного и толкового офицера и стал продвигать его по службе. 5 ноября 1866 года штабс-ротмистр Кулябко был назначен приставом 2-го участка Рождественской части, а уже 19 февраля 1867 года за отличие по службе пожалован чином ротмистра. Последующие чины были даны ему также за отличие по службе. В майоры пристав Кулябко был произведён 17 апреля 1870 года, в подполковники — 27 июня 1875 года[256].

Можно предположить, что связи между академиком живописи Игоревым и майором Кулябко могли выходить за традиционные рамки взаимоотношений автора картины и заказчика. Дворянский род Кулябко, корни которого восходят к XVII веку, был внесён в VI часть родословных книг Полтавской и Саратовской губерний. Вот откуда у портретируемого офицера породистое лицо вельможи! Жизнь академика Игорева была тесно связана с Саратовом: в деревне под Саратовом он родился, в Саратове умер и был похоронен на кладбище Спасо-Преображенского мужского монастыря. Одна из сестёр художника, Мария, была замужем за Лебедевым, а майор Александр Егорович Лебедев в 1874 году занимал важный пост начальника резерва столичной полиции. Живописец вспоминал: «Я не был женат, потому собственно, что поздно посвятил себя искусству, которое было в душе моей выше всякой другой страсти, и потому, что имел на руках трёх сестёр девушек, не

имевших отца, а потом лишившихся и матери. Всех сестёр я выдал замуж, и сам остался старым, одиноким холостяком…»[257] Не исключено, что, устраивая замужество Марии, Лев Степанович и познакомился с малообщительным кругом офицеров полиции.

Генерал-адъютант Трепов смог привлечь в столичную полицию деловых офицеров, ему удалось добиться для них достойного жалованья, но даже он не смог изменить отношение образованного общества и городских обывателей к полицейским чинам. Офицеры полиции не принадлежали к так называемому хорошему обществу. Если армейский офицер покидал полк, чтобы перейти на службу в полицию или корпус жандармов, то полковые товарищи никогда не устраивали в его честь прощальный обед и отныне навсегда прекращали любые личные отношения с былым сослуживцем. «Полицейские чины в общество не приглашались. Даже сравнительно невзыскательный круг купцов Сенного рынка или жуликоватые торгаши Александровского рынка не звали в гости ни пристава, ни его помощников, а уж тем более околоточного. Если требовалось ублажить кого-нибудь из них, приглашали в ресторан или трактир, смотря по чину. Нередко за угощением „обделывались“ тёмные дела, вплоть до сокрытия преступления»[258]. Офицеры полиции представляли собой замкнутый мир. Вместе с Кулябко служил его младший брат Пётр (сначала помощник пристава, затем — пристав), в это же время в полиции Санкт-Петербурга в штаб-офицерских чинах служили и другие братья: графы Михаил и Александр Нироды, Людомир и Владимир Бироны. Чтобы получить заказ на написание портрета офицера столичной полиции, надо было быть вхожим в этот узкий круг и этот замкнутый мир. Вот почему портрет участкового пристава майора Кулябко — это едва ли не единственное живописное изображение офицера столичной полиции за более чем двухсотлетний период её существования, а может быть, и единственный за всю историю русской живописи портрет полицейского офицера.

Портрет написан в конце осени 1874 года, когда пристав сделал важную рокировку и перешёл служить из одного участка Петербургской части в другой. Петербургская часть обнимала острова: Петербургский, Аптекарский, Каменный, Крестовский и Елагин[259]. С 21 февраля 1873 года майор Кулябко был приставом 2-го участка Петербургской части (улица Большая Гребецкая, дом 28; затем — Большая Гребецкая, дом 20–22). По первому адресу располагалось здание Дворянского полка, из которого некогда был выпущен офицером Кулябко и где его хорошо помнили. Рядом находилось Юнкерское училище (Большая Гребецкая, дом 16). Участковый пристав постоянно

сталкивался с офицерами, которые были выше его чином и по сложившейся традиции презрительно относились к полицейским чинам. 25 октября 1874 года майор Кулябко стал приставом 4-го участка той же Петербургской части, получил казённую квартиру. Сначала она располагалась в здании участка (Большая Зеленина улица, дом 38), затем Николай Александрович улучшил свои жилищные условия и перебрался на остров Крестовский, где стал жить на Петербургской улице. Судя по всему, это был небольшой уютный деревянный домик с садом в тихой и живописной окраине города. Восторжествовал принцип: лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Отныне майору Кулябко уже не нужно было вставать по стойке «смирно» перед каждым офицером выше его чином. Он стал полновластным властителем в своём участке. И портрет кисти академика живописи запечатлел для потомства эту новую реальность.

22 апреля 1876 года уже подполковник Кулябко был назначен приставом 2-го участка Александро-Невской части. Это был центр столицы. Квартира пристава располагалась на Лиговке, 97. Можно лишь гадать, как бы сложилась дальнейшая судьба Николая Александровича Кулябко, но выстрел Веры Засулич, прозвучавший во вторник 24 января 1878-го и направленный в градоначальника Трепова, сказался на карьере почти всех полицейских офицеров «треповского призыва». После того, как в пятницу 31 марта 1878 года суд присяжных оправдал террористку, оскорблённый градоначальник подал в отставку, которая была принята государем. Фёдор Фёдорович Трепов навсегда покинул Петербург, для которого он сделал так много, и поселился в Киеве. «Трепов… был ранен пулею в левую сторону груди, и пуля по временам опускалась всё вниз, по направлению к мочевому пузырю, через что Трепов, в особенности в последние годы, чувствовал сильнейшие боли»[260]. А его ничтожный преемник, свиты ЕИВ генерал-майор Александр Елпидифорович Зуров, умел лишь критиковать действия первого столичного градоначальника и в течение одного года выжил из полиции или сместил с должности почти всех профессионалов, бережно взращённых Треповым.

30 августа 1879 года подполковник Кулябко был награждён орденом Святого Станислава 2-й степени, пожалованным ему за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах. Это был его первый и, как оказалось, единственный орден. Думаю, что Николай Александрович был весьма раздосадован, когда получил эту награду. Все без исключения генералы и офицеры военно-сухопутного ведомства, прослужившие беспорочно четверть века, «кои служили не менее одной кампании против неприятеля и

были, по крайней мере, в одном сражении»[261], награждались орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом и надписью *«25 лет»*. Подполковник Кулябко в сражениях не участвовал, поэтому вместо этого ордена получил «Станислава на шею» — награду менее престижную и на две ступени ниже «Владимира с бантом». Теперь неучастие солидного пристава в походах и боях против неприятеля становилось очевидным для каждого, кто разбирался в семантике российских знаков отличия. Но главные напасти были впереди. 1 декабря 1879 года подполковник Кулябко был отчислен от должности пристава. Нового назначения ему не предложили, и 10 декабря того же года он был отчислен от штата Санкт-Петербургской полиции с оставлением по армейской кавалерии. У Николая Александровича было семеро детей — пять дочерей и двое малолетних сыновей, причём лишь старшая дочь Антонина была в этот момент замужем. Надо было подумать об их будущем. Подполковник Кулябко покинул столицу и отправился в Костромскую губернию, где пошёл на понижение. С большим трудом получив назначение в провинции, Кулябко с весны 1880-го был вынужден довольствоваться постом исполняющего должность Юрьевецкого уездного исправника. О «расшитом и красивом» мундире пришлось забыть навсегда. Исправник — это начальник уездной полиции. О том, как низко котировался этот пост и из каких офицеров рекрутировались исправники, поведал Александр Иванович Куприн в рассказе «Тень Наполеона»: «Житейский лист его был очень ординарен. Гвардейская кавалерия. Долги. Армейская кавалерия. Карты. Таможенная стража. Скандал. Жандармский корпус. Провалился на экзамене. Последний этап — уездный исправник»[262].

Теперь лишь портрет кисти Игорева изредка напоминал Николаю Александровичу о былом великолепии. 27 февраля 1881 года исправника произвели в полковники и уволили в отставку *без мундира*[263]. Спустя два дня, 1 марта 1881-го, бомбой народовольцев был убит император Александр II. Ни генерала от кавалерии Трепова, ни полковника Кулябко в этот день в столице не было.

«И вы, мундиры голубые…»

Однако это ещё не конец моего повествования. Уравнение с тремя неизвестными было решено, загадка портрета неизвестного офицера — разгадана. Казалось, чего же боле?! Тем не менее моё расследование продолжалось. Временами я ощущал себя не историком, а сыщиком, стремящимся узнать о Николае

Александровиче Кулябко как можно больше и установить все его связи. Воспользуюсь удачным выражением Юрия Валентиновича Трифонова и скажу, что мне хотелось «дочерпать» сюжет до конца. Фамилия запечатлённого на портрете офицера была мне хорошо знакома. Эту фамилию носили несколько второстепенных участников русского освободительного движения, скорее всего, состоявших в отдалённом родстве со столичным приставом. И это отдалённое родство, эти компрометирующие полицейского офицера родственные связи с народниками могли роковым образом сказаться на его карьере.

Андрей Павлович Кулябко, дворянин Саратовской губернии, участник «хождения в народ». Он был арестован 31 мая 1874 года в Саратове в мастерской сапожного мастера Иоганна Пельконена и дал откровенные показания, раскрывшие деятельность этой мастерской. В мастерской находились склад революционных изданий и паспортное бюро; сама мастерская должна была служить центральным пунктом для пропагандистов Поволжья. Свидетель по «Процессу 193-х» или «Большому процессу» (официальное название — «Дело о пропаганде в Империи»). Это судебное дело революционеров-народников разбиралось в Санкт-Петербурге в Особом присутствии Правительствующего Сената с 18 октября 1877-го по 23 января 1878 года. К суду были привлечены участники «хождения в народ», арестованные за революционную пропаганду с 1873 по 1877 год.

Алексей Павлович Кулябко, дворянин Саратовской губернии. В 1874 году вошёл в пензенский революционный кружок молодёжи. Привлекался к дознанию по «Делу о пропаганде в Империи». По высочайшему повелению в феврале 1876 года дело о нём было разрешено в административном порядке с установлением негласного надзора.

Анна Николаевна Кулябко (по мужу Теплякова), дворянка Полтавской губернии. Дознанием по делу о расклейке прокламаций в апреле 1879 года в Кишинёве выяснилась её принадлежность к революционному кружку. На её, совместно с дочерью священника Пелагеей Патруевой, квартире происходили собрания кишинёвского кружка. По распоряжению одесского генерал-губернатора в июне 1879 года она была выслана в Восточную Сибирь и водворена в Енисейске. Постановлением Особого совещания 12 апреля 1882 года освобождена от надзора.

Николай Григорьевич Кулябко-Корецкий, дворянин Полтавской губернии. В начале 1870-х годов принимал участие в киевском революционном кружке. Осенью 1875 года жил в Кишинёве и занимался транспортировкой запрещённых книг в Россию. В том же году был привлечён к дознанию по обвинению в

перевозе из-за границы двух тюков с 4062 экземплярами газеты «Работник». Скрылся за границу. За границей был близок к одному из идеологов народничества Петру Лавровичу Лаврову и редактировал журнал «Вперёд». Вернулся в Россию, 17 мая 1879 года был арестован в Тифлисе и привлечён к дознанию по кишинёвскому делу 1875 года. По высочайшему повелению 2 июня 1880 года дело о нём было разрешено в административном порядке с вменением в наказание предварительного содержания под стражей и с подчинением особому надзору полиции на пять лет. Впоследствии писал статьи по экономическим вопросам; был статистиком в Полтаве; состоял секретарем Вольного экономического общества.

Итак, через несколько месяцев после выстрела Веры Засулич были арестованы и привлечены к дознанию два представителя полтавской ветви рода Кулябко. К этой же ветви принадлежал, как мы помним, и сам Николай Александрович Кулябко. Не исключено, что именно это обстоятельство и послужило формальным поводом для его удаления из штата Санкт-Петербургской полиции. Пристав Кулябко был человеком генерал-адъютанта Трепова, и новый столичный градоначальник генерал-майор Зуров, непрестанно критикующий действия своего предшественника, мог воспользоваться любым предлогом, чтобы избавиться от полицейского офицера «треповского призыва». А в этом конкретном случае, особенно учитывая непрекращающуюся охоту «Народной воли» на императора, основание для увольнения выглядело весьма убедительно.

Однако самое интересное открытие ожидало меня впереди.

В трагической смерти Петра Аркадьевича Столыпина, в смерти ставшей «точкой невозврата» в истории государства Российского, приведшей страну к катастрофе 1917 года, весьма двусмысленную роль сыграли четыре человека. Иногда их называют «великолепной четвёркой», иногда — «бандой четырёх». Перечислим их поимённо. Генерал-лейтенант Павел Григорьевич Курлов, товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, командир отдельного корпуса жандармов. Статский советник и камер-юнкер Митрофан Николаевич Веригин, вице-директор департамента полиции. Полковник отдельного корпуса жандармов Александр Иванович Спиридович, начальник дворцовой охранной агентуры. Подполковник отдельного корпуса жандармов Николай Николаевич Кулябко, начальник Киевского охранного отделения. Три из числа перечисленных носили «расшитый и красивый», украшенный серебряным аксельбантом голубой жандармский мундир. Четвёртый член «великолепной четвёрки» был старшим сыном пристава Санкт-Петербургской

полиции, запечатлённого кистью академика живописи Игорева на портрете из «Русской антикварной галереи».

Николай Николаевич Кулябко стяжал лавры Герострата: приобрёл постыдную известность и попал в историю. Он родился 23 мая 1873 года в Петербурге и был шестым ребёнком в семье, окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус и Павловское военное училище. Прослужив в полку всего-навсего три с половиной года, пошёл по стопам отца. В 1897 году стал помощником пристава Московской полиции, с 1903 года весьма успешно занимался политическим сыском и заслужил орден Святого Владимира 4-й степени — весьма почётную награду, которой не было у его отца. В октябре 1906-го стал начальником Киевского охранного отделения и дослужился до чина подполковника отдельного корпуса жандармов. Дмитрий Григорьевич Богров, убийца Петра Аркадьевича Столыпина, был его секретным сотрудником. Именно подполковник Кулябко выдал Богрову именной билет на торжественный спектакль в Киевском городском театре, где 1 сентября 1911 года злоумышленник беспрепятственно приблизился к председателю Совета министров и двумя выстрелами в упор смертельно ранил Столыпина. Подлинные причины гибели «русского Бисмарка» не раскрыты до сих пор и вызывают жаркие споры в среде исследователей. Одна из версий гласит, что убийство Столыпина — это результат заговора «голубых мундиров», дело рук высших полицейских чинов, к числу которых принадлежал и подполковник Кулябко. В 1911 году исполнилось пятьдесят лет со времени отмены крепостного права. Киев готовился к приезду царской семьи и торжественному открытию памятника Александру II Освободителю. По агентурным каналам поступила информация, что в Киеве может быть совершён террористический акт. «Складывается впечатление, что в предпраздничной суматохе Киевскому охранному отделению было недосуг заниматься анализом поступающей информации. Всё их рвение было направлено на подготовку торжеств… Далеко не последнюю роль играли, в частности, карьерные устремления наших „героев“. Один из чиновников департамента полиции, М. М. Прозоровский, в своих показаниях говорит о том, что Веригин давно вёл себя вызывающе и всем показывал, что он почти директор департамента, Курлов мечтал о должности министра внутренних дел, Спиридович — о должности градоначальника, а Кулябко — о службе в дворцовом ведомстве»[264]. О последнем я расскажу более подробно.

Ему было шесть лет, когда семья поспешно покинула столицу, и немногим менее восьми — в момент унизительной

отставки отца. Полагаю, что эти яркие и запоминающиеся драматические события роковым образом повлияли на формирование характера жандармского подполковника. Генетическая память о не сделавшем карьеру деде-генерале была усилена детскими воспоминаниями о крахе отцовской карьеры. Если же верны мои предположения о том, что крах карьеры его отца-пристава был предопределён родственными связями с участниками революционного движения, то у Николая Николаевича Кулябко был ещё один личный мотив посвятить свою жизнь борьбе со «смутьянами». И он решил любой ценой переломить неблагоприятную ситуацию. У Николая Николаевича не было никакого движимого или недвижимого имущества, но было трое детей — дочь и два сына, старший сын воспитывался в кадетском корпусе. Приходилось изворачиваться. Ходили слухи, что «у Кулябки не совсем благополучно с деньгами»[265]. Впоследствии слухи подтвердились. Выяснилось, что подполковник, чтобы отчитаться перед Петербургом в расходовании отпущенных ему экстренных сумм, *дважды* сдал в департамент полиции 18 раздаточных ведомостей с расписками филёров в получении суточных денег, всего на 8047 рублей 59 копеек. Агенты расписались дважды, но деньги получили только один раз[266]. Однако вина подполковника не ограничилась растратой казённых денег.

Его подчинённый, подполковник Михаил Яковлевич Белевцов, показал, что Кулябко «не углублялся в дела отделения, всегда имел вид торопящегося человека и, большею частью, был занят разъездами по начальствующим лицам»[267]. Николай Николаевич страстно мечтал сделать качественный скачок по служебной лестнице, перепрыгнув через несколько ступенек. Он предавался мечтаниям о грядущей карьере и не уделял должного внимания каждодневной рутине, без которой нельзя представить себе деятельность начальника охранки; стремился «воспарить» — и забывал о мелочах.

Директор департамента полиции, сенатор и тайный советник Нил Петрович Зуев пришёл к выводу, что «подполковник Кулябко, по-видимому, стремился несколько расширить свою компетенцию и принял на себя выходящее из круга его прямых обязанностей — политического розыска, наблюдение за политикой в крае, в широком смысле этого слова (польское движение, военная разведка и пр.)»[268]. Иными словами, честолюбивому подполковнику, женатому на сестре жандармского полковника Александра Ивановича Спиридовича, заведующего дворцовой охранной агентурой, было слишком тесно в провинциальном Киеве, и Кулябко хотел перебраться в столицу. Недоброжелатели

утверждали, что своей быстрой карьерой Кулябко был обязан шурину Спиридовичу. (Они познакомились ещё во время учёбы в кадетском корпусе, затем вместе учились в Павловском военном училище. Впоследствии два «павлона» совместно служили в Киевском охранном отделении. Спиридович был начальником Киевской охранки, Кулябко — его помощником.) Наиболее подробно эту версию изложил в своих воспоминаниях жандармский офицер Александр Павлович Мартынов: «У Кулябко была, как говорится, „рука“ наверху. „Рукой“ этой был его свойственник А. И. Спиридович»[269].

Сам Спиридович это отрицал: «Я никакого воздействия на движение по службе подполковника Кулябки ни на кого не оказывал; он сам пробивал себе дорогу и самоличным трудом добился всех пожалованных ему наград и повышений»[270].

Киевский губернатор Алексей Фёдорович Гирс дал развёрнутую и нелицеприятную характеристику начальнику киевской охранки: «На меня лично подполковник Кулябко всегда производил впечатление человека несерьёзного, легкомысленного, который любил во всё вмешиваться и всем распоряжаться ради желания выдвинуть себя и подчеркнуть свою деятельность, а вовсе не ради интересов дела. С тем же впечатлением о его деятельности я остался и после августовских торжеств, печально завершившихся злодейским делом убийства председателя Совета министров. Кулябко во всех распоряжениях администрации принимал видное участие, распоряжался народной охраной, ездил по городу и даже вмешивался в деятельность наружной полиции, что ему не было предоставлено, а всецело вверено полицмейстеру. Тем не менее его слушались по традиции и даже побаивались, как человека властного и высокомерного… К характеристике подполковника Кулябко могу добавить, что он был зазнавшийся человек, хотя и не без известной доли опыта и знания своего дела. С полицией он обращался чрезвычайно высокомерно и даже в сношениях со мной не всегда был корректен, допуская в официальных бумагах тон, неуместный в сношениях с губернатором. Не любили его и товарищи-сослуживцы, считая его человеком поверхностным в деле и грубым в личных отношениях»[271].

Дмитрий Богров хорошо знал своего «куратора» Кулябко, прекрасно изучил все его слабые стороны и, по словам Владимира Григорьевича Богрова, брата злоумышленника, всегда отзывался о подполковнике «как о весьма легкомысленном и поверхностном человеке»[272]. Богров всё очень точно рассчитал и, сделав ставку на это легкомыслие, легко переиграл Кулябко и его прямых начальников. Он убедил подполковника в том, что в Киев якобы

прибыли террористы, собирающиеся совершить покушение на Столыпина и министра народного просвещения Кассо. Это была самая настоящая мистификация: террористы существовали лишь в воображении Богрова. Соблазн схватить мифических злоумышленников с поличным был столь велик, а желание отличиться до такой степени сильным, что Кулябко, вопреки секретным инструкциям, выдал Богрову билет на торжественный спектакль в Киевском театре, где и прозвучали роковые выстрелы. Так в одной точке пространства и времени случайно пересеклись честолюбивые замыслы жандармского подполковника, дьявольский замысел Дмитрия Богрова, граничащее с преступлением попустительство высших жандармских чинов, неприязненно относившихся к Столыпину и считавших его выскочкой, — и эта историческая случайность привела к гибели «русского Бисмарка».

Крестница императора

Перед нами прошли три поколения одной дворянской семьи, три поколения служилого дворянства. Генерал-майора Панаева в течение двух десятилетий затирали и «не давали ходу» по службе: он не сделал той блестящей карьеры, на которую мог рассчитывать. Однако старый служака и ветеран Отечественной войны 1812 года, участник Бородинской битвы и взятия Парижа, не испытывал по этому поводу никаких сожалений и никогда не жаловался на судьбу. Более того, «до конца дней он оставался усердным, толковым командиром и, по свидетельствам современников, имел обыкновение поднимать за обедом тост за гибель всех врагов государя и отечества, басурманов и смутьянов»[273]. На несправедливость судьбы стали сетовать его дети, которым отец не сумел оставить никакого состояния.

22 января 1878 года Мария Николаевна Панаева, старшая дочь покойного генерал-майора, отправила военному министру генералу от инфантерии и генерал-адъютанту Дмитрию Алексеевичу Милютину пространное письмо. Это было прошение об увеличении пенсии. 3 февраля 1855 года, за две недели до собственной кончины, император Николай I вспомнил о товарище своих детских игр и подписал приказ о назначении генерал-майора Панаева исполняющим должность коменданта города Киева и Киево-Печерской цитадели. Слишком поздно! Генерал пережил государя лишь на несколько месяцев. 21 ноября 1855-го старый служака скончался на своём посту, и в прошении дочери содержится выразительная подробность: «…самая смерть

постигла за подписыванием бумаг»[274]. Судя по всему, генерал Панаев предчувствовал скорую кончину и спешил успокоить жену и детей относительно их будущего: «…умирая, утешал нас, что Государь Император и его честно выслуженная пенсия обеспечат нас от нищеты»[275]. Как он заблуждался!

Генеральская пенсия была распределена следующим образом: одна её половина, а именно 430 рублей серебром в год, досталась вдове; другая её половина была в равных долях распределена между тремя генеральскими детьми. Малолетнему сыну Павлу, не достигшей совершеннолетия дочери Екатерине и, в качестве особой монаршей милости, старшей дочери Марии досталось по 143 рубля 33 копейки в год. Мария Николаевна Панаева родилась 10 июня 1819 года. Великий князь Николай Павлович, будущий император, был её восприемником от купели. Это была августейшая милость, явленная толковому офицеру капитану Панаеву. Крестница императора Николая окончила Екатерининский институт и получила диплом, дающий право преподавать в женских учебных заведениях. В течение двадцати двух лет генеральская дочка содержала себя своим собственным трудом: была домашней учительницей, классной дамой и начальницей училища для девиц. Наступила старость, а с ней — неизбежные болезни, и 1/6 часть генеральской пенсии не могла избавить Марию Николаевну от нищеты. Чтобы сократить расходы, Панаева обосновалась в уездном городе Боровичи Новгородской губернии и сняла квартиру по улице Пинской, в доме Вишнякова. Этот выбор вряд ли был случаен. Согласно послужному списку генерала Панаева в Боровичском уезде Новгородской губернии у Панаева было небольшое благоприобретённое имение — сельцо Остров и 30 душ крепостных крестьян. «Получая по 11 руб. 94 коп. в месяц, я не в состоянии нанять себе порядочной квартиры, даже в уездном городе, дрова и все жизненные потребности увеличились вдвое, так что я не в силах иметь тёплую одежду, не в состоянии даже содержать прислугу или пользоваться советами врача, так крайне мне необходимыми, не имея ниоткуда помощи, я вошла в долги, за неуплату которых потеряла последний кредит»[275].

Этот вопль о помощи, адресованный военному министру Милютину, поступил в Главный штаб Военного министерства в пятницу 27 января 1878 года и был подшит к делу. Судя по всему, министру о письме даже не доложили. В эту неделю в Санкт-Петербурге кипели страсти, и чиновным особам было не до впавшей в нищету генеральской дочери, кстати, даже не упомянувшей о том, что её крестным отцом был император Николай. Как мы помним, во вторник 24 января Вера Засулич

стреляла [276] в генерал-адъютанта Трепова. Ещё не была завершена Русско-турецкая война 1877–1878 годов, лишь было подписано перемирие, победоносные успехи кампании не были закреплены и подтверждены за столом дипломатических переговоров, а в мире уже вновь запахло порохом. Российской империи угрожала большая европейская война. На семейном обеде в Зимнем дворце 29 января 1878-го члены императорской фамилии, по словам великого князя, Константина Николаевича, «много говорили о мерзости англичан, выбравших теперешнюю минуту, чтобы послать флот в Босфор»[277]. Финансы страны были расстроены войной с Турцией: ежедневный расход на армию составил астрономическую цифру — 1 миллион 500 тысяч рублей[278]. Военный министр Милютин был вынужден считать каждую копейку в бюджете Военного министерства и экономить на всём, нередко прибегая к непопулярным, как бы мы сейчас сказали, мерам. Современники, к числу которых относился и генерал от инфантерии Павел Дмитриевич Зотов, обвиняли Дмитрия Алексеевича в скаредности. «К этой же категории необъяснимо скаредных явлений нужно отнести два приказа по военному ведомству: о прекращении квартирных денег вдовам убитых офицеров, через 3 месяца со дня выключки последних из списков и о выдаче квартирных денег семействам офицеров по прежним чинам их мужей, ежели бы последние в течение войны и были повышены в чинах. Ну как не совестно нашему военному министру выставлять себя так в глазах целого света?»[279]

Чиновники Военного министерства, положившие под сукно письмо Марии Николаевны Панаевой, предвидели негативную реакцию министра на её просьбу об увеличении пенсии, поэтому даже не стали докладывать ему о письме дочери всеми забытого генерала. Спустя несколько месяцев Панаева написала новое письмо, к которому приложила две почтовые марки для ответа, по 40 копеек серебром каждая. Марки, перечёркнутые крест-накрест бестрепетной рукой чиновника (дабы никто не соблазнился отклеить их и использовать в личных целях), сохранились в деле, хранящемся в РГВИА. Если учесть, что бедная женщина получала в месяц всего-навсего 11 рублей 94 копейки, эта непредвиденная и, к сожалению, напрасная трата, 80 копеек серебром, пробила в её нищенском бюджете заметную брешь. На сей раз о просьбе генеральской дочери, наряду с несколькими другими прошениями о пенсиях, было доложено министру. Ответ генерала от инфантерии и генерал-адъютанта Милютина был категоричен. Военный министр «не признал возможным повергнуть на высочайшее воззрение ходатайства о назначении добавочных пенсий»[280]. 10 июля 1878 года всем просителям было

официально отказано: генерал-адъютант государя не счёл необходимым доложить Александру II об их просьбах.

Прошло несколько лет. Бомбой народовольцев был убит император Александр II. На престол взошёл Александр III. Дмитрий Алексеевич Милютин был возведён в графское достоинство, получил несколько высочайших наград и вышел в отставку. Экс-министр граф Милютин прочно обосновался в своём крымском имении Симеиз, работал над воспоминаниями, справедливо полагая, что они будут востребованы будущим историком. Скончался Павел Панаев, избавив казначейство от необходимости выплачивать ему 1/6 часть генеральской пенсии. Вышла замуж Екатерина Панаева, потеряв тем самым право на свою часть отцовской пенсии. В её семье жила почти полностью потерявшая зрение 86-летняя вдова-генеральша, продолжавшая исправно получать 430 рублей серебром в год. И лишь в жизни Марии Николаевны Панаевой не произошло никаких улучшений: она перебралась в Петербург, но по-прежнему жила в нищете.

13 января 1886 года неимущая генеральская дочка направила на имя нового военного министра генерала от инфантерии и генерал-адъютанта Петра Семёновича Ванновского очередную мольбу о помощи: «…Не могу нанимать квартиру, иметь стол, прислугу, одежду, обувь, освещение и другие необходимые предметы для жизни, я принуждена была просить в долг, ибо другим способом просить я не желала, дабы не унизить честь и достоинство заслуженного генерала, я обременена долгами, потеряла кредит и жить мне нет возможности»[281]. Мария Николаевна просила сущие пустяки: добавить к её пенсиону 286 рублей 66 копеек в год, то есть ту часть отцовской пенсии, которая освободилась после смерти брата и замужества сестры. Пожилая женщина изложила свои резоны: для казны её просьба не представит дополнительных издержек, ибо генерал честно заслужил свою пенсию, и она, его старшая дочь, не просит ничего сверх того, что положено по закону. Министр Ванновский распорядился снестись с Министерством финансов и выяснить его мнение по поводу этой просьбы. Министерство финансов ответило отказом: Панаевой уже была оказана высочайшая милость при назначении пенсии, не полагавшейся ей по закону, поэтому просить государя о новой милости нет оснований. Ход деловых бумаг был неспешен. Лишь 25 августа 1886 года из Военного министерства на имя Марии Николаевны был направлен официальный отказ в её просьбе, на следующий день доставленный по адресу: 3-я рота Измайловского полка, дом 7, квартира 27, где Панаева снимала угол. На оборотной стороне конверта с официальной бумагой была сделана надпись:

«Вышеназначенная особа померла три месяца тому назад. 26 августа 1886 года». Какая горькая ирония истории! Это был день 74-й годовщины Бородинского сражения, участником которого был восемнадцатилетний артиллерии прапорщик Панаев, заслуживший в этой битве свою первую награду — Аннинскую шпагу. Дочь героя Бородинской битвы умерла в Мариинской больнице для бедных. После её смерти не осталось ничего, сохранился лишь только один официальный документ — «Вид для свободного прожительства» на территории Российской империи за № 13444, который в установленном порядке был 31 августа 1886 года препровождён в Инспекторский департамент Военного министерства и подшит к делу.

Зять генерала Панаева Николай Александрович Кулябко учёл опыт тестя и в молодых летах сменил мундир кавалерийского офицера на мундир офицера столичной полиции. Эта «перемена декораций» позволила ему получить хорошее место в столичной полиции и добиться относительной материальной независимости. Но после двадцати пяти лет беспорочной службы в офицерских чинах без каких-либо видимых причин он был фактически выброшен со службы и оставлен без куска хлеба. Мне ничего не известно о том, как бывший полицейский пристав воспринял крах своей служебной карьеры. Очевидно одно, что унизительная отставка отца так или иначе сказалась на формировании системы ценностей его сына. И дед, и отец Николая Николаевича Кулябко были профессионалами своего дела, честно служили этому делу, пытаясь сделать его как можно лучше. Именно в этом они видели долг офицера. Они до конца выполнили свой долг. Николай Николаевич сознательно избрал иную жизненную стратегию. Он стал ориентироваться не на дело или долг, а на карьеру. Для него важны были только собственные амбиции. И его двусмысленное поведение накануне покушения на Столыпина объясняется не только желанием выдвинуться, но и той обидой, той не зарубцевавшейся раной, которая была нанесена сначала деду, а затем отцу. У подполковника отдельного корпуса жандармов Кулябко, сына отставного полковника, внука генерала и потомка дворянского рода, известного с XVII века, был особый счёт — сугубо личный и не закрытый — если не к Дому Романовых, то к тем счастливцам, которые преуспели по службе больше его, к числу которых он относил Столыпина. Великий князь Александр Михайлович уже после падения самодержавия проницательно заметил: «Трон Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других общественных деятелей, живших

щедротами Империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян; полиция справилась бы с террористами. Но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах»[282].

Вот какую историю поведал мне портрет неизвестного офицера из «Русской антикварной галереи».

Глава 10
ФИЗИОЛОГИЯ СТРАХА

Однако вернёмся к прерванной нити размышлений. Свойственные героям «Нетерпения» жажда «подтолкнуть историю» и желание «учить историю» тому, с какой скоростью и по какому именно пути ей, истории, надлежит двигаться, — всё это превратилось в свою противоположность. Оскорблённое чувство человеческого достоинства толкнуло Веру Засулич на покушение против столичного градоначальника Трепова. В итоге энергичная деятельность Трепова по обустройству городского хозяйства и реформированию столичной полиции, эта деятельность, отвечающая вызовам времени и, безусловно, благотворная для петербуржцев, была грубо прервана. В переломный момент истории среди чинов Санкт-Петербургской полиции не оказалось достаточного числа профессионалов, способных играть на опережение и своевременно парировать террористические замыслы «Народной воли». В итоге император Александр II был убит накануне официального обнародования уже подписанного им чрезвычайно важного документа, впоследствии названного «Конституцией Лорис-Меликова». Вместо мощного импульса развития страны по пути либерализации самодержавия русское общество получило сильное торможение. Начавшееся царствование Александра III стало временем контрреформ, весьма болезненно воспринятых уже народившимся гражданским обществом. По-прежнему русское образованное общество *не замечало причин и со страхом и изумлением наблюдало следствия.*

Юрий Трифонов не только отметил этот феномен, но и едва ли не единственный из числа своих современников сумел описать непростой процесс принятия политического решения носителем верховной власти. Автор «Нетерпения» показал, что колебания императора Александра II и его непоследовательность при проведении реформ в стране — всё это объяснялось отнюдь не только слабостью характера царя, чьей-то злой волей или кознями придворной камарильи. Единства не было ни в среде либеральных бюрократов, ни в среде их антагонистов, ратующих за сохранение незыблемости самодержавной власти в России. Ситуация в стране была исключительно сложной, человеческий разум с трудом мог постичь всё противоречивое единство множества неравновесных и разнонаправленных векторов дальнейшего развития. Именно этим обстоятельством и

объяснялось отмеченное Трифоновым обычное для царя «колебательное состояние» — ведь цена ошибки была исключительно высока. Один абзац из «Нетерпения» стоит нескольких монографий.

«Ах, беда была в том, что эти славные борцы за российский прогресс сами колебались не меньше главноколеблющегося! Один из истовейших реформаторов Милютин признавался в разговоре с другим реформатором, Абазой: нет, делегаты от земств не спасут дела, когда вся Россия на осадном положении. А главный либерал Валуев записывал в это же время, для себя самого, сокровенно: „Чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение“. В нужный момент, на одном из первых, сверхтайных заседаний Особого совещания, когда обсуждался проект великого князя Константина Николаевича, Валуев неожиданно заявил: „Я желал бы знать, какую можно извлечь пользу из того, что скажет по законодательному проекту представитель какого-либо Царевококшайска или Козьмодемьянска?“ Все были огорошены этим странным прыжком, этой внезапной переменой фронта, которую приписали личной неприязни Валуева к брату царя, не понимая того, что и тут проявилось бессознательное и необоримое, почти мистической силы, колебательное движение. Все колебались, все обнаруживали дрожание колен, и даже столп охранительной партии, надежда Победоносцева наследник Александр Александрович, увы, не являл собою образец прочности. <…> Невозможность уступить, „пойти навстречу чаяньям русского общества“ заключалась для царя ещё и в том, что выходило, будто он оробел, поддался угрозам подпольных людишек. Для обыкновенной царской гордости это было совсем уж insupportement (невыносимо — *франц.)*. Да и попросту, как для всякого мужчины, оскорбительно»[283].

В начале 1970-х годов эти рассуждения звучали исключительно злободневно и были способны вызвать весьма прозрачные аллюзии с современностью. Разумеется, речь не шла да и не могла идти ни о каких аналогиях между Александром II и Никитой Хрущёвым или Леонидом Брежневым: столь несоизмерим был уровень их происхождения, воспитания, образованности. Однако напрашивалось сравнение совсем в иной плоскости. Пятнадцать лет, отделявшие смерть Сталина от ввода советских войск в Чехословакию, изобиловали примерами колебания генеральной линии партии: правящая партия никак не могла выработать единую точку зрения на культ личности Сталина, то разоблачая этот культ, то пытаясь подвергнуть пересмотру эти разоблачения. Трифонов был первым и едва ли не единственным мыслителем, посмотревшим на современную

ситуацию в большом времени истории. Возможно, что именно непоследовательность коммунистической партии в деле преодоления культа личности заставила Юрия Трифонова задуматься о непоследовательности царя-реформатора в деле проведения реформ в Российской империи. Однако этот посыл автора «Нетерпения» не был воспринят его современниками. Русская интеллигенция — как шестидесятники XIX века, так и шестидесятники XX века — плохо представляла себе всю сложность и многомерность проведения любых реформ и государственных преобразований. Картина мира русской интеллигенции была чёрно-белой, линейной и плоской. Ни о какой объёмности речь не шла. И поэтому простые, быстрые и радикальные решения всегда казались панацеей от всех бед, а колебания верхов служили пищей для анекдотов, но не были поводом для размышлений. Трифонов был первым, кто не только зафиксировал феномен «колебательного состояния» власти, но и обстоятельно изучил феномен страха в России — будь то страх властей в ожидании очередного покушения народовольцев на царя или страх обывателей перед правительственным или революционным террором.

Страх — это системообразующая категория русской жизни. «Жизнь непоправимо менялась. Страх становился такой же обыкновенностью Петербурга, как сырой климат. Нужно было привыкать»[284]. Осмыслив страх как универсальную философскую категорию и оттолкнувшись от этого понимания, Юрий Трифонов по сути сформулировал оригинальную концепцию отечественной истории. Вся русская история не только Петербургского, но и, тем более, советского периодов была постигнута им как история чувства страха в его различных ипостасях. Именно об этом самая известная повесть писателя «Дом на набережной» (1976).

«Дом на набережной» был написан и опубликован в то время, когда любое упоминание о репрессиях времен культа личности находилось под строжайшим запретом, однако Трифонов мастерски сумел художественными средствами передать гнетущую обстановку сталинской эпохи. Он сделал это столь филигранно, что с формальной точки зрения цензуре не к чему было придраться, и повесть была напечатана в журнале «Дружба народов». С одной стороны, в повести почти не говорится о непосредственных жертвах террора, хотя они и присутствуют на периферии повествования (арестовывают и отправляют в лагерь дядю Вадима Глебова, увольняют из института, где учится Глебов, преподавателей; выселяют из Дома на набережной семью автора повести), с другой стороны — читатели получают адекватное

представление о времени всеобщего страха. В этой повести слово «страх» упоминается семнадцать раз, «ужас» — двадцать раз. Прилагательное «страшное» используется четырнадцать раз, и лишь один раз употребляется ключевое слово «террор». Страх — это главный герой книги, а сам Дом на набережной — лишь материализованное и локализованное в пространстве воплощение былого страха.

Михаил Андреевич Суслов, секретарь ЦК КПСС и главный идеолог партии, разрешил напечатать эту повесть на журнальных страницах, причём как само его решение, так и его мотивировка оказались совершенно непредсказуемыми. Суслов сказал, что «это правда, все мы так жили»[285]. Эти слова решили судьбу книги. «В цензуре поёжились и подписали»[286]. *Цензоры не осмелились исправить ни одной строчки.* Осталось загадкой, почему чопорный, абсолютно неэмоциональный, ни разу не замеченный в проявлении обычных человеческих чувств «серый кардинал» из Политбюро, всегда рьяно стоявший на страже устоев советской власти и чистоты идеологии, познакомившись с повестью «Дом на набережной», может быть, в первый и в последний раз в своей жизни проявил непосредственную реакцию. Можно предположить лишь одно: такова была власть высокого таланта! Знаменитый режиссёр легендарного Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов вспоминал, что по Москве немедленно поползли слухи о словах «серого кардинала» из Политбюро: «Почему не печатают эту книгу? Эту книгу надо печатать. Мы все страдали, мы все подвергались нападкам Сталина, мы все прожили этот страшный период. Печатайте эту книгу» [287]. Однако очень скоро власть опомнилась, и всё вернулось на круги своя. Повесть оказалась под негласным запретом. «Дом на набережной» существовал лишь в качестве журнальной публикации. Повесть не разрешили выпустить отдельной книгой, её не включали в однотомники избранных произведений Трифонова, не вошла она и в последний прижизненный двухтомник писателя. Исключением стал однотомник «Повести», выпущенный в 1978 году издательством «Советская Россия» мизерным для того времени тиражом 30 тысяч экземпляров. (Книги «литературных генералов» выпускались миллионными тиражами.)

Все, кому довелось жить в тридцатые и сороковые годы, все без исключения испытали чувство страха. Важнейшей чертой пережитого страха была его иррациональность. Илья Григорьевич Эренбург вспоминает о первых послевоенных месяцах. «Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том о сём. Берии присвоили маршальское звание. (Это произошло 9 июля 1945 года. — *С. Э.)* О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: „Как вы

думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?“ Я ответил: „Нет, по-моему, не может…“ Ольга Фёдоровна рассмеялась: „А голос у вас неуверенный…“» [288] Не существовало чётких и всем хорошо известных правил поведения, руководствуясь которыми можно было бы избежать репрессий. В жизни не существовало никаких гарантий. И это утверждение справедливо по отношению ко всем персонажам повести — реальным и вымышленным.

В «Доме на набережной» вскользь упоминается некто Лозовский: в кабинете огромной квартиры члена-корреспондента Академии наук и профессора Николая Васильевича Ганчука, живущего в Доме на набережной, была фотография этого человека с дарственной надписью. Вадим Глебов, которого недоброжелатели Ганчука попросили подробно описать профессорский кабинет, счёл за благо не упоминать о фотографии. «Тогда Лозовский был ещё в полном порядке, но Глебов проявил осмотрительность»[289]. Только очень внимательные читатели повести обратили внимание на выразительную деталь: в момент публикации повести уже мало кто помнил имя этого реального исторического персонажа. Впрочем, обо всём по порядку. Соломон Абрамович Лозовский был членом партии с 1901 года, и — за редчайшими исключениями — всегда поддерживал генеральную линию партии, чем объясняется его последующая блестящая карьера. В разные годы жизни он был генеральным секретарем Профинтерна, директором Гослитиздата, заместителем министра иностранных дел СССР, заместителем начальника и начальником Совинформбюро, членом ЦК и депутатом Верховного Совета СССР. Лозовский принадлежал к советской элите. Это его погубило. «Элита задумана была как опора власти, но она же первая и погибала, потому что то и дело попадалась под руку»[290]. В конце января 1949 года, в период борьбы с «безродными космополитами», Лозовский, живший в квартире 16 Дома на набережной, лишился всех своих высоких постов и был репрессирован, а 12 августа 1952 года, в возрасте семидесяти четырёх лет, расстрелян по делу Еврейского антифашистского комитета. После смерти Сталина Лозовского посмертно реабилитировали, однако сделали это под сурдинку — втихомолку, украдкой. В середине 1970-х годов его имя фактически всё ещё находилось под негласным запретом, и за исключением немногих профессиональных историков о трагической судьбе Лозовского даже очень образованные читатели знали немного. Поэтому никто не заметил допущенную автором повести неточность. Эпизод, о котором идёт речь,

относится к осени 1949-го, когда Лозовский, арестованный в начале этого года, уже не мог быть «в полном порядке». Неточность можно легко объяснить. Во-первых, от художественного произведения нельзя во всём требовать скрупулёзной точности в мельчайших деталях. Повесть — это не научная монография. Во-вторых, даже те, кому довелось жить во второй половине 1940-х, плохо помнили отличие одного года от другого и нередко ошибались в датировке событий. Поэт Борис Слуцкий написал об этом феномене с афористической точностью: «Потомки разберутся, если у них будет время, желание, досуг и, как теперь говорят, бумага. <…> Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчленённой массой»[291]. В середине 1970-х «разбираться» с недавним прошлым время ещё не пришло. И то, что не было позволено историкам, сделал писатель.

Поскольку основные события повести происходят во второй половине 1940-х, отмеченная автором предусмотрительность Вадима Глебова, не назвавшего имя Лозовского, получает своё художественное обоснование. В очередной раз сработала «природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда безо всяких поводов, по наитию»[292]. Жизнь в коммунальной квартире ветхого двухэтажного дома, где Вадим родился, вырос и повзрослел, с детства приучила Глебова к осмотрительности («когда поднимался по тёмной лестнице, по которой следовало идти осторожно, потому что ступени были местами выбиты»), а существование в социуме лишь укрепило передавшуюся по наследству от отца фамильную глебовскую осторожность.

Отец Глебова работал мастером-химиком на старой конфетной фабрике. Он любил подшучивать над своими домашними, мечтавшими перебраться из перенаселённой коммуналки в отдельную квартиру и не скрывавшими зависти к тем, кто жил в роскошных квартирах Дома на набережной. «Да я за тыщу двести рублей в тот дом не перееду…» Лишь спустя годы Вадим Глебов уразумел скрытый смысл этой парадоксальной фразы, сказанной полушутя-полусерьёзно. «Все это было понарошке, домашний театр. А внутри отцовской природы, скрытым стержнем, вокруг которого всё навивалось, было могучее качество — осторожность. То, что он говорил, посмеиваясь, в виде шутки — „Дети мои, следуйте трамвайному правилу — не высовывайтесь!“ — было не просто балагурством. Тут была потайная мудрость, которую он исподволь, застенчиво и как бы бессознательно пытался внушать»[293]. И тот, кто намеренно или безотчётно следовал этой житейской мудрости, имел больше шансов уцелеть, чем тот, кто ею пренебрегал. Впрочем, «большой террор» не щадил и самых осторожных. Рецепта выживания не

существовало, поэтому страх становился всепроникающим.

Трифонов вскрывает первопричину наследственной глебовской осторожности. «На самом деле работал тайный механизм самосохранения, и это было удивительно, ибо в те времена кто бы догадался о близких катастрофах!»[294]

Трижды сказав о глебовской осторожности, Трифонов делает очень важное уточнение: осторожность объяснялась отнюдь не его изощрённым умом, способным мгновенно просчитать экзистенциальную житейскую ситуацию на несколько ходов вперёд. Глебов был в высшей степени заурядным человеком и не обладал умом профессионального шахматиста или математика. «Но Глебов всегда был в чём-то туг и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружились, были для него тайной за семью печатями. Впрочем, никто ничего предвидеть не мог»[295]. Глебовская осторожность была синонимом нерешительности и объяснялась всё тем же страхом. С первых лет советской власти и вплоть до начала оттепели страх был скелетом, становым хребтом всей советской жизни. *Выросло несколько поколений, с детских лет лишённых внутренней свободы и привыкших к осторожности.* Именно это врождённое чувство осторожности помогло герою повести Вадиму Глебову, по прозвищу Батон, не только уцелеть, но и преуспеть в жизни, в течение четверти века добиться всего того, к чему он так стремился во времена своей голодной юности.

«Глебов относился к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь — тянульщик резины. Из тех, кто сам ни на что не решается, а предоставляет решать коню»[296].

Литературная родословная Вадима Александровича Глебова по прозвищу Батон — центрального персонажа «Дома на набережной» — восходит к Павлу Ивановичу Чичикову из поэмы Гоголя «Мёртвые души». Вспомним, при каких обстоятельствах Глебов получил своё школьное прозвище. «Когда-то давно он принёс в школу белый батон, сидел на уроке, щипал мякиш и угощал желающих. А желающих было много! Кажется, пустяк: притащил батон, который всякий может купить в булочной за пятнадцать копеек. Но вот никто не догадался, а он догадался. И на переменке все просили у него кусочек, и он всех оделял, как Христос. Впрочем, не всех. Некоторым он не давал. Например, тем, кто приносил в школу бутерброды с сыром и колбасой, а ведь им, бедным, тоже хотелось батончика!»[297] Вплоть до января 1935 года в СССР существовало нормированное снабжение населения хлебом, следовательно, Глебов мог свободно купить в булочной батон белого хлеба лишь после отмены карточек на

хлеб, то есть не ранее начала 1935-го[298]. Так, потратив всего-навсего пятиалтынный, Батон в известной степени приобрел власть над своими товарищами. Сравним этот отрывок из повести Трифонова с тем местом из одиннадцатой главы «Мёртвых душ», где повествуется о школьных годах Павлуши Чичикова. «Особенных способностей к какой-нибудь науке в нём не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нём большой ум с другой стороны, со стороны практической. <…> Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, — признак подступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображался с аппетитом»[299]. Происхождение Павлуши Чичикова было «темно и скромно». То же самое можно сказать и о Глебове. И тот и другой страстно мечтали вырваться из того круга, в котором они родились, покончить с нищетой и прозябанием. И тот и другой жаждали благополучия, преуспеяния и власти. Гоголь подчёркивает фиктивность и мнимость Чичикова: «не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод»[300]. Иными словами, центральный персонаж «Мёртвых душ» был *никакой.* Таким же был и Глебов. «Он был совершенно *никакой,* Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: *быть никаким.* Люди, умеющие быть гениальнейшим образом никакими, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними дело, довоображают и дорисовывают на *никаком* фоне всё, что им подсказывают их желания и их страхи. *Никакие* всегда везунчики»[301]. «Дом на набережной» — это повесть о том времени, которое стало периодом преуспеяния и конечного торжества *никаких.*

Действие повести «Дом на набережной» происходит в Москве и разворачивается в нескольких пластах времени: в середине 1930-х годов, накануне и в момент начала «большого террора»; суровой осенью 1941-го, во второй половине 1940-х, в период борьбы с «безродными космополитами» и «низкопоклонством перед Западом»; и в самом начале 1970-х годов. Завязка действия повести возникает в августе 1972 года, когда в Москве стояла нестерпимая жара, вокруг столицы горели леса, в городе нечем было дышать, и люди нередко падали в обморок прямо на улице и в метро. «Москва тем летом задыхалась от зноя и дымной мглы». (В 1976-м, когда повесть была опубликована, память об

аномальной жаре была ещё свежа и создавала у первых читателей, по крайней мере из числа москвичей, ни с чем не сравнимый эффект присутствия, вызывая ощущение достоверности происходящего и чувство собственной включённости в хронотоп «Дома на набережной».)

В это время Вадим Александрович Глебов был вынужден покинуть подмосковную дачу и в самый солнцепёк отправился в город. Ему предстояло скорое вселение в новую кооперативную квартиру, и Глебов хотел меблировать её соответствующим образом. В годы всеобщего дефицита Вадим Александрович не захотел обставлять свою новую квартиру мебельным ширпотребом, модной в те годы «полированной дребеденью». Он решил любой ценой приобрести антикварный стол с медальонами, который отлично бы подошёл к уже имевшимся стульям красного дерева, купленным его женой Мариной год тому назад в ожидании предстоящего вселения в кооператив. Уже в этих мельчайших деталях прекрасно просматриваются обстоятельства места и времени. Жизнь, казалось, удалась: «доктор, директор, пятое-десятое, дерьма пирога». Глебов достиг максимально возможных для советского интеллигента высот, обрёл то, что было заветной мечтой многих. Он стал литературоведом и эссеистом, доктором наук, продвинулся по карьерной лестнице, у него есть собственный автомобиль и двухэтажная дача с участком, на котором жена Марина выращивает клубнику и крыжовник, варит из них варенье и раскладывает его по стеклянным банкам, на которых старательно пишет название ягоды и год сбора урожая. Глебов — «выездной» научный работник: так в те годы называли тех, кому было позволено ездить в заграничные командировки. В конце повести Глебов приезжает в Париж — землю обетованную творческой интеллигенции — как член правления секции эссеистики на конгресс МАЛЭ (Международной ассоциации литературоведов и эссеистов).

Но даже для этого в высшей степени обеспеченного, по советским меркам, человека приобретение нужной вещи превращается в огромную проблему. Купля-продажа мебели, пусть даже антикварной, требовала в эти годы неимоверных усилий и в данном конкретном случае осуществлялась с явным риском для здоровья. Вадим Александрович уже не в первый раз отправлялся в охваченный смогом город, что для страдавшего ожирением, сердечной недостаточностью и стенокардией человека могло закончиться весьма печально. Даже имея немалые деньги, Глебов не мог просто заказать по каталогу нужную ему вещь, оплатив её приобретение и доставку, а был вынужден

искать какого-то Ефима из мебельного, который отнюдь не был владельцем вожделенного стола, но мог помочь его разыскать. Чтобы найти хоть какие-то следы этого стола красного дерева, Глебов покинул дачу и отправился в богом забытый рядовой мебельный магазин, расположенный на городской окраине.

Здесь и произошла его встреча с другом детства и юности Лёвкой Шулепниковым, по прозвищу Шулепа. Лёвка опустился на самое дно: он стал «подносилой» в мебельном магазине, неряшливо одетым и жаждущим похмелиться, из числа тех подсобных рабочих, которые, как пишет автор повести, готовы «за трояк на всё». («Трояк» — это три рубля. Поллитровка «Московской особой водки» стоила в эти годы 2 рубля 87 копеек. Оставшиеся после покупки поллитровки 13 копеек сдачи позволяли купить скромную закуску — плавленый сырок. Именно так поступал с полученным «трояком» любой «подносила». Трифонов, как всегда, удивительно точен в деталях!) Глебов готов был дать Шулепе 4 рубля на опохмелку, если бы тот попросил об этом, и уже стал нащупывать деньги в кармане брюк. Глебов окликнул Шулепникова по имени, но опустившийся на самое дно «подносила» не захотел его узнать и презрительно отвернулся. Это неприятно поразило Глебова. «Поразило не обличье Лёвки Шулепы и не жалкость его нынешнего состояния, а то, что Лёвка *не захотел узнавать*. Уж кому-кому, а Лёвке нечего было обижаться на Глебова. Не Глебов виноват и не люди, а времена. Вот пусть с временами и *не здоровается*»[302]. Вот об этих *временах* и идёт речь в повести.

Во время учёбы в школе и в институте Глебов болезненно завидовал Шулепникову, жившему в большом сером доме — Доме на набережной. У Шулепы было всё, о чем мог лишь мечтать Вадька Батон: громадная квартира, дивные финские ножички, немецкий пугач, очень схожий с настоящим пистолетом, кинопроектор и множество других разнообразных вещей. В школьные годы Шулепа был удачлив, любим одноклассниками и имел у них репутацию героя. Его отчим служил в «органах» и занимал там важный пост: даже лифтёр из Дома на набережной заискивал перед Шулепой. Прошло несколько лет. Началась и закончилась война. Глебов, как и вся его семья, тяжело и трудно жил в это суровое время. Побывал в эвакуации, работал на лесозаготовках, голодал (ел суп из травы и пил чай из желудей), едва не умер от воспаления лёгких, в последний год войны был призван в армию, служил в БАО — батальоне аэродромного обслуживания, много раз мог погибнуть, когда неприятельская авиация бомбила аэродром. Его мать умерла в эвакуации, отец воевал и был тяжело ранен в голову, стал инвалидом и не мог

выполнять работу, требующую умственного напряжения.

После войны Глебов с гордостью донашивал армейский китель: ходил в нём и в институт, и в гости. Во-первых, не было денег на цивильную одежду. Во-вторых — Глебов не хотел, чтобы окружающие забывали, что он побывал на войне. Это была сознательно избранная поза. Армейский китель Глебова был сродни серой солдатской шинели юнкера Грушницкого из «Героя нашего времени». Китель Глебова «вырос» из шинели Грушницкого: и китель, и шинель осуществляли сходную функцию, делая их владельцев более интересными в глазах окружающих. И Грушницкий, и Глебов очень хотели выделиться, а иных способов обратить на себя внимание у них не было. В это время он, уже студент института, вновь встретил Шулепу.

Школьные приятели не виделись семь лет — с 1940-го по 1947-й. В эти годы Шулепа по-прежнему продолжал оставаться баловнем судьбы и вечным именинником жизни. Во время войны закончил какую-то хитрую разведшколу, готовился к заброске в немецкий тыл, летал в Стамбул с дипломатическим поручением, был женат на итальянке, развёлся. Так с известной долей бравады Шулепа рассказал о себе Батону. Глебов отнёсся к его похвальбе недоверчиво. Шулепа плохо владел немецким языком и посредственно метал ножи в цель, однако было какое-то зерно истины в его рассказах: Лев Шулепников владел приёмами рукопашного боя и в критическую минуту сумел за себя постоять. В институт, где уже учился Глебов, Шулепников был принят сразу на третий курс. На занятия он ездил на трофейном BMW. Автомобиль вишнёвого цвета подарил новый отчим, который, как и предыдущий отчим Лёвки, служил в «органах» и обладал колоссальными возможностями. В институте Лёвка сразу же стал комсомольским деятелем и лучших девиц взял на крючок. У него были знакомые в высших сферах. Трифонов вскользь упоминает о том, что «Шулепников носился с какими-то знаменитостями из команды лётчиков». Люди старшего поколения из числа первых читателей «Дома на набережной» прекрасно поняли этот намёк, ибо помнили, что хоккейную команду лётчиков фактически создал и постоянно опекал командующий авиацией Московского военного округа генерал Василий Сталин. Вот в каких кругах вращался Шулепа! Вот она, великая сила недосказанного!!!

Лёвка неоднократно предлагал Глебову присоединиться к его компании, но Вадим предпочёл остаться в стороне. «Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда безо всяких поводов, по наитию»[303]. Трифонов в очередной раз пишет об осторожности

Глебова, рука об руку идущей со страхом. Молодой человек, родившийся в переулке с красноречивым названием Дерюгинский (дерюга — это самый грубый и толстый холст из низкосортной льняной пряжи) и по-прежнему живущий там, в коммунальной квартире, страстно хотел преуспеть в жизни и вырваться из своей коммуналки. Казалось бы, он должен цепляться за малейшую возможность попасть в круг сильных мира сего. Однако осторожность оказывается сильнее. И она не подводит Батона. Зная о дальнейшей трагической судьбе сына вождя, мы понимаем, что Глебов был прав, когда остерёгся знакомства с хоккеистами из команды Василия Сталина.

Глебов избирает иной путь преуспеяния. Трифонов ни слова не говорит о его желании сделать комсомольскую или партийную карьеру, а ведь именно так вели себя прожжённые карьеристы. Глебов старается хорошо учиться, активно работает в научном студенческом обществе, созданном профессором Николаем Васильевичем Ганчуком, становится секретарём научного семинара, который ведёт Ганчук, и исподволь готовится к поступлению в аспирантуру. Попасть в аспирантуру без поддержки Ганчука — внушительной не только по институтским масштабам фигуры — было невозможно. Он пытается стать полезным своему профессору: терпеливо сносит все его капризы и даже бестолковость, а однажды приносит ему полную библиографию по теме, над которой работал Николай Васильевич и которая Ганчуку была нужна для написания статьи. За составлением этой библиографии Глебов провел несколько бессонных ночей. Его усилия не пропали даром, и профессор обратил внимание на прилежного студента. Трифонов исключительно точен, характеризуя обстоятельства времени и места. После 1946 года, когда в несколько раз было поднято жалованье научным работникам и вузовским преподавателям, имеющим учёную степень кандидата или доктора наук, обретение учёной степени превратилось по сути в получение пожизненной ренты. В науку пошли люди, далёкие от самоотверженного поиска истины, но жаждущие гарантированного житейского благополучия. В науку пошёл «середняк». В науку пошли глебовы.

Глебов становится вхож в дом профессора, с дочкой которого Соней он когда-то учился в школе. У них начинается роман. Ни сам Ганчук, ни его жена Юлия Михайловна долгое время не догадывались о характере отношений молодых людей. Профессора и его супругу обуревали иные заботы. Начало романа Вадима и Сони совпадает с очередной зубодробительной идеологической кампанией.

Уточним время действия, ибо в «Доме на набережной» оно

рассчитано по календарю. Сближение Вадима и Сони произошло на профессорской даче в Брусках во время празднования Нового, 1949 года. Накануне, на излете 1948-го, из института, где учился Глебов и преподавал Ганчук, с треском изгнали преподавателя языкознания Бориса Львовича Аструга. Студенческая компания, собравшаяся на даче и встречающая Новый год, обсуждает эту новость. Примечательно, что никто не сочувствует Астругу. Звучит даже мысль о том, что Аструг, возможно, знал книжный язык, но не знал язык живой и народный. Иными словами, студенты были солидарны с тем, что их преподаватель был обвинён в «низкопоклонстве перед Западом», причислен к «безродным космополитам» и на этом основании выдворен из института. Даже хозяйка дачи Соня Ганчук, хорошо знающая Бориса Львовича и в глубине души его жалеющая, не решается подать голос в его защиту. Это было поколение, родившееся и выросшее в годы советской власти, поколение, привыкшее слепо верить этой власти. Идеологические штампы были крепко вбиты в головы этих молодых людей, и в том не было их вины. Они были не в состоянии посмотреть на ситуацию под любым иным ракурсом, отличным от официальной точки зрения. На языке тех лет «безродный космополит» было эвфемизмом, обозначающим еврея. Ни слова не говорится о национальности Аструга, слово «еврей» не употребляется в повести ни разу. Причина понятна: в 1970-е уже существовал абсолютный запрет на любое упоминание «еврейского вопроса» на страницах печати. Однако Трифонов сумел сказать всё, что хотел, не нарушая при этом ни одного советского табу.

Борис Аструг был учеником Ганчука и человеком из его окружения, вхожим в его профессорский дом. Те, кто затеял всю эту историю, на самом деле метили в Ганчука, собираясь сместить его с поста заведующего кафедрой. Но сделать это было очень непросто. Николай Васильевич Ганчук был активным участником Гражданской войны, служил в ЧК и был известен своей беспощадностью к врагам. «Он знает, что такое рубать врагов. Рука не дрожала, когда революция приказывала — бей! В Чернигове, до того как пойти на учёбу, работал в отряде особого назначения Губчека. Ганчук — это звучало страшновато для врагов. Потому что ни колебаний, ни жалости»[304]. У него были обширные знакомства: его квартиру в Доме на набережной посещали Демьян Бедный, Максим Горький, Алексей Толстой. Ганчук был членом-корреспондентом Академии наук и автором 180 печатных работ, переведённых на восемь европейских и семь азиатских языков. Попробуй сдвинь такую глыбу! Подведи подкоп под эту неприступную крепость! Но недоброжелатели Ганчука,

которых давно уже раздражала его независимость, отлично учли обстоятельства места и времени — в эти послевоенные годы в стране проводилась политика государственного антисемитизма, официально называвшаяся борьбой с «безродными космополитами», которых обвиняли в «низкопоклонстве перед Западом». В институте задумали многоходовую интригу, направленную против Николая Васильевича. И Глебову предстояло стать пешкой в этой игре, где на кону стояла должность заведующего кафедрой. Враги Ганчука метили в его ахиллесову пяту — в столь раздражающую их независимость Николая Васильевича, которая уже плохо вписывалась в реалии тех лет. Ганчук олицетворял собой уходящую натуру. Почти все крупные личности, отличавшиеся «лица необщим выраженьем», не смогли пережить время «большого террора». До войны Ганчук уцелел, после войны настала его очередь. Лидия Яковлевна Гинзбург цитирует слова своего современника, сравнившего довоенные репрессии с репрессиями послевоенными: «Раньше это была лотерея, теперь это очередь»[305].

Тот, кто затеял эту интригу, отлично изучил характер Николая Васильевича Ганчука. Увольнение Аструга, Родичевского и других «безродных космополитов» специально было проведено через Учёный совет института в то время, когда профессор Ганчук в течение трёх недель находился в заграничной командировке в Праге. Для того времени, когда уже полыхала холодная война и существовал «железный занавес», столь продолжительная командировка, даже в страну социалистического лагеря, была явлением совершенно исключительным. Иными словами, Ганчук занимал очень высокое положение, а его позиции были прочны и казались неуязвимыми. Суть интриги состояла в следующем. Если бы профессор сохранил олимпийское спокойствие и не вступился бы за своих учеников, он потерял бы не только лицо, но и утратил бы своё влияние в институте. Если бы профессор вступился за уже уволенных «космополитов», он стал бы мишенью для критики и последующих оргвыводов, ведь беспощадная борьба с «безродными космополитами» велась на государственном уровне и рассматривалась как важнейшая задача партии.

Сделав ставку на независимость Ганчука, его враги, за спиной которых стоял его давнишний недоброжелатель Дороднов, добились важного позиционного успеха: они спровоцировали профессора и вынудили его вмешаться в борьбу, в которой он мог лишь проиграть. «Да, ввязался, писал письма, ходил по этому вопросу в инстанции… Словом, открылась война… А как же иначе? Боря Аструг — его ученик, Родичевский — большой талант, божьей милостью… Не надеялся восстановить их на

работе, да они уж никогда сюда не вернутся, но хотя бы смыть клеймо: низкопоклонники, безродные, такие-сякие, галиматья полная. Боря Аструг всю войну прошёл, боевой офицер, ордена заслужил — каков низкопоклонник!»[306]

У Дороднова и Ганчука были давние счёты. В 1920-е годы Дороднов был ещё беспартийным, его считали «попутчиком», и он страстно пытался пролезть во власть. Потом он сумел вступить в партию и мечтал о защите докторской диссертации, но был вынужден отступить, столкнувшись с активным противодействием Ганчука. Профессор заявил, что стремление Дороднова стать доктором наук — это авантюра. Дороднов был скрытым мотором направленной против Ганчука интриги. Прочие участники интриги были всего-навсего колесиками и винтиками задуманной им комбинации. Директор не любил Ганчука за его независимость: профессору и членкору *нельзя было приказать*. Директор редко сидел на своём месте. Он либо ездил в заграничные командировки в Китай или Корею, либо болел, и тогда реальная власть переходила в руки Дороднова. (Следует уточнить статус этого персонажа, тем более что в этом вопросе Трифонов допустил неточность, которая не была замечена и устранена в процессе редактирования повести. Когда Дороднов в первый раз упоминается в «Доме на набережной», Трифонов называет его заведующим учебной частью института. Но на последующих страницах повести сказано, что заведующим учебной частью является Друзяев. В одном институте не может быть двух заведующих учебной частью. То есть автор противоречит сам себе. Судя по всему, Дороднов является не заведующим учебной частью, а занимает более высокую ступень в институтской иерархии, он — заместитель директора по учебной работе.)

Итак, Ганчук переоценил свои возможности и открыто вступился за Аструга и других «безродных космополитов». Притупление чувства опасности и отсутствие чувства страха сыграли с Ганчуком злую шутку. В одночасье резко ухудшились его позиции в институте, до сих пор казавшиеся прочными и неприступными. За свой благородный гражданский поступок профессор заплатил высокую цену. У Дороднова и его шайки — демобилизованного из армии и ставшего заведующим учебной частью института бывшего военного прокурора Друзяева и амбициозного аспиранта Ширейко, занявшего место Аструга и читавшего его спецкурс по Горькому, — появилась реальная возможность перевести свою направленную против Ганчука интригу в более активную фазу. Профессора обвинили в недооценке классовой борьбы в современных условиях и

инкриминировали ему защиту «безродных космополитов». Так герой Гражданской войны и верный боец коммунистической партии, яростный обличитель инакомыслия профессор Ганчук превратился в объект идеологических разоблачений. Сам Николай Васильевич дал очень точный анализ сложившейся ситуации.

«Правда, они выглядят сугубо революционно, щеголяют цитатами из Маркса, из Владимира Ильича, выдают себя за строителей нового мира, но вся их суть — их вонючая буржуазность — вылезает наружу. Они хватают, хапают, нажираются, благоустраиваются и ещё сводят счёты с теми, кто их лупил в двадцатых годах. Сволочь надеется взять реванш. Но ведь бездари, неучи!»[307]

Суть заключается в двух последних словах. В 1949-м инициатива перешла к серым, бездарным, малообразованным. В 1920-е годы, пропитанные духом ещё не изжитой революционной романтики, и до войны одни фанатики пытались уничтожить других фанатиков. Любые идеологические дискуссии, завершавшиеся политическими обвинениями и посадками, основывались на непримиримых идейных разногласиях, поисках классовых врагов и хорошо замаскировавшихся вредителей. Отражение классовой борьбы искали даже в сфере математических абстракций, не говоря уже о философии, а «врагов народа» отыскивали в сфере любой отвлечённой теории. После Победы время переломилось. Даже у работников «органов» при проведении арестов и допросов, как очень точно заметил Лев Разгон, «глаз уже не горел». Разгон очень хорошо знал то, о чем писал в своих мемуарах, ибо его арестовывали и до, и после войны. До войны репрессии имели ореол борьбы с неразоблачёнными врагами. После войны арест и допрос превратились в рутинную бюрократическую процедуру. В основе любого конфликта, даже если он имел идеологическую окраску, лежал голый интерес.

Людям, пережившим такую страшную войну, хотелось просто жить. Исступлённая революционная романтика ушла из жизни, а немногие уцелевшие носители этой романтики оказались в меньшинстве и превратились в ходячий анахронизм. Именно таким человеком был профессор Ганчук. Он, по крайней мере, внимательно читал Маркса, пытался его понять и применить к реальным условиям современности. Объяснение конфликта, которое дал Ганчук, было конгениально учению Маркса. Чтобы так точно объяснить суть конфликта в институте, в эпицентре которого он оказался, надо было очень вдумчиво читать Маркса. Да, Ганчук был схоласт, начётчик, талмудист. Но он искренне

верил в то, что преподавал. Маркс был его талмудом, но Ганчук этот талмуд прекрасно знал, чего нельзя сказать о его противниках. Ганчук «рассуждал о теоретической путанице Луначарского, заблуждениях Покровского, колебаниях Горького, ошибках Алексея Толстого: со всеми Николай Васильевич был знаком, пил чай, бывал у них на дачах. И обо всех, даже таких знаменитых, как Горький, говорил хотя и почтительно, но с оттенком тайного превосходства, как человек, обладающий каким-то дополнительным знанием»[308].

Итак, против фанатика и талмудиста ополчились бездарности и неучи. И они победили. Когда я, в то время студент-дипломник философского факультета МГУ, в первый раз читал «Дом на набережной», я поразился удивительной точности этого наблюдения Юрия Трифонова. В это время, напомню, что речь идёт о середине 1970-х, марксизм в СССР официально почитался вершиной мировой философской мысли. Однако философию марксизма даже на философском факультете преподавали люди, за редчайшим исключением в лице Виктора Алексеевича Вазюлина и Георгия Александровича Багатурии, классических работ Маркса вдумчиво не читавшие и о существовании многих его рукописей не подозревавшие. Изучение трудов Маркса, особенно его многочисленных рукописей, не поощрялось: ранние «Экономическо-философские рукописи 1844 года» даже было запрещено цитировать в научных статьях и монографиях. Интерес к рукописному наследию классика казался подозрительным и нередко трактовался как крамольное желание «ревизовать» марксизм, противопоставляя «раннего» Маркса Марксу «зрелому». Моя дипломная работа была написана на основе изучения именно рукописного наследия Карла Маркса, однако, чтобы её защитить, мне уже на пятом курсе пришлось сменить кафедру. Да и сама защита прошла лишь с *третьей* попытки: меня заставляли изымать из текста диплома наиболее острые формулировки и яркие цитаты, вызывавшие ассоциации с сегодняшним днём. К счастью, на моей судьбе это никак не отразилось: я получил и свой «красный» диплом, и рекомендацию в очную аспирантуру.

Впрочем, вернёмся к сути противостояния Ганчука и его недоброжелателей. Чтобы наверняка поразить Николая Васильевича, им понадобилась «проходная пешка» в лице Глебова. Не будь этой пешки, вся многоходовая комбинация повисла бы в воздухе. Глебова вызвали в учебную часть. Заведующий учебной частью Друзяев и присутствующий при этой беседе аспирант Ширейко сообщили студенту-дипломнику Глебову, что им известно о его близких отношениях с дочерью научного руководителя его дипломной работы, чьим зятем он

собирается стать в скором времени. Глебову заявили, что разговор с ним продиктован исключительно заботой о Ганчуке. От профессора якобы надо срочно отвести чрезвычайно обоснованное обвинение в насаждении семейственности. «Не очень-то ароматный душок!» — так аспирант Юрий Ширейко охарактеризовал сложившуюся ситуацию. В стенах одного института одновременно находятся заведующий кафедрой профессор Ганчук, его супруга, преподающая студентам немецкий язык, и его будущий зять, включённый Ганчуком в список тех дипломников, которые будут рекомендованы для поступления в аспирантуру. Глебову без обиняков дали понять: от его поведения зависят и грядущая аспирантура, и стипендия Грибоедова, положенная Глебову после зимней сессии. Дипломнику весьма настойчиво предложили написать официальное заявление в учебную часть с отказом от научного руководства профессора Ганчука.

Глебов попал в расставленную ему западню и сделал то, на что рассчитывали творцы этой интриги. Дороднов и его шайка получили очень существенное преимущество в борьбе с Ганчуком. Они этим преимуществом сполна воспользовались и осуществили подрыв позиций профессора изнутри. Вскоре в газете появилась направленная против Ганчука статья аспиранта Ширейко с выразительным названием «Беспринципность как принцип», в которой Ганчук обвинялся в многообразных прегрешениях. Благодаря поступку Глебова облыжные обвинения Ганчука в беспринципности, групповщине и низкопоклонстве обрели видимость правды. В статье была красноречивая фраза: «Не случайно иные студенты-пятикурсники решили отказаться от услуг профессора как руководителя дипломной работы». Наступление против Ганчука велось на нескольких фронтах. Его супруге Юлии Михайловне Брюс, закончившей Венский университет, было предложено сдать экзамены и получить диплом советского вуза, чтобы иметь право в нём преподавать. В итоге Юлия Михайловна, чей отец был сыном венского банкира, правда, разорившегося, была уволена из института. Трифонов не пишет об этом прямо, но исходя из реалий 1949 года можно предположить, что и Юлия Михайловна, наряду с Астругом, была причислена к «безродным космополитам». Её попытки восстановиться через суд не увенчались успехом, и она, давно страдавшая тяжёлой сердечной болезнью, вскоре умерла.

Одним из движущих колес направленной против профессора интриги стал заведующий учебной частью Друзяев. Мы видим этого бывшего военного прокурора глазами студента Глебова. На дворе поздняя осень 1949-го, скорее всего, ноябрь. Прошло почти

два года после проведения денежной реформы и отмены карточек и год — после демобилизации Друзяева из армии, а заведующий учебной частью облачён в «какую-то мешанину»: на нём офицерский китель, брюки от штатского костюма, заправленные в постоянно скрипевшие сапоги. У Друзяева нет денег на цивильный костюм и туфли, на свою зарплату он смог купить лишь брюки. Чтобы сменить свой армейский китель на пиджак, а сапоги на туфли или ботинки, заведующий учебной частью Друзяев, чьё должностное жалованье позволяло купить лишь брюки, должен был подняться на более высокую должностную ступеньку, предварительно сместив того, кто занимал эту ступеньку до него. Иных возможностей у бывшего военного прокурора не было. После войны армия сократилась в несколько раз, многие не имевшие необходимой выслуги старшие офицеры, к числу которых, судя по всему, принадлежал и Друзяев, были уволены без пенсии.

В это же время профессор Ганчук имеет каракулевую шапку, белые бурки (тёплые зимние сапоги, голенище которых изготовлено из высококачественного войлока или фетра), обшитые кожей коричневого цвета, и длиннополую шубу, подбитую лисьим мехом. И если в роскошную, обставленную мебелью красного дерева квартиру Ганчука в Доме на набережной могли попасть лишь люди одного с ним круга, то его шубу видели все. И все знали, что помимо квартиры и шубы у Ганчука есть ещё дача, большой участок в сорок соток и машина «Победа» с шофёром. Хитрая, всё подмечавшая Васёна, домработница в профессорском доме, сказала очень точно, попала не в бровь, а в глаз: «Уж не знаю, но только таких-то, в шубах, не любют…» И эта реплика Васёны прекрасно корреспондируется с марксистским анализом самого Ганчука.

У Дороднова и членов его шайки, в которую входил и Друзяев, был лишь один шанс улучшить своё материальное положение или, как мы бы сейчас сказали, качество жизни — сместить Ганчука и людей из его окружения, чтобы занять их места. Они могли лишь перераспределить весьма ограниченные ресурсы. У немолодых Друзяева и Дороднова не было в запасе и времени для ожидания. Рассчитывать на естественную смену поколений им не приходилось. Уповать на свои таланты или знания — тем более. Лишь у аспиранта Ширейко было время. Но он был слишком нетерпелив и амбициозен. Ширейко был человеком системы, классическим погромщиком образца 1949 года, сознательно решившим сполна использовать тот шанс, который дало ему время, чтобы сообщить собственной карьере мощное ускорение. За примерами далеко ходить не было нужды.

Как только из института изгнали «безродного космополита» Аструга, его спецкурс по Горькому передали аспиранту Ширейко. Грядущее изгнание профессора Ганчука открывало перед аспирантом новые заманчивые перспективы. Профессор, так любивший фланировать по пустынной набережной в своей роскошной шубе, не замечал этих людей с озлобленным самолюбием. О том, что произошло дальше, колоритно написала Лидия Яковлевна Гинзбург: «Люди фланировали над бездной, кишевшей придавленными самолюбиями. Пробил час — они вышли из бездны. Проработчики жили рядом, но все их увидели впервые — осатаневших, обезумевших от комплекса неполноценности, от зависти к профессорским красным мебелям и машинам, от ненависти к интеллектуальному, от мстительного восторга… увидели вырвавшихся, дорвавшихся, растоптавших»[309].

Итак, наступил завершающий этап интриги. Профессору Ганчуку предстояло испытать новые унижения. Было назначено расширенное заседание Учёного совета с привлечением актива института, ход которого был предопределён заранее. Николаю Васильеву предстояло безропотно выслушать облыжную критику в свой адрес и смиренно покаяться в своих ошибках. Вслед за заседанием Учёного совета должно было воспоследовать общее собрание института с такой же повесткой дня. Враги профессора настаивали на том, чтобы будущий аспирант Глебов выступил с критикой своего бывшего научного руководителя. Участия в расширенном заседании Учёного совета Вадиму Глебову, заместителю председателя научного студенческого общества, удалось избежать. В тот злополучный четверг, на который было назначено это заседание, у Вадима умерла бабушка, и он с чистой совестью не пришёл в институт, хотя и получил накануне официальное приглашение, где было сказано, что его явка обязательна. Смерть близкого человека стала его везением. Однако на общее собрание, которое состоялось в марте 1950-го, ему пришлось прийти и там выступить. Это собрание продолжалось пять часов! Не явиться на такое собрание было нельзя. Отмолчаться невозможно. Выступать заставляли всех. Каждый должен был бросить свой камень. Не избежал общей участи и Шулепа, с детских лет знавший Ганчука и ещё в школе учившийся с Соней. Даже он, имевший поддержку всесильного отчима из «органов» и широчайшие знакомства, был вынужден «врезать» профессору Ганчуку. Сразу же после этого собрания Шулепа сильно напился, его развезло, он с трудом брёл домой по улице Горького (ныне Тверской) и бормотал: «Скоты мы, сволочи…»[310] Шулепу можно было обвинить во множестве

грехов: цинизме, наглости, хвастовстве, мелком тщеславии, эгоизме, наконец, пьянстве. Но он не был *никаким*. И поэтому Шулепа сломался. Именно после собрания начался его путь вниз.

Многоходовая комбинация по изгнанию профессора Ганчука из института завершилась. Профессор был направлен на работу в областной педвуз, на укрепление периферийных кадров. Освободилась ставка заведующего кафедрой, столь вожделенная для многих. Юрий Трифонов был первым, кто очень точно показал сущность конфликта: в его основе лежал голый материальный интерес. Борьба с «низкопоклонством перед Западом» и последовательное вытеснение «безродных космополитов», в какой бы сфере оно ни происходило — будь то историческая наука или самолётостроение, вычислительная техника или генетика, оборонная промышленность или государственный аппарат, — всё это по сути сводилось к перераспределению весьма ограниченных и скудных материальных ресурсов. И многочисленные дискуссии, постоянно проводившиеся в конце 1940-х годов, не имели никакого отношения ни к научным спорам, ни к поискам истины. Профессор Ганчук, в двадцатые годы безжалостно громивший своих идейных противников, мог стремиться к искоренению инакомыслия и инакомыслящих, но он не претендовал на посты и должности поверженных антагонистов. За свою долгую жизнь профессор вволю намахался шашкой, желая переделать весь мир, поражая врагов и борясь за некие абстрактные идеалы, пусть недостижимые и ложные. После окончания войны ситуация изменилась, и сам профессор это прекрасно понял. Дороднов и его шайка боролись лишь за то, чтобы получить более высокое место в служебной иерархии, позволяющее *прилепиться* к разнообразным материальным благам, например, роскошной квартире с мебелью красного дерева или «к тортам из академического распределителя». «Все проблемы переворотились до жалчайшего облика, но до сих пор существуют. Нынешние Раскольниковы не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? И ведь, по существу, какая разница, топором или как-то иначе? Убивать или же тюкнуть слегка, лишь бы освободилось место?»[311] Размышления автора повести, вложенные Трифоновым в уста Ганчука, находят своё подтверждение в мемуарах свидетеля и участника тех далёких от нашего времени событий. Арон Яковлевич Гуревич пишет, что в годы борьбы с «низкопоклонством перед Западом» страдали не только «безродные космополиты». «Наряду с ними и некоторые другие лица, не повинные в порче арийской крови, тоже *подвергались гонениям, поскольку оказались на пути*

карьеристов, которые хотели и из-под них выдернуть профессорские кресла» (курсив мой. — *С. Э.*)[312].

Это была социальная форма перераспределения жизненно важных ресурсов. При социализме только государство распределяло все ресурсы — как людские, так и материальные. В тяжёлых послевоенных условиях, когда все силы и средства были брошены на успешную реализацию атомного проекта, создание ракетной техники, стратегической авиации и океанского флота, ни одной сфере народного хозяйства, не имеющей отношения к военно-промышленному комплексу, рассчитывать на дополнительные ассигнования не приходилось. Можно было лишь перераспределять уже имеющееся. Получался самый настоящий Тришкин кафтан. Но если герой басни Крылова помогал себе сам, кроил и перекраивал свой собственный кафтан, то в СССР человек мог уповать лишь на государство. Послевоенная разруха и нормированное снабжение населения по карточкам существовали не только в СССР, но во всей послевоенной Европе. Однако лишь в Советском Союзе государственное регулирование было доведено до самых крайних пределов, и человек не мог помочь себе сам и должен был надеяться на власть. Зубодробительные идеологические кампании имели прозаическую и пошлую житейскую подоплёку. Для большинства застрельщиков этих кампаний их начало, ведение и завершение было продиктовано лишь одним — стратегией выживания. Чтобы удовлетворить собственные первичные материальные потребности, человеку нужно было занять чьё-то чужое место или чью-то комнату в коммуналке. (Как мы помним, именно так поступил обременённый семьёй инвалид войны Канунов из «Долгого прощания», попытавшийся захватить комнату Гриши Реброва.) Бедность окружающей жизни и убожество стоявших на кону и подлежащих перераспределению ресурсов — всё это обусловливало необыкновенное ожесточение тех, кто был озабочен собственным выживанием или жаждал личного преуспеяния, но не мог полагаться на свой талант, профессиональные знания или высокую квалификацию, поэтому апеллировал к авторитету государства как критерию истины в последней инстанции и мере всех вещей.

Кипели шекспировские страсти, плелись хитроумные интриги, продумывались многоходовые комбинации, собирались компрометирующие материалы, проводились шумные многочасовые собрания, сопровождавшиеся «топотом ног и выкручиванием рук, со слезами, инфарктами, ликованием»[313] — и всё это ради того, чтобы из-под кого-то выдернуть кресло и занять освободившееся место. А когда дело было сделано и все

освободившиеся места заняты, участники шумной кампании предпочитали забыть о содеянном, навсегда вытеснив его из своей памяти. Юрий Трифонов был первым, кто описал и объяснил механизм исчезновения исторической памяти. «Всю жизнь старался об этом забыть, и почти удалось, почти забылось. <…> Потому что память — сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удерживать тяжёлые грузы. Пусть всё чугунное прорывает сеть и уходит, летит. Иначе жить в постоянном напряжении. <…> Он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать. Этого не было никогда. <…> Ну, не было, не было ничего. <…> Глебов не знал, что настанет время, когда он будет стараться не помнить всего, происходившего с ним в те минуты, и, стало быть, не знал, что живёт *жизнью, которой не было*»[314].

Итак, четверть века тому назад никакой Глебов жил жизнью, которой не было. Батон не имел стержня в самом себе и, подобно жидкости, принимал форму сосуда. Он полностью подчинялся обстоятельствам, не желая делать осознанный нравственный выбор, а предпочитая, чтобы непреодолимая сила вещей подталкивала его к тому или иному судьбоносному решению. Строго говоря, Глебов не был ни подонком, ни циником и не собирался идти по трупам, карабкаясь вверх. Всю свою жизнь Батон существовал как порождение советской эпохи и советской системы. Он привык к тому, что выбор делают за него, и не был внутренне свободным человеком, который при любых обстоятельствах старается поступать в соответствии с нравственным законом. Мораль не являлась для Глебова самодостаточной ценностью, но она не была для него и пустым звуком или чем-то малосущественным и незначительным. Угодив в западню, которую ему приготовили Друзяев и Ширейко, Глебов не без внутренней борьбы подчиняется обстоятельствам. Прежде чем начать действовать по сценарию, который разработали и навязали ему Дороднов и его шайка, будущий аспирант пытается разобраться в ситуации — осмыслить сложившуюся обстановку и свои собственные чувства к своему учителю Николаю Васильевичу Ганчуку. В известной степени Глебов ищет оправдание своему грядущему предательству: «Но ведь Николай Васильевич честнейший, порядочнейший человек, вот же в чём суть! И напасть на него — значит напасть как бы на само знамя порядочности. Потому что всем ясно, что Дороднов — одно, а Никвас Ганчук — другое. Иногда малосведущие спрашивают: в чём, собственно, разница? Они просто временно поменялись местами. Оба размахивают шашками. Только один уже слегка притомился, а другому недавно дали шашку в руку. Поэтому,

если напасть на одного, это вроде бы напасть и на другого, на всех размахивающих шашками. Но это не так. Всё же они делают разные движения, как пловцы в реке: один гребёт под себя, другой разводит руки в стороны. Ах, боже мой, да ведь разницы действительно нет! Плывут-то в одной реке, в одном направлении»[315].

Глебов прекрасно понял, что если он откажется от сотрудничества с шайкой и повернёт фронт, встав на защиту Ганчука, этот безупречный в нравственном отношении поступок не пройдёт для него бесследно. Ему придётся расстаться с мечтами об аспирантуре и фактически уйти из профессии, превратившись в мелкого клерка. А ведь Вадим Глебов не был конъюнктурщиком: в конце 1940-х — начале 1950-х он занимался добросовестным изучением, разумеется, насколько это было тогда возможно, русской журналистики восьмидесятых годов XIX века. Конъюнктурщик всегда использует в корыстных целях сложившуюся обстановку. Приспособленец умеет ловко применять к обстоятельствам свои взгляды, вкусы и убеждения. Приспособленец избрал бы в эти годы какую-нибудь «актуальную» тему, воспевающую роль партии в расцвете советской литературы или критикующую разнообразные проявления «низкопоклонства перед Западом» в советской журналистике. Бывший фронтовик Глебов не стал писать ничего подобного поэме «Золотой колокольчик», которую сочинил туркменский поэт Мансур и перевёл на русский язык бывший фронтовик Геннадий Сергеевич из «Предварительных итогов». Более того, избранная Глебовым тема исследования требовала продолжительных поисков и освоения огромного пласта разнообразных источников. Материал был столь обширен, что в нём легко можно было утонуть. То есть *никакой* Глебов изначально очень честно и добросовестно относился к своей профессии и не искал лёгких путей.

Столь же искренне Вадим пытался разобраться в своих взаимоотношениях с Соней. Разумеется, и в этом случае Глебов стремится «подогнать» решение задачи под заранее известный ответ. Он не форсировал своих отношений с дочерью профессора, которая была влюблена в него ещё со школьной скамьи. Их взаимоотношения развивались плавно, однако даже в интимной сфере Глебов не оставался самим собой, а уподобился жидкости, которая принимает форму сосуда. Потребовался толчок извне, чтобы он посмотрел на Соню как на женщину. На одной из студенческих вечеринок в гостеприимном доме профессора Ганчука никому не ведомый студент, выйдя на лестницу покурить, в лоб задал вопрос в мужской компании курильщиков: «Кто фалует Сонечку?» Кто-то указал на Глебова, что его

неприятно поразило, ибо ни о каком романе с Соней он даже не помышлял. Однако уже на следующий день Вадим подумал о том, что, став её мужем, он получит возможность поселиться в Доме на набережной и, завтракая на кухне, каждое утро видеть Кремль — его башни, дворцы и соборы. Впрочем, двигал им отнюдь не голый расчёт.

В самом начале их романа Глебов ни дня не мог прожить без Сони — это была самая настоящая страсть, глубокое и искреннее чувство. Всю зиму они тайно встречались на профессорской даче. Накал чувств был так высок, а взаимное притяжение — столь сильно, что и Вадим, и Соня были вынуждены пересдавать экзаменационную сессию. Затем появилась холостяцкая берлога одного из приятелей Глебова. Если бы юноша из Дерюгинского переулка хотел лишь одного — перебраться из своей коммуналки в Дом на набережной, то он не стал бы тянуть время и поспешил бы оформить свою связь с Соней. Их роман продолжался уже год, когда об этом разнюхал заведующий учебной частью Друзяев. А профессор Ганчук и вовсе узнал об этом от Сони, когда Глебов уже угодил в расставленную для него ловушку. Не исключено, что и в этом случае сработала врождённая глебовская осторожность, в которой даже он сам себе не всегда мог дать отчёт. И как бы ни хотелось Глебову перебраться в Дом на набережной, аура этого места была такова, что осторожность возобладала над всем прочим. «Тот ужасный дом» — так охарактеризовала его Алина Фёдоровна, мать Шулепы. Почти всем жителям этого дома была свойственна некая фанаберия. Однако жильцы Дома на набережной слишком часто *исчезали.* «Те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать»[316].

Осторожность и на сей раз не подвела его. Не без внутренней борьбы Глебов расстался с Соней. Последний раз в её доме он появился вскоре после злополучного заседания Учёного совета института, но ещё до общего собрания. Обещал позвонить — и не позвонил никогда. «А Глебов упорно вёл следствие о себе самом, ибо хотя не знал на опыте, но догадывался или же читал в какой-то умной книге: нет коварней союза, основанного псевдолюбовью. Тут будут несчастья, гибель или же пресное, тягучее прозябание, которое и жизнью не назовёшь. Но вот как разгадать?» В сложившейся ситуации, когда в институте уже началась откровенная травля профессора Ганчука, порядочный человек никогда бы не стал задавать самому себе подобных вопросов. Человек, имеющий нравственный стержень, знал бы, как должно поступить в этом случае. Человек чести женился бы на Соне. Но Батон не был таким человеком. *Никакой* Глебов пытался найти резоны, которые бы позволили обелить то, что он собирался

сделать и что в конечном итоге сделал, — бросил Соню и на собрании в институте метнул камень в её отца. Как очень зло, но исключительно точно сказал Шулепа, Батон хотел остаться *чистюлей,* со стороны наблюдающим за тем, как другие вымажутся в грязи. За всем этим пристальным самокопанием и желанием отыскать *благовидный повод для неблаговидного поступка*, чтобы любой ценой оправдать неотвратимое собственное предательство, стоял всепроникающий страх. Страх был настолько силён, что Глебов боялся дать себе в этом отчёт. Он пытался убедить самого себя в том, что его чувства к Соне иссякли. Именно это, а не то, что у её отца начались неприятности, является настоящей причиной его разрыва с девушкой. Глебову удалось уверить себя в этом, и лишь спустя годы он понял скрытую мотивацию своих поступков.

«Но то, что казалось тогда очевидностью и простотой, теперь открывается вдруг новому взору, виден скелет поступков, его костяной рисунок — это рисунок страха. Чего было бояться в ту пору глупоглазой юности? Невозможно понять, нельзя объяснить. Через тридцать лет ни до чего не дорыться. Но проступает скелет…»[317]

Разрыв с возлюбленным не прошёл для Сони бесследно: девушка заболела душевной болезнью, долго и безуспешно лечилась, и эта болезнь свела её в могилу. Ещё раньше, через несколько лет после истории с Ганчуком, скоропостижно скончалась Юлия Михайловна. После смерти дочери Ганчук остался совсем один. Хотя он сумел одержать верх над своими давними недругами и в конечном счёте, уже после смерти Сталина, сумел вернуть утраченные позиции, главное в его жизни было безвозвратно утрачено. Это прекрасно чувствовали окружающие и обращались с ним без прежнего пиетета. Успех Дороднова и его шайки был кратковременным. Сам Дороднов был сокрушён и где-то сгинул в безвестности, так и не сумев ничего добиться. Друзяева через несколько лет после этой истории с треском выгнали из института, он пережил инсульт и скончался в марте 1953-го, вскоре после смерти вождя. Аспирант Ширейко так и не смог стать заметным деятелем, выбиться в лидеры большого калибра: всё ограничилось непродолжительным тактическим успехом, когда он гремел на собрании, навешивая ярлыки на профессора Ганчука. Впрочем, не состоялись и те, кто с открытым забралом защищали Ганчука. К их числу принадлежала Марина Красникова, активистка научного студенческого общества и яростная защитница профессора. «Что с ней стало? Куда делась? Ведь казалось, толстуха прямым ходом идёт в Академию наук или, может быть, в Комитет советских женщин. Исчезла без

отзвука, как камень на дно…»[318]

Река времени поглотила всех — и тех, кто строил козни и травил профессора Ганчука, и тех, кто безуспешно пытался им противостоять. Никому не удалось состояться и преуспеть. Выплыл один Глебов. Человек, никогда не плывший против течения, всегда принимавший решение под давлением обстоятельств и полностью лишённый индивидуальности. Словом, *никакой*. Обстоятельства времени и места были таковы, что уцелеть и преуспеть могли лишь никакие. Глебов принадлежал к поколению, родившемуся, выросшему и сформировавшемуся при советской власти: эти люди, за редчайшим исключением, не только не обладали внутренней свободой, но даже не подозревали о её существовании. Идеальный советский человек был человеком никаким. Впрочем, этот преуспевший и благополучный, по советским меркам, человек не был счастлив, удовлетворён своей жизнью и всем тем, что она принесла, — всё это «отняло так много сил и того невосполнимого, что называется жизнью»[319].

Глава 11
СТОРОЖКА НА КРОВИ

Жизнь текла плавно. Четверть века, пробежавшие от смерти Сталина до выхода романа Трифонова «Старик» (1978), были временем относительно спокойным и благополучным. За все годы существования советской власти, в 1977 году отметившей свой 60-летний юбилей, это был самый безмятежный период. Всепроникающий страх былых лет, хотя и не был стёрт ластиком, существовал в каком-то глухом подвале памяти, куда спускались всё реже и реже. Жизнь больше не переламывалась. Смерть Сталина стала последним потрясением, разделившим жизнь каждого на *до* и *после.* Если человек открыто не противопоставлял себя власти, если он демонстративно не отвергал так называемые ценности социалистического общества, то он мог быть спокоен за свою личную безопасность. В эти годы страна не знала ни войны, ни голода, ни социальных потрясений. Да, в эти четверть века был разоблачён культ личности, подавлен мятеж в Венгрии, воздвигнута Берлинская стена, расстреляна мирная демонстрация в Новочеркасске, введены танки в Чехословакию. Но если советский человек не был в эпицентре этих событий, то по его жизни и судьбе все эти события скользили лишь по касательной. Траектория его жизни не менялась. Кто же преуспел больше других в эти годы? Кто же стал героем этого времени?

В подмосковном дачном посёлке умерла хозяйка небольшого домика, сторожки. Выморочное имущество — две комнатки с кухней и веранда — должно было обрести нового владельца. Подобно тому как героиней романа Оноре де Бальзака «Кузен Понс» (1847) стала бесценная коллекция произведений живописи, которую всю жизнь собирал чудак Понс, так и героиней романа Юрия Трифонова «Старик» стала сменившая многих хозяев сторожка. Членам дачного кооператива на общем собрании предстояло решить, кому она достанется. Претендентов было несколько, однако реальные шансы получить вожделенный домик были лишь у двоих из них. Борьба между Русланом Павловичем Летуновым и Олегом Васильевичем Кандауровым предстояла нешуточная.

Старик Павел Евграфович Летунов ещё при своей жизни передал сыну Руслану свой пай в дачном кооперативе. По воскресеньям на даче за обеденный стол садилось много народу: сам старик Летунов, недавно похоронивший жену Галю, его свояченица Люба, его дети — сын Руслан и дочь Вера; вторая

жена Руслана Валентина и их сын-школьник Гарик, друг Веры Николай Эрастович; первая жена Руслана Мюда и их сын-студент Виктор. Мюда и Руслан, которого в детстве звали просто Руськой, жили в дачном посёлке ещё до войны. С этим местом у них, помимо всего прочего, связаны общие детские воспоминания. Семья большая, все сидят друг у друга на голове, старый дачный домик семье Летуновых тесен, и обретение выморочной сторожки помогло бы решить не только эту проблему. Николай Эрастович, чей роман с Верой тянется уже семь лет, не торопится оформить отношения и мечтает о жизни в своём углу. Если Летуновы получат сторожку, то эта сторожка, скорее всего, достанется Вере, и тогда Николай Эрастович наконец сделает ей предложение, и уже немолодая женщина обретёт семью. Дачная сторожка, из-за которой в кооперативе вот-вот должна была вспыхнуть серьёзная схватка, помнила многое. Небольшой одноэтажный домик, неодушевлённый объект, построенный ещё до революции, был едва ли не единственным связующим звеном между Россией дореволюционной и Россией советской. История сторожки и её владельцев — это история страны в миниатюре.

«Когда-то на участке, где расположились пять кооперативных дач, стоял помещичий дом, сожжённый в революцию, чуть ли не летом семнадцатого, так что в поджоге были повинны не новые власти, а лихие заречные мужики, порешившие дело самосудом. Фамилия помещицы сохранилась в памяти молочниц, дровоколов, старух, таскавших по дачам грибы да ягоду: Корзинкина. Эта Корзинкина, от которой не осталось и следа, кроме красивых, из белого камня, с остроугольным верхом, похожих на кладбищенские ворот, сжечь которые не представлялось возможности, и каменистой, в древнем цементе дорожки, щербатой и чрезвычайно опасной для велосипедистов…

Кроме кладбищенских ворот от бывшего имения осталось вот что: деревянный домик вблизи въезда, где жил сторож. Избушку пощадили огнём лишь потому, вероятно, что она принадлежала трудящемуся человеку, который, впрочем, сгинул вместе с хозяевами. Это была аккуратно сложенная из крупных брёвен изба на каменном фундаменте, с высоким крыльцом, с верандочкой, двумя комнатами и кухней»[320].

В 1926 году, когда несколько московских интеллигентов пролетарского происхождения облюбовали горелую пустошь для дачного кооператива «Буревестник», когда большевики ещё не сломали хребет нэпу и достать необходимые для строительства дачи материалы не было большой проблемой, — в то далёкое время на бывшую сторожку никто не позарился, и домик без особых хлопот занял работник Рабкрина (Рабоче-крестьянской

инспекции) Мартын Иванович Изварин с женой и сыном. Первым читателям романа «Старик» не надо было объяснять смысл этого слова. Все советские студенты на занятиях по истории партии в обязательном порядке читали и конспектировали статью Ленина «Как нам организовать Рабкрин», но не все знали, что первым наркомом Рабкрина был Сталин. Сам Мартын Иванович сгорел в огне «большого террора» летом 37-го, через несколько месяцев не стало его жены Клавдии, сын Санька хлебнул лиха, а сторожка обрела новых хозяев. Сменились и владельцы дач. Из основателей «Буревестника» погибли почти все. Уцелел лишь Семён Бурмин, до революции успевший побывать в ссылке, а во время Гражданской бывший важной фигурой и заслуживший орден Красного Знамени, но после окончания Гражданской войны отжатый от власти. Бурмин, его жена и её многочисленные родственники — все были поклонниками «нагого тела» и общества «долой стыд». Не только на своём участке, но и на общественном огороде они демонстративно разгуливали в непотребном виде, то есть в чём мать родила. Кто-то негодовал, кто-то смеялся, кто-то грозил, что напишет жалобу, однако, как впоследствии размышлял Саня Изварин, возможно, именно эта вызывающая странность в поведении солидного человека, граничившая с глупостью, и помогла ему уцелеть, тогда как все, кто над ним смеялся, погибли.

«Нудизм, но с какой-то *передовой* начинкой. Кончилось всё однажды скандальным криком. Но была ли то глупость, как полагал отец? Был ли истинно глуп этот сын землемера с козлиной бородкой, кого выметнула на гребень чудовищной силы волна? Теперь, спустя три с лишним десятилетия, то, что казалось аксиомой — глупость Бурмина, — представляется сомнительным. Ведь он единственный среди интеллигентов, основавших „Буревестник“, пробурил насквозь эти годы, набитые раскалёнными угольями и полыхавшие жаром, и вынырнул *безувечно* из огня в прохладу глубокой старости и новых времён. Говорят, умер недавно»[321]. В показной глупости Семёна Бурмина была своя система. Это была экстравагантная и рискованная, но, как оказалось, весьма действенная стратегия выживания. Итак, из основателей дачного кооператива лишь Бурмин умер своей смертью. «А остальные старики? Смыло, унесло, утопило, угрохало…» [322]

Бывшая сторожка при въезде в барское имение досталась до той поры обитавшим в сыром подвале большого дома крикливой и завистливой грубиянке Аграфене Фёдоровне и её мужу Василию Кузьмину, коменданту дачного поселка и дворнику по совместительству. Аграфена, которую ещё до войны все в посёлке

уничижительно называли Гранькой, была настолько бестактна, что вскоре после исчезновения Мартына Изварина демонстративно пришла осматривать сторожку ещё до того, как Санька Изварин с матерью покинули дачный посёлок. Покинули навсегда. На резонный вопрос Клавдии Извариной, зачем она пришла в их дом, Гранька недоуменно ответила: «Да как зачем, Клавдия Алексеевна? Ведь ваше помещение нам отходит. А не глядемши брать…»[323]

Но вот умерла Аграфена, и её домик стал настоящим яблоком раздора. Председатель кооператива Приходько отыскал Саньку, давно уже ставшего Александром Мартыновичем, и предложил ему принять участие в борьбе за освободившуюся выморочную сторожку и попытаться вернуть себе некогда принадлежавшее его родителям имущество. Прошлое и сопряжённая с этим прошлым трагедия его семьи — всё это напомнило о себе и материализовалось в настоящем Александра Мартыновича в образе жалкой сторожки. Изварин, не желавший даже пытаться дважды входить в одну и ту же реку, отказался.

Итак, судьба сторожки должна была решиться в борьбе между Летуновым и Кандауровым. Желая повысить свои шансы на победу, Руслан настойчиво просил своего отца переговорить с председателем кооператива Приходько и заручиться его поддержкой на общем собрании пайщиков. Об этом же умоляла отца и Вера. Старик Летунов наотрез отказался. У него с Приходько были давние счёты. Давным-давно Приходько солгал, скрыв своё пребывание в юнкерском училище: он «барахтался как мог, чтобы перекрутиться в суровой жизни»[324]. Павел Евграфович «вычистил» бывшего юнкера из партии, резонно посчитав, что Приходько вступил в партию из карьерных соображений. Приходько никогда не забывал об этом и при случае стремился навредить Летунову, благо в годы «большого террора» поводов для этого было достаточно. Репрессии коснулись и Павла Евграфовича: он два года провёл в лагере, работал на лесоповале и был освобождён перед самой войной. После освобождения Летунов был прописан в Муроме и не имел права легально жить в Москве и её окрестностях. Когда он без разрешения появился в подмосковном дачном посёлке, Приходько поспешил на него донести. Начавшаяся война спасла Летунова от неминуемого ареста. Павел Евграфович записался в ополчение и пошёл воевать. Всю войну воевал рядовым солдатом, дважды был ранен. Его фронтовые пути-дороги случайно пересеклись с дорогами сына Руслана, воевавшего в танковых частях. Отец и сын Летуновы вместе защищали Родину. И хотя на войне погиб сын Приходько, это не примирило старика Летунова с бывшим

юнкером. Его покойная жена Галя демонстративно не здоровалась с Приходько и его женой, до самого своего смертного часа помнила о нанесённой обиде. Старик, хотя и раскланивался при встрече с соседом, а иногда и беседовал с ним, считал ниже своего достоинства просить о чём-либо Приходько. Растянувшаяся на полвека история взаимоотношений Летунова и Приходько по сути является обвинительным приговором советской власти. Власть стравливала людей, ставила их в такие обстоятельства, при которых обыкновенные и не отличавшиеся кровожадностью люди были вынуждены доходить до крайнего предела и уничтожать друг друга. Летунов — честнейший и бескорыстнейший человек. Приходько — подлец. Но суть дела от этого не меняется. Павел Евграфович, «вычищая» бывшего юнкера из партии, действовал исключительно из идейных соображений: он верил в то, что человек, скрывший от партии своё прошлое, должен быть из этой партии исключён. Исключение из партии могло сломать человеку жизнь и иметь самые непредсказуемые последствия, веер которых был весьма широк — от запрета на занятие руководящих должностей до ареста и расстрела. Приходько выплыл из бурного водоворота, уцелел и его нельзя винить в том, что он решил посчитаться со своим обидчиком.

Действие романа «Старик», как и действие повести «Дом на набережной», начинается жарким и удушливым летом 1972 года[325]. Это совпадение вряд ли было случайным. «Дом на набережной» — это хроника преуспеяния никакого Глебова, история жизни идеального советского человека. Он ухитрился прожить жизнь и преуспеть в ней, плывя по течению и не вступая в конфликт ни с кем. «Старик» — это история жизни людей не идеальных, хотя и вполне советских. Юрий Трифонов в очередной раз «дочерпывает» тему. В «Доме на набережной» нет ни одного персонажа, за исключением Сони, вызывающего наше сочувствие и сострадание. Этих людей не пощадило время, но их не жалеем и мы. Иное дело герои «Старика». Все они вызывают и наше сочувствие, и наше сострадание.

Роман «Старик» — это история трагической и неразделённой любви Паши Летунова к Асе Игумновой. Они были соседями, жили на Пятнадцатой линии Васильевского острова в Петербурге, вместе учились. Паша и Ася были ровесниками века. Асе было 14 лет, когда началась Первая мировая война, и 18 лет, когда началась Гражданская. Паша родился на несколько месяцев позже Аси, он был почти её ровесником, и это «почти» мучило его всю жизнь. Ему казалось, что ещё со школьных лет Ася смотрит на него слегка свысока, как на маленького. Первый раз Ася вышла замуж за своего двоюродного брата Володю, жившего в их семье.

Это произошло вскоре после революции, которая смела со своего пути многое, в том числе прежнее законодательство. До революции для заключения брака между двоюродным братом и сестрой требовалось получить разрешение Святейшего синода. Революция одним ударом покончила с подобными условностями — и этот брак стал возможен. Через несколько дней после Октябрьского переворота, который в момент совершения никто ещё не называл революцией, Ася и Володя, с большим трудом достав билет на поезд, покинули Северную столицу и отправились на юг. Володя погиб в Гражданскую, а чудом оставшаяся в живых Ася стала женой Сергея Кирилловича Мигулина. Всю свою долгую жизнь Летунов самозабвенно любил Асю, но судьба распорядилась так, что Ася постоянно ускользала от него. Если бы не революция, то Ася никогда бы не стала женой своего двоюродного брата. Если бы в стране не началась Гражданская война, то траектория жизни рафинированной петербургской барышни никогда не пересеклась с траекторией жизни войскового старшины (подполковника казачьих войск) Мигулина. Казачий офицер Мигулин воевал на стороне красных и был одним из создателей Красной армии.

Глядя на события тех давних лет из 1972 года, Павел Евграфович приходит к выводу, что Ася и Володя, против собственной воли втянутые в водоворот событий русской Смуты, оказались в Красной армии случайно. «Как попали к Мигулину? Всё тот же случай, поток, зацепило, поволокло. <…> Ведь тогда, в ноябре, когда он и Ася бежали из голодного Питера, и мысли не было у обоих сражаться за революцию. Повернуло их время, загребло в быстроток, понесло…»[326] А к большевикам Володя примкнул внезапно, «изумившись идее». Время разломило семью Игумновых надвое. Алексей, Асин старший брат, воевал на стороне корниловцев и был убит. Мать Аси после гибели Алексея прокляла Асю и Володю. А сама вместе со старшей дочерью Варей и её мужем эмигрировала в Болгарию, а затем все они перебрались во Францию.

Да и у самого Паши Летунова его путь в Красную армию не был жёстко предопределён и в значительной степени стал делом случая. Само это слово «случай» упоминается в романе восемнадцать раз! Хотя Шура, родной брат матери Паши Летунова, был профессиональным революционером и каторжанином, колея жизни самого Паши могла быть иной, никак не связанной с участием в Гражданской войне на стороне красных. Всё могло сложиться иначе.

«Вот этого не понимаю: чёрные да белые, мракобесы да ангелы. И никого посередке. А посерёдке-то все. И от мрака, и от

бесов, и от ангелов в каждом… Кто я такой в августе семнадцатого? Сейчас вспоминая, не могу ни понять, ни представить себе отчётливо. Конечно, и мать, и дядя Шура, и какие-то новые друзья… Общий хмель… Но ведь достаточно было в январе, когда умерла мама, тронуться чуть в сторону, куда звал отец, или ещё куда-то, куда приглашали старики Пригоды, или, может быть, позвала бы с собой Ася, не знаю, кем бы я был теперь. Ничтожная малость, подобно лёгкому повороту стрелки, бросает локомотив с одного пути на другой, и вместо Ростова вы попадаете в Варшаву. Я был мальчишка, опьянённый могучим временем. Нет, не хочу врать, как другие старики, путь подсказан потоком — радостно быть в потоке — и случаем, и чутьём, но вовсе не суровой математической волей. Пусть не врут! С каждым могло быть иначе»[327].

Хотя с каждым могло сложиться иначе, однако не каждый мог похвастаться бескорыстием, свойственным Павлу Евграфовичу Летунову. Для него участие в революции и Гражданской войне было служением идее. Он не стремился ни к власти, ни к славе. Волею судеб юный Паша Летунов оказался вовлечён в клубок интриг, направленных против командира казачьего корпуса Мигулина, не просто воевавшего на стороне красных, но бывшего одним из создателей Красной армии и ставшего одним из наиболее победоносных военачальников Гражданской войны. Ася Игумнова, служившая в его штабе машинисткой и печатавшая его воззвания, стала после гибели Володи женой Сергея Кирилловича и родила от него сына.

У Мигулина было обострённое стихийное чувство справедливости, которое неминуемо приводило его к конфликту с властью, вне зависимости от того, была ли эта власть царская или советская. Казачий офицер Мигулин ещё во время Первой русской революции 1905 года отказался выполнять полицейские обязанности, за что поплатился арестом, лишением офицерского звания и увольнением из армии. Начавшаяся Первая мировая война вернула ему чин. Мигулин заслужил новые боевые отличия и стал заметной фигурой в казачьем сословии, чему в немалой степени способствовало его умение выступать на митингах и увлекать толпу за собой. Он был настоящим самородком, обладавшим не только полководческим даром, но и колоссальной интуицией, которая, однако, была абсолютно лишена чувства самосохранения.

Чутье подсказывало Мигулину, что проводимая большевиками политика военного коммунизма, сопровождавшаяся принудительным изъятием у крестьян и казаков излишков хлеба, является чудовищно несправедливой.

Активно противодействовал он и так называемому расказачиванию, которое жестоко проводилось на Дону по указке из Москвы. Сергей Кириллович Мигулин был трагически одинок. Белые нарекли его «Иудой донской земли» и жестоко расправились с его семьёй. Красные ему не доверяли, считая скрытым и хорошо замаскировавшимся донским сепаратистом, примкнувшим к революции из честолюбия. Председатель Реввоенсовета Троцкий считал его чуждым элементом. Положение Сергея Кирилловича осложнялось тем, что товарищи по оружию болезненно завидовали его громкой славе. Его трагический конец был предопределён. По надуманному обвинению, санкционированному Москвой, командир корпуса Мигулин был объявлен вне закона, арестован и отдан под суд, приговоривший его к расстрелу. Паша Летунов был назначен секретарём этого суда. Но, исходя из политических соображений, центральная власть отменила смертный приговор и помиловала Мигулина, ограничившись его разжалованием и удалением с Дона. Обострение обстановки на фронтах заставило власть вновь обратиться к победоносному военачальнику. Мигулин вновь получил видный военный пост, отличился при разгроме Врангеля и взятии Перекопа, за что наряду с орденом Красного Знамени был удостоен Почётного революционного оружия — это была высшая полководческая награда времён Гражданской войны[328]. В феврале 1921 года назначенный на почётную должность главного инспектора кавалерии Красной армии, направлявшийся в Москву Мигулин сделал крюк и заехал в родную станицу. Станичники стали жаловаться военачальнику на несправедливости, чинимые продотрядами. Это было за несколько месяцев до отмены продразвёрстки и замены её продналогом. Мигулин, никогда и никого не боявшийся, пригрозил местным властям, что в Москве пойдёт к самому Ленину и расскажет о творящихся на Дону злодействах. На третий день пребывания в родной станице Мигулин был арестован местными властями, облыжно обвинившими командира корпуса в том, что он сознательно прибыл на Дон, намереваясь возглавить контрреволюционное восстание казаков против советской власти. Арест закончился смертью Сергея Кирилловича. У этого литературного героя было два реальных прототипа — это Борис Мокеевич Думенко и Филипп Кузьмич Миронов. И тот и другой были героями Гражданской войны. Думенко был расстрелян по обвинению в убийстве комиссара, Миронов был арестован на Дону, доставлен в Москву и якобы по приказу Троцкого убит часовым во время прогулки в Бутырской тюрьме, его смертный приговор был оформлен задним числом. В

годы оттепели и Думенко, и Миронов были посмертно реабилитированы. Однако активное противодействие маршала Будённого привело к тому, что имена этих военачальников находились под негласным запретом.

В 1921 году Паша Летунов на вопрос следователя, допускает ли он возможность участия Мигулина в контрреволюционном восстании, ответил искренне: «Допускаю». Это мучило его всю оставшуюся жизнь. Долгие годы Павел Евграфович самоотверженно боролся за реабилитацию Мигулина, изучал архивные документы и опрашивал свидетелей, преодолевая сопротивление тех, кто не желал возвращать герою честное имя. Его изыскания никому не были нужны и никого не интересовали — ни уцелевших ветеранов Гражданской войны, ни детей старика. Ветераны не желали ворошить далёкое прошлое и пересматривать давний приговор. У детей старика была другая жизнь, никак не связанная, как им казалось, со временем давно прошедшей юности их отца, и история Гражданской войны не входила в круг их интересов. Точно такая же ситуация сложилась и в семье Аси Игумновой, превратившейся в сгорбленную старушку. Её единственный сын, отцом которого был Мигулин, умер, а невестку и внука не интересовало прошлое Аси.

Трифонов очень точно запечатлел парадоксальную ситуацию, сложившуюся в советском обществе. Образованные люди, постоянно ведущие споры о смысле и назначении истории, готовые до хрипоты пререкаться об Иване Грозном, его опричниках и расширении границ Московского государства, сравнивая времена опричнины в России с тем, что происходило в это время в Европе, и неявно проводящие аналогию между бесчинствами опричников и сталинскими репрессиями, — эти люди абсолютно не интересуются тем временем, которое опалило Летунова, и не замечают, что оно продолжает тлеть в виде непогасших головешек. Ведь Павел Евграфович был участником грандиозных исторических событий, определивших судьбу страны! Но их не интересует подлинная история. Они не способны постигнуть суть вещей и скользят по поверхности явлений. Они существуют внутри некоего мифа и не собираются выходить за его пределы. Слабые попытки старика рассказать о Мигулине наталкиваются на стену равнодушия. Павел Евграфович как очень чуткий и деликатный человек мгновенно ощущает эту реакцию своих детей и их друзей — и обрывает свой рассказ на полуслове. Почитающие себя интеллигентными людьми дети старика упускают уникальную возможность услышать рассказ живого свидетеля трагедии страны.

При этом Юрий Валентинович Трифонов не спешит никого

осуждать. Руська, сын старика, человек достойный. Он воевал во время Великой Отечественной, а в мирное время уже немолодым пятидесятилетним человеком добровольно отправился на тушение пожаров в подмосковных лесах, едва не погиб и попал в больницу. Его жизнь нельзя назвать счастливой. Он работает главным инженером на каком-то заводике. Отношения с сослуживцами не заладились, Руслан Павлович и в зрелом возрасте оставшийся всё тем же Руськой, конфликтует с коллегами и намеревается сменить работу. По сути этот конфликтный и прямолинейный человек сбегает от надоевших сослуживцев на тушение пожара. Не сложилась и его семейная жизнь. Руслан второй раз женат, но его брак находится на грани распада: в его жизни появилась новая женщина, которая и ухаживает за ним в больнице. Ни жену, ни сестру он не хочет видеть и даже запретил приезжать им в больницу. Он много пьёт и, когда выпьет, теряет контроль над собой.

«Царь Иван разорвал Россию надвое и развратил всех: одних сделал палачами, других жертвами… Ах, да что говорить! Когда напал Девлет-Гирей и надо было… надо было… Тут Руслан вдруг поник, опустился на стул и слабым, задушенным голосом закончил: — Опричники, сволочи, и воевать-то не умели… Откуда им?.. И сам сбежал, царь называется… Отдал нас на поругание, спалили Москву поганые… — Ещё что-то бубнил невнятное, вытирая ладонью щёки, бороду. Ну, конечно, слёзы. Когда выпивал, становился безобразно слезлив»[329]. Эта живописная сцена стоит иного романа и не требует комментариев: в ней заключена квинтэссенция тех многочисленных споров, которые велись шестидесятниками.

Конкурент Руслана Летунова за обретение сторожки Олег Кандауров далёк от подобного рода размышлений. Он не задумывается о смысле истории, а успешно решает свои проблемы, действуя настойчиво и *до упора.* Он не заморачивается, как бы мы сейчас сказали, никаким абстрактным философствованием. Во всём доходить до упора — такова суть его практической жизненной философии. И она не подводит Олега Васильевича. Он самый успешный из всех героев трифоновской прозы. В конце 1970-х олицетворением успешности стал не высокооплачиваемый учёный, кандидат или доктор наук, а человек, работа которого предполагала длительные, продолжавшиеся несколько лет заграничные командировки. В условиях товарного дефицита, усиливавшегося с каждым годом, даже высокая зарплата не была гарантией высокого жизненного уровня. Вспомним, что доктор наук и директор института Глебов был вынужден, как простой смертный, чтобы купить нужный ему

стол, разыскивать какого-то Ефима из мебельного магазина и в нечеловеческую жару ехать в этот магазин на другой конец города. Сейчас уже нужно подробно объяснять, почему для любого советского человека заграничная командировка была столь вожделенна. Во-первых, такая поездка позволяла выбраться за пределы железного занавеса, что само по себе уже резко выделяло человека в глазах окружающих. Во-вторых, работая за границей и экономя на всём, можно было скопить валюту и приобрести товары, о которых в Советском Союзе можно было только мечтать. Недавно опубликованные дневники Леонида Ильича Брежнева донесли до нас выразительную деталь: Генеральный секретарь ЦК КПСС просит посла в ГДР Петра Андреевича Абрасимова о личной услуге — привезти ему хороший немецкий фен[330]. Комментарии излишни. В-третьих, в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик и некоторых крупных портовых и курортных городах Советского Союза существовали закрытые для обычных граждан магазины «Берёзка». В этих магазинах иностранцы — за валюту, а работающие за рубежом советские граждане — за сертификаты, а позднее чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга могли приобрести дефицитные товары, отсутствовавшие в обычных магазинах, — от чёрной и красной икры до автомашины «Волга» в экспортном исполнении.

Киноактриса Марина Влади, имевшая французское подданство, вспоминает о своей жизни с Владимиром Высоцким в Москве, и этот абзац из её воспоминаний стоит иной монографии по истории повседневной жизни советского человека. «Я устраиваю нашу комнату наилучшим образом, чтобы здесь можно было жить и работать. В свободные дни я готовлю, навожу лоск, учусь бегать по магазинам, стоять на холоде в очередях за продуктами. Я хожу на рынок, где втридорога продают фрукты, овощи, мясо. Ещё, конечно, я могу покупать на валюту в „Берёзке“. Здесь можно найти всё, чего нет в магазинах: американские сигареты, растворимый кофе, туалетную бумагу и даже яйца, картошку, салат, которых иногда нет неделями. У тебя много приятелей среди директоров продуктовых магазинов. Чтобы порадовать тебя, они оставляют нам дефицитные вещи: парное мясо, копчёную рыбу, свежие фрукты. Ты приносишь все эти сокровища домой, для меня»[331].

Внимательные читатели «Старика» без дополнительных комментариев прекрасно понимали, что синяя «Волга», на которой разъезжает Кандауров, куплена им в «Берёзке», а двухкомнатная квартира его приятеля Игоря, в которой происходят интимные свидания Кандаурова и его любовницы

Светланы, оснащена импортными вещами, двумя японскими вентиляторами и немецкой сантехникой, приобрести которые мог только человек, постоянно работающий за границей. «У Игоря была царская ванная, всё замечательно оборудовано, со всякими новейшими приспособлениями, которые он вывез из ФРГ. Был даже телефон в особой маленькой нише, вделанной в стену: если станет дурно, успеете дотянуться до телефона и вызвать „03“»[332]. О подобном великолепии в своей кооперативной квартире вполне успешный и состоявшийся Глебов из «Дома на набережной» не мог даже мечтать. А не очень успешный интеллигентный читатель и почитатель Трифонова из числа инженеров, мэнээсов или эсэнэсов воспринимал этот абзац как повествование о Зазеркалье или обратной стороне Луны — для него всё это было какой-то фантастикой. Но этот интеллигентный читатель был прекрасно осведомлён о том, что продолжительная заграничная командировка, вне зависимости от занимаемой должности и страны пребывания, выводит человека на качественно иной уровень материального потребления, принципиально недостижимый для тех, кто профессионально состоялся и хорошо зарабатывал, но никогда не бывал за границей. Не лётчик, не полярник, не офицер, не остепенённый научный сотрудник, не вузовский профессор и даже не член творческого союза, нет, не они были в 1970-е годы олицетворением безусловного жизненного успеха. Воплощением успеха стал загранработник. Не только примитивными обывателями и озабоченными лишь повышением своего материального благосостояния мещанами, но и образованной частью общества продолжительные заграничные командировки воспринимались как необходимое и достаточное условие жизненного успеха. Это было аксиомой, которую никто не рискнул бы подвергнуть сомнению, справедливо опасаясь, что его обвинят либо в лицемерии, либо в зависти.

Именно так считал Олег Васильевич Кандауров. Трифонов не говорит о том, где работает этот персонаж романа. Очевидно, что его работа непосредственно связана с заграницей. Среди его ежедневных планов, которые он заносит в записную книжку, значится и Внешпосылторг[333]. В момент выхода в свет романа «Старик» скрытый смысл этой многозначительной записи, состоящей из одного слова, был доступен лишь тем современникам Трифонова, кто работал за границей или издавался за рубежом. В наши дни эта запись требует обстоятельного комментария. Сертификаты (позднее — чеки) Внешпосылторга были своеобразной «параллельной валютой», которой платили зарплату советским гражданам, работавшим за

границей. Государство фактически побуждало эту категорию граждан беречь иностранную валюту во время их пребывания в продолжительной заграничной командировке и не тратить её на приобретение импортных товаров. Загранработники имели право до 60 процентов получаемой зарплаты зачислять на свой счёт во Внешторгбанке, а после возвращения из командировки получить всю накопленную сумму или её часть в виде сертификатов Внешпосылторга. Сертификаты были трёх типов. Советские граждане, работавшие в социалистических странах, получали наименее ценные «сертификаты с синей полосой»; работавшие в странах третьего мира — более ценные «сертификаты с жёлтой полосой»; те, кому довелось трудиться в странах со свободно конвертируемой валютой, получали самые ценные и наиболее престижные «бесполосные сертификаты». Лишь две последние категории сертификатов, «жёлтополосые» и «бесполосные», фактически замещали собой инвалютный «золотой» рубль, существовавший не как физическая, а как условносчётная единица. Формально зарплата загранработников не сильно отличалась от той, что получали их коллеги в Советском Союзе, занимавшие аналогичные должности. Однако фактически у этих зарплат была не только разная покупательная способность, но качественное различие в наполнении товарной корзины. Сертификаты Внешпосылторга можно было на легальном основании отоварить в магазинах «Берёзка», приобретая на них дефицитные товары или продукты питания, которых не было в обычных советских магазинах, или же внести в качестве взноса при вступлении в жилищно-строительный или гаражный кооператив. При этом некоторые товары, например импортную западную технику, можно было приобрести лишь за «бесполосные» сертификаты. Различные сертификаты обладали различной покупательной способностью: «Волга» ГАЗ-21 стоила 5,5 тысячи рублей в «сертификатах с синей полосой» и только 1,2 тысячи в «бесполосных» или «жёлтополосых». Иными словами, зарплата загранработника в «бесполосных» сертификатах фактически была почти в пять раз выше аналогичной зарплаты его коллеги в Советском Союзе, выплачиваемой в «деревянных» советских рублях.

В сентябре 1974 года в журнале «Крокодил» № 27 было опубликовано сатирическое стихотворение Евгения Евтушенко «Дитя-злодей», содержащее окарикатуренный портрет студента-международника, мечтающего о будущих заграничных поездках и «бесполосных» сертификатах. В момент появления это стихотворение вызвало значительный скандал, на который автор, должно быть, и рассчитывал. На страницах «Комсомольской

правды» появился анонимный стихотворный ответ «Лирику-сатирику», написанный от лица студентов-международников. Но вскоре все забыли и о стихотворении, и о скандале. И не стоило бы ворошить эту давнюю историю, если бы не одно существенное обстоятельство. Персонаж этой злой сатиры фактически стал литературным предтечей трифоновского Кандаурова.

В глазах виденья, но не бога:
Стриптиз и бар,
Нью-Йорк, Париж
И даже Того
и Занзибар.
Его зовёт сильней, чем лозунг
И чем плакат,
Вперёд и выше — бесполосный
Сертификат.
В свой электронный узкий лобик
Дитя-злодей
Укладывает, будто в гробик,
Живых людей.
И он идёт к своей свободе,
Сей сукин сын,
Сквозь всё и всех,
Сквозь «everybody»,
сквозь «everything».
Он переступит современно
В свой звёздный час
Лихой походкой супермена
И через нас.
На нём техасы из Техаса,
Кольцо из Брно.
Есть у него в Ильинке хаза,
А в ней вино;
И там, в постели милой шлюшки,
Дитя-злодей
Пока играет в погремушки
Её грудей…[334]

Итак, Олег Васильевич Кандауров уже достиг много из того, о чём пока лишь мечтает персонаж сатиры «Дитя-злодей». Он руководит отделом, встречает иностранные делегации в международном аэропорту Шереметьево (Домодедово, Внуково и Быково принимали в те годы самолёты внутренних авиалиний), его вызывает министр. Олегу Васильевичу предстоит трёхлетняя

командировка в Мексику, после которой он рассчитывает занять какое-то ответственное кресло в Москве. Вся его жизнь распланирована *до упора.* Перед ним всегда стоит какая-то конкретная цель, к достижению которой он неудержимо стремится. «Но одно Олег Васильевич знал твёрдо, это было давнишним, с юности, принципом: хочешь чего добиться — напрягай все силы, все средства, все возможности, все, все, все… *до упора!* Вот так когда-то, приехав в Москву мальчишкой, протаранил себе путь в институт. Так добился когда-то Зинаиды. Так победил в сложнейшей и запутаннейшей борьбе за Мексику хитроумного Осипяна. Так добьёт дом Аграфены. *До упора* — в этом суть. И в большом, и в малом, везде, всегда, каждый день, каждую минуту…»[335]

Кандауров долго добивался заграничной командировки в Мексику, а это было непросто, желающих всегда много, но именно он победил: «добился, совершил невозможное, овладел ею, как неприступной женщиной…»[336]

В его каждодневных планах учтены даже мельчайшие подробности, как то: получение медицинской справки, без которой не пустят за границу, прощальное свидание с любовницей, выплата отступного одному из возможных претендентов на сторожку и выведение его из игры. В записной книжке Кандаурова через запятую идут посещение жэка, книжного магазина (не забыть выкупить очередные тома подписных изданий), свидание с возлюбленной: «сегодня тысячи дел и в пять — Светлана»[337]. Судя по всему, девушка была для Кандаурова чем-то большим, чем просто источником наслаждений. Он даже подумывал о том, чтобы начать со Светланой новую жизнь. Для этого пришлось бы развестись с женой, оставив её и дочь, что пагубно сказалось бы на его карьере. Пришлось бы расстаться и с мечтой о Мексике, и с грёзой об ответственном кресле. Кандауров тянет до последнего, не сообщая Светлане об отъезде. Девушка принадлежит к тому же кругу, что и сам Кандауров. Они познакомились, когда владеющая испанским языком Светлана пришла к нему в отдел для прохождения практики. Пришла явно не с улицы. Скорее всего, практикантка, которая была на двадцать два года моложе сорокапятилетнего Кандаурова, училась в МГИМО или Инязе, где было много детей партийной и советской номенклатуры. Живёт девушка в Староконюшенном, одном из арбатских переулков, где располагались дома работников ЦК и МИДа. У её родителей уже есть дача, которой ещё только предстоит обзавестись Олегу Васильевичу. В течение восьми лет он снимал у Аграфены сторожку, за свои деньги улучшая и ремонтируя домик, и теперь,

после смерти владелицы, хочет вступить в дачный кооператив и стать собственником сторожки.

Кандауров понимает, что навсегда расстаётся со Светланой. Три года заграничной командировки — это большой срок. Хотя девушка знала о возможной командировке Олега, но так как загранпоездка несколько раз откладывалась, не придавала всему этому особого значения. Светлана полагала, что у неё ещё есть время. Однако накануне свидания она по своим каналам узнала, что Олег не только уезжает со дня на день, но и скрывает от неё свой отъезд. В момент свидания на квартире приятеля Кандауров понял, что его возлюбленная ведёт себя как-то необычно и, во всяком случае, не спешит отдаться ему после двенадцатидневной разлуки. Она прямо говорит, что знает о Мексике, и вскользь упоминает давние обещания Олега, прозвучавшие у него в пылу любовного угара. «А помнишь, что ты говорил? Что хочешь всё переменить, всё сначала, всё заново. Были безумно смелые планы…»[338] Девушка говорит всё это искренне. Ради Кандаурова она бросила жениха и надеялась рано или поздно связать свою жизнь с Олегом. Светлана очень болезненно переживает неотвратимую разлуку. Для неё это настоящая драма, крушение всех надежд. И ей не до привычных любовных игр с обязательным совместным посещением роскошной импортной ванны. Но Кандауров остаётся верен себе. Даже в этой ситуации он идёт до упора и добивается своего. Великая сила недосказанного!

Мы не знаем, как сложится дальнейшая жизнь Светланы. Кандауров, используя свои связи, обещает похлопотать, чтобы девушку отправили в заграничную командировку в Марокко. Пока же она едет отдыхать в Прибалтику. Кандауров стал её учителем жизни. Светлана оказалась талантливой ученицей, которой со временем предстоит превзойти своего учителя. Образ девушки не привлёк внимания литературных критиков, и совершенно напрасно. Трифонов гениально угадал человека грядущей эпохи, жить в которой самому Юрию Валентиновичу не пришлось.

«Наступила пауза. Он чувствовал, что она плачет. Выкурил сигарету. Вдруг она спросила спокойным голосом:

— Знаешь что? Вот ответь честно. Есть какие-то блага, которыми ты наслаждаешься или стремишься наслаждаться… Ну, скажем, есть женщина — я. Ведь ты мною наслаждался, правда? Есть семья, которая тоже доставляет наслаждение, другого рода. Есть дом Аграфены, о котором ты мечтаешь как об источнике наслаждений… Есть Мексика, которой ты добивался, я знаю, и добился, совершил невозможное, овладел ею, как неприступной женщиной… И есть другое ответственное кресло тут, в Москве,

которое сулит ещё более высокие наслаждения, о них ты грезишь… И вот скажи: если выбирать из этого всего одно, что бы ты выбрал?

— Странная викторина. Зачем тебе?

— Просто чтобы знать. Как жить. Ведь ты мой учитель жизни, скажи напоследок: что уступать? Что после чего? Женщина, семья, имение, путешествие, власть… Что ты хочешь больше всего?»[339]

Кандауров ответил: «Хочу всё…»[340] Он сформировался в довольно примитивном обществе, когда человек, идущий до упора, всегда побеждал человека, для которого инфантилизм был образом жизни. Это было общество, в котором Климуки всегда одерживали верх над Троицкими, Глебовы переигрывали Ганчуков, а Кандауровы торжествовали над Летуновыми. Мысль о необходимости выстраивать систему приоритетов либо не приходит Кандаурову в голову, либо изначально отвергается им. Человек, всегда и во всём привыкший действовать до упора, такой человек не способен маневрировать ресурсами и идти на тактические жертвы ради достижения стратегической цели. Для того чтобы идти до упора, достаточно арифметики. Чтобы выстроить систему приоритетов, требуется алгебра. И Светлана владеет этой алгеброй. Поэтому у неё есть шансы преуспеть в грядущую, гораздо более сложную эпоху, наступившую после смерти автора и находящуюся вне временных рамок романа «Старик».

В 11 часов вечера Кандауров прощается со Светланой, отвозит её на своей синей «Волге» домой в Староконюшенный и в полночь приезжает на дачу, чтобы утром следующего дня вновь начать действовать по своему плану. Проблема со Светланой закрыта, а она сама, зашифрованная в записной книжке под фамилией Потапов, вычеркнута из списка дел. Ему предстоит встреча с алкоголиком Митей, дальним родственником покойной Аграфены, от которого надо любой ценой добиться отказа от притязаний на сторожку. Кандаурову удаётся и это. Поставив пьянчужке Мите несколько бутылок сухого вина, дав ему сто рублей отступного (немалые деньги по тем временам) и посулив ещё семьдесят рублей после общего собрания пайщиков кооператива, Кандауров получает от Мити столь нужную ему подпись под официальным отказом от претензий на сторожку.

«Вечером после душа сидел на балконе городской квартиры в плетёном кресле — в трикотажных трусах, в резиновых пляжных сандалетах, как на взморье — и, испытывая наслаждение покоем, тенью, чувством удачи и ощущением *правильности всей своей жизни до упора*, отмечал карандашом в записной книжке

сделанные дела»[341]. И в этот момент раздаётся телефонный звонок. Это был звонок судьбы: лечащий врач из поликлиники Алевтина Фёдоровна попросила пересдать анализ мочи. У Олега Васильевича обнаружилась неизлечимая болезнь — и его ждёт не поездка в Мексику, а мучительное умирание. Его смерть глубоко Символична. Умирает герой своего времени. Вспомним, что Арташез из «Кепки с большим козырьком» поразил автора необычайной цельностью характера. Этой цельности не было у героев повестей «московского цикла». Даже те из них, кому удавалось в этой жизни преуспеть, цельностью характера не отличались. Кандауров стал едва ли не единственным исключением. Желание всегда и во всём дойти до упора сформировало его характер, стало становым хребтом его личности и основой жизненной философии. Он прекрасно понимает, что у него есть только два пути: «Моя дорога — в лузу. Больше никуда. Или за борт». Обстоятельства времени и места не оставляли ему иной альтернативы: либо блаженное нищенство, либо неуклонное материальное преуспеяние. Иного не дано. Общество было столь примитивным, что попытка отыскать какой-то третий путь, позволяющий избегнуть этих крайностей и жить достойно, была обречена на провал.

Люди получали доступ к ограниченным материальным благам не по своему трудовому вкладу, своим способностям или заслугам, а в зависимости от того, к какой страте общества они принадлежали. И если бы специалист по насосам инженер Дмитриев регулярно ездил в заграничные командировки куда-нибудь в Африку или в Индию, а не в Тюменскую область, то в его жизни не было бы никакой коллизии, связанной с обменом комнаты умирающей матери. Зато были бы «жёлтополосые» сертификаты, и он легко купил бы на них и кооперативную квартиру в доме загранработников, и машину в экспортном исполнении. И ему не пришлось бы идти на сделку с совестью, чтобы как-то вырваться из блаженной нищеты. Построенная по индивидуальному, а не по типовому проекту роскошная кооперативная квартира, в которой живёт переводчик Геннадий Сергеевич, досталась ему лишь оттого, что он является членом Союза писателей, а отнюдь не благодаря тому, что он мастерски переводит бездарные поэтические тексты. В Советском Союзе члены творческих союзов принадлежали к привилегированной общественной страте и помимо иных льгот имели право на дополнительную жилую площадь. Даже директор отраслевого института, в котором трудится инженер Дмитриев, никогда и ни при каких условиях не смог бы получить квартиру пусть не в писательском доме, на то он и писательский, а квартиру, пусть

отдалённо напоминающую ту, в которой жила семья переводчика. А предприимчивый, жуликоватый и нечистоплотный учёный секретарь академического института Гена Климук был вынужден постоянно что-то перестраивать и ремонтировать в своей квартире. Затем ему пришлось осуществить серию квартирных обменов, в процессе которых он расширял площадь или переезжал в более фешенебельный район, прежде чем ему удалось обосноваться в высотном доме на Новом Арбате. Разумеется, на обретение материальных благ влияли и занимаемая должность, и квалификация, и талант, и трудоспособность, и, наконец, наличие свободных денег, нужных связей и необходимых пробивных способностей — всё это влияло, но влияло опосредованно.

Вдумаемся, за что собирались сойтись в непримиримой схватке Руслан Летунов, сын участника Гражданской войны, и Олег Кандауров — это олицетворение успеха поздних лет советской власти. На кону стояла убогая сторожка — две комнатки с террасой и кухня. Разумеется, без всяких городских удобств. Решалась судьба домика, пережившего революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войну. После всех ужасов, пережитых страной, после бесследного исчезновения первого владельца сторожки, после трагической гибели работника Рабкрина Изварина и его жены, после смерти Аграфены, въехавшей в эту сторожку из сырого подвала, после всего этого сторожка не потеряла своей ценности и представляла очевидный интерес как для блаженного нищего, так и для преуспевающего плейбоя. Возникает резонный вопрос, стоило ли нескольким поколениям в течение десятилетий претерпевать все эти ужасы, чтобы прийти к очередному переделу жалкой сторожки. Складывается поверхностное впечатление, что Трифонов оставляет этот риторический вопрос без ответа. Это впечатление ошибочно. Ответ есть. Сторожка не достанется никому. Да и сам дачный кооператив «Буревестник» доживает последние дни: на месте обветшавших дач власть собирается построить пансионат для отдыха младшего персонала. Читателю остаётся лишь гадать, где служит этот персонал. Зато первые читатели романа очень хорошо знали, что случится с пайщиками «Буревестника». Дачное имущество будет оценено по балансовой, а не по его реальной стоимости, и владельцам дач будет выплачена компенсация. Компенсация будет носить символический характер: за эти деньги члены кооператива «Буревестник» не смогут приобрести ничего, хотя бы приблизительно напоминающее их дачи. Фактически у них безвозмездно изымут их имущество.

Так завершилась история сторожки, которая фактически была историей страны в миниатюре. «Россия сейчас страна на крови…»[342] — 15 апреля 1949 года записала в дневнике Любовь Васильевна Шапорина, и история сторожки подтверждает справедливость этого утверждения. Роман «Старик» вышел в свет за полтора десятилетия до распада Советского Союза. Этот распад не довелось увидеть Юрию Валентиновичу. Была ли концовка романа осознанным результатом творческого замысла, прозрением художника, «или невольное то было вдохновенье»[343], но автор «Старика» именно так закончил свой роман[344]. Будущего не было у сторожки. Будущего не было у советской власти.

В декабре 1980 года Юрий Валентинович вместе с женой Ольгой был в Венгрии. События в мире стали разворачиваться с пугающей быстротой. В дневнике Трифонова появилась пророческая запись: «Что-то будет в Польше? Объявили военное положение, множество поляков мечутся на окраине Будапешта, на перронах вокзала. Это — начало распада соцлагеря, а может, и Союза. Впрочем, этот труп будет гнить долго»[345]. Все его книги были развёрнутым комментарием к этому прогнозу. Для Трифонова, который *восемь* раз побывал в Туркмении, центробежные тенденции регионов не были тайной. Во время одной из этих поездок писателем была сделана очень колоритная зарисовка с натуры, лишь частично использованная в повести «Предварительные итоги». «Приехал Сапар Метлиевич, начальник республиканского треста ресторанов. Огромный туркмен родом из Каахка (племя алляйл). Лысый, коричневый, с огромным животом и руками-лопатами. Таким могло быть Идолище Поганое. Но оказался очень милым весёлым человеком. Его сопровождает свита: директор нового ресторана, замдиректора, завзама. Угощают: коньяк, кролики, икра, сардины. Все тосты — о честности, о русских, во славу русских. Сидящий рядом со мной русский офицер (он муж официантки) говорит вполголоса: А сами говорят часто: вы, русские, уходите отсюда и не указывайте нам…»[346]

Он не испытывал никаких иллюзий относительно монолитности Советского Союза. Вероятно, неизбежный в будущем распад СССР не вызывал у Трифонова особых сожалений. В противном случае он остерёгся бы фиксировать своё пророчество на бумаге. Юрий Валентинович «знал магическую силу *писания,* которое притягивает к себе жизнь»[347]. Распад страны, в которой он жил и творил, стал распадом мира его литературных героев и мира его читателей. Персонажи, созданные фантазией Юрия Валентиновича Трифонова, обрели

принципиально иную среду обитания — большое время истории.

Эпилог 1991 год

О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Иннокентий Анненский

«Накренилось… А стоит…»

Конец 1970-х годов зовут временем «застоя». 7 октября 1977 года в Москве на внеочередной сессии Верховного Совета СССР была принята новая Конституция СССР, получившая официальное наименование Конституции «развитого социализма», а в народе прозванная брежневской. Этот документ, хотя и декларировал создание в Советском Союзе «общенародного государства», содержал статью 6-ю, законодательно закреплявшую «руководящую и направляющую роль» коммунистической партии в жизни государства и общества. Карл Маркс писал, ссылаясь на Гегеля, что история повторяется дважды: сначала как трагедия, затем как фарс[348]. «Застой» был наглядным подтверждением этого. На смену страху и ужасу культа личности Сталина пришёл карикатурный культ личности Брежнева. 8 мая 1976 года Леониду Ильичу Брежневу было присвоено звание Маршала Советского Союза, в течение нескольких лет на него был пролит настоящий золотой дождь высших наград СССР и стран социалистического лагеря. Брежнев стал четырежды Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда, кавалером высшего военного ордена «Победа», лауреатом Ленинской премии по литературе. Фронтовики негодовали, обыватели злословили. Общество с нескрываемым сарказмом наблюдало как за этой вакханалией награждений, так и за неумеренными восхвалениями очень пожилым партийным и государственным руководством больного и малоадекватного вождя.

После смерти Брежнева его вдова передала в ЦК КПСС все его государственные награды. Она не была обязана это делать. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1979 года ордена и медали умершего награждённого оставлялись в его семье для хранения как память. Согласно официальному документу были сданы следующие знаки отличия: «орден

„Победа“, пять золотых звёзд Героя, 16 орденов и 18 медалей СССР, две маршальские звезды — генерала армии и Маршала Советского Союза и Почётное оружие с золотым изображением Государственного герба СССР, которыми был отмечен Л. И. Брежнев»[349]. Помимо этого были получены переданные ему в виде дубликатов ещё 34 золотые медали Героя: 21 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и 13 золотых медалей «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда. Вдова сдала также награды иностранных государств — 42 ордена и 29 медалей. Брежнев был трижды Героем Народной Республики Болгария, трижды Героем Германской Демократической Республики, трижды Героем Чехословацкой Социалистической Республики. Общее число имевшихся у маршала Брежнева знаков отличия составило внушительную цифру — 111 единиц[350]. (У генералиссимуса Суворова было 20 российских и иностранных орденов. Современникам великого полководца эта цифра казалась баснословной.)

А между тем советский человек жил в обществе тотального дефицита, не хватало продуктов питания и товаров первой необходимости, не была решена жилищная проблема. Постоянное пребывание в очередях стало каждодневной реальностью обычного гражданина. Никогда авторитет власти не был так низок. Безликая молва непрестанно рождала всё новые и новые анекдоты о «дорогом Леониде Ильиче». От былой веры в торжество «коммунистических идеалов» ничего не осталось. Официальная идеология напоминала голого короля из сказки Андерсена: ей нечего было противопоставить ни бесчисленным западным «голосам», ни литературе «самиздата», ни резонным вопросам добропорядочных граждан. Всё держалось на всеобщей апатии: государственная репрессивная машина карала немногочисленных сознательных борцов с режимом, но уже не трогала рассказчиков политических анекдотов. Партийный и государственный аппарат времен «застоя» очень сильно напоминал чиновничий аппарат Российской империи накануне краха монархии. Невольно приходят на ум строки Иннокентия Анненского. (Юрий Валентинович Трифонов, как рассказала мне его вдова Ольга Романовна Трифонова, очень любил поэзию Иннокентия Анненского и часто цитировал его стихи.)

Какой кошмар! Всё та же повесть…
И кто, злодей, её снизал?
Опять там не пускали совесть
На зеркала вощёных зал…

Опять там улыбались язве
И гоготали, славя злость…
Христа не распинали разве,
И то затем, что не пришлось…

Опять там каверзный вопросик
Спускали с плеч, не вороша.
И всё там было — злобность мосек
И пустодушье чинуша [351].

В феврале 1974 года арестовали и на следующий день выслали из страны писателя Александра Исаевича Солженицына. 3 августа 1976 года расстреляли капитана 3-го ранга Валерия Михайловича Саблина, организовавшего восстание на большом противолодочном корабле «Сторожевой». В феврале 1977 года арестовали члена-корреспондента Академии наук Армянской ССР Юрия Орлова и лидеров Хельсинкских групп. В марте 1978 года были лишены советского гражданства дирижёр и виолончелист Мстислав Ростропович и его супруга оперная певица Галина Вишневская. В мае — июле того же года в СССР прошло четыре крупных судебных процесса над диссидентами. 22 января 1980 года трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров был лишён правительственных наград и почётных званий и выслан во внесудебном порядке в город Горький, закрытый для посещения иностранцами. Были высланы из страны деятели культуры Войнович, Галич, Копелев, Бродский, Некрасов, Любимов и другие. К началу 1981 года диссидентское движение в Советском Союзе было почти полностью разгромлено органами государственной безопасности.

О масштабах выборочных репрессий красноречиво говорят следующие цифры: в 1976 году в СССР по политическим статьям было осуждено 60 человек, в 1979 году — 69 человек, в 1981 году — 127 человек. Это не идёт ни в какое сравнение не только с массовыми репрессиями времён «большого террора», но и с хрущёвской оттепелью. Лишь в 1957 году по политическим статьям было осуждено почти две тысячи человек, а во время расстрела в Новочеркасске летом 1962 года погибли 24 человека, 39 получили ранения, а 49 были арестованы (7 из них приговорили к смертной казни). Однако рядовой советский обыватель времён «застоя» был мало озабочен судьбой этих людей и не верил в возможность перемен. В обществе установилась «двойная мораль»: на собраниях говорили то, что

ждала власть, на кухнях — давали волю языкам.

Казалось, что этот строй, подобно старой усадьбе из стихотворения Иннокентия Анненского, простоит ещё очень и очень долго.

Сердце дома. Сердце радо. А чему?
Тени дома? Тени сада? Не пойму.

Сад старинный, всё осины — тощи, страх!
Дом — руины… Тины, тины что в прудах…

Что утрат-то!.. Брат на брата… Что обид!..
Прах и гнилость… Накренилось… А стоит…

Тсс… ни слова… даль былого — но сквозь дым
Мутно зрима… Мимо… мимо… И к живым!

Иль истомы сердцу надо моему?
Тени дома? Шума сада?.. Не пойму…[352]

Но до ввода советских войск в Афганистан 25 декабря 1979 года рядовой обыватель был слабо политизирован. Затяжная афганская кампания и большие потери, которые власть не могла скрыть, весьма реальная вероятность потерять сына-призывника, оказавшегося в составе «ограниченного контингента» советских войск в Афганистане, — всё это вызвало в обществе глухой ропот.

За время афганской кампании, продолжавшейся более девяти лет, погибли 14 453 человека, пропали без вести и попали в плен 417 человек. Вывод советских войск из Афганистана был завершён 15 февраля 1989 года.

10 ноября 1982 года умер Леонид Ильич Брежнев — Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Смерть этого государственного деятеля была воспринята обществом как смерть эпохи. Общество, за исключением тонкого слоя номенклатуры, жаждало перемен, не задумываясь над тем, что социальные изменения плохо сочетаются со стабильностью, к которой все привыкли. Вот почему даже политика «закручивания гаек», проводником которой стал новый партийный лидер Юрий Владимирович Андропов, была сочувственно встречена обществом. «Перегибы» борьбы за трудовую дисциплину (облавы милиции на людей, в рабочее время оказавшихся в кинотеатрах, парикмахерских, банях) с избытком компенсировались той удовлетворённостью, которую испытали рядовые советские люди, узнавшие о

решимости нового руководства бороться с коррупцией и торговой мафией.

Рядовой советский человек был убеждён, что торговый дефицит вызван не самой экономикой социализма, а махинациями и злоупотреблениями торговых работников. Популярный телесериал «Следствие ведут знатоки» сформировал этот устойчивый миф. С удовлетворением реагировали обыватели на перестановки в высшем партийном руководстве Советского Союза, уголовное преследование тех, кто принадлежал к брежневскому клану, и начало расследований злоупотреблений областного и республиканского руководства Узбекистана. Ужесточения политического режима опасались лишь представители столичной интеллигенции. Андропов умер через 15 месяцев после прихода к власти, но за этот короткий срок стало очевидно, что вмешательство государства в экономическую сферу жизни общества достигло своего предела: административно-командная система не могла ни покончить с всеобщим товарным дефицитом, ни добиться повышения производительности труда, трудовой и производственной дисциплины. Принятый летом 1983 года закон «О трудовых коллективах и усилении их роли в руководстве предприятий» и начало экономического эксперимента в промышленности привели к тому, что директора предприятий получили большую свободу экономического маневра: их власть в рамках предприятия возросла, а зависимость от властной вертикали — ослабла. Спустя несколько лет, когда в стране начался переход на рельсы рыночной экономики, этот закон сыграл очень большую роль: директора предприятий получили легальную возможность аккумулировать в своих руках большие денежные массы, что способствовало первоначальному накоплению капитала и перераспределению собственности.

Недолгое правление партаппаратчика Константина Устиновича Черненко, не имевшего за плечами ни участия в Великой Отечественной войне, ни опыта крупной хозяйственной работы и пришедшего после смерти Андропова к руководству страной в 72 года уже тяжелобольным, привело лишь к дальнейшему падению престижа власти. На все лады повторялся анекдот о «гонках на катафалках по Красной площади» — такова была реакция на пышные государственные похороны, в начале 1980-х с какой-то знаковой регулярностью проходившие на главной площади страны.

«И рад бы выпить лишнее…»

11 марта 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран молодой и энергичный руководитель — Михаил Сергеевич Горбачёв. Уже в конце апреля новый лидер провозгласил курс на «перестройку верхних эшелонов хозяйственного управления». Новый курс был ориентирован не на отдельные экономические эксперименты, а на реформирование социальной системы в целом. Новый стиль общения, продемонстрированный Горбачёвым во время визита в Ленинград (Генсек не побоялся вступить в непосредственный контакт с людской толпой и в живой беседе сообщил о своих планах), укрепил общество в мысли о неотвратимости давно ожидаемых перемен. Но какими бы ни были благие намерения Горбачёва, доставшийся ему в наследство партийно-государственный аппарат абсолютно не был подготовлен к модернизации страны. Осуществляемые благие намерения очень быстро превращались в свою противоположность.

16 мая 1985 года в стране началась антиалкогольная кампания. Новое руководство, обеспокоенное ростом пьянства и алкоголизма в стране (потребление чистого алкоголя на душу населения возросло более чем в пять раз по сравнению с послевоенной порой), санкционировало ряд непопулярных мер. Отныне продажа винно-водочных изделий в будние дни начиналась с 14 часов (до этого горячительные напитки продавались с 11 часов), за самогоноварение была предусмотрена уголовная ответственность, за распитие спиртных напитков в общественных местах и на работе виновные привлекались к административной и уголовной ответственности. Не обошлось без традиционных «перегибов»: под горячую руку вырубили элитные виноградники, не стали монтировать закупленное в Чехословакии за валюту оборудование по производству пива, и это бесхозное оборудование ржавело под открытым небом. Потребление вина и водки заметно упало, зато возросло потребление самогона и вредных для здоровья суррогатов. Резкое сокращение производства и продажи алкогольных изделий привело не только к уменьшению государственных доходов (бюджету был нанесен ущерб в 200 миллиардов рублей), но и превратило водку в эрзац всеобщего товарного эквивалента. Финансовая система государства была дестабилизирована, а авторитет власти как в центре, так и на местах в очередной раз упал. Топорные методы проведения антиалкогольной кампании стали мощным катализатором расшатывания скреп административно-командной системы изнутри.

Вновь приходит на ум столь любимый Трифоновым Иннокентий Анненский.

Под яблонькой, под вишнею
Сиди да волком вой…
И рад бы выпить лишнее,
Да лих карман с дырой[353].

Приход Горбачёва к власти вызвал серию кадровых перестановок, призванных закрепить его победу в борьбе за власть. 24 декабря 1985 года Борис Николаевич Ельцин был избран 1-м секретарём Московского городского комитета партии. Его предшественник и соперник Горбачёва в борьбе за власть Виктор Васильевич Гришин занимал этот ключевой пост с 1967 года. Ельцин не только незамедлительно принялся за чистку московских кадров, оставшихся ему в наследство от «эпохи Брежнева», и сменил всё руководство партийной организации столицы, но и осуществил ряд популистских мер. Он начал решительное наступление на торговую мафию, стал лично знакомиться с условиями труда и быта москвичей (ездил на общественном транспорте, посещал магазины и поликлиники), запретил ввоз в Москву рабочей силы по лимиту, расширил сеть кооперативных магазинов, торгующих продуктами и товарами высокого качества по коммерческим ценам. В столице было много высокооплачиваемых работников, имеющих значительные свободные средства, но не имеющих доступа к закрытым распределителям. Кооперативные магазины, торгующие по ценам, которые хотя и превышали государственные в два-три раза, но оставались вполне приемлемыми для высокооплачиваемых жителей столицы, среди которых было много представителей художественной интеллигенции, позволили этой влиятельной категории москвичей ощутимо повысить качество жизни. Так имя Ельцина впервые получило известность.

В феврале — марте 1986 года состоялся XXVII съезд КПСС. В отчётном докладе нового Генсека прозвучали слова о «человеческом факторе», под которым понималась активизация усилий каждого человека. Горбачёв провозгласил курс на «ускорение» темпов экономического роста: интенсификацию производства, структурную перестройку экономики и форм управления, перестройку организации и стимулирования труда. Это был курс на экономическую модернизацию страны. Верховная власть в лице Генерального секретаря даровала не только членам партии, но и беспартийным право безбоязненно обсуждать как сложившуюся социальную ситуацию, так и историю страны. Это стало называться «гласностью». Михаил Сергеевич уповал на то, что имевшаяся в его распоряжении власть позволит сохранить

контроль над экономической и социальной ситуацией, и не подозревал, какого «джинна» он выпустил из бутылки. В 1986 году на экраны вышел снятый ещё в 1984 году фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». В январе 1987 года состоялся его открытый премьерный показ в Москве. Впервые массовые репрессии времен Сталина были осмыслены в аллегорической форме. Эта трагическая страница отечественной истории из фигуры умолчания, каковой она оставалась во времена Брежнева, стала злободневной темой и привлекла внимание миллионов советских людей, посмотревших этот фильм. В кинотеатрах выстраивались огромные очереди. Фильм «Покаяние» дал старт целой серии журнальных публикаций художественных произведений, ранее запрещённых цензурой.

«Ни кремлей, ни чудес, ни святынь…»

Начиная с 1987 года в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов» были опубликованы «Котлован» А. Платонова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «По праву памяти» А. Твардовского, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Назначение» А. Бека, «Реквием» А. Ахматовой, «Глазами человека моего поколения» К. Симонова, «Архипелаг ГУЛАГ» и другие произведения А. Солженицына. В эти годы «толстые» журналы выходили миллионными тиражами, но читали их не только подписчики и члены их семей, популярные номера переходили из рук в руки и зачитывались до дыр. Обсуждение этих произведений способствовало резкой политизации и поляризации общества.

Бурный рост интереса к «белым пятнам» отечественной истории сопровождался нелицеприятным обсуждением наболевших социальных проблем современности — от поворота северных рек до охраны памятников культуры, от борьбы с «нетрудовыми доходами» до еврейской эмиграции. Тон задавали журнал «Огонёк» и газеты «Московские новости» и «Аргументы и факты». Еженедельный формат этих популярных изданий позволял им оперативно откликаться на запросы общества: на их страницах появлялись злободневные разоблачительные материалы, абсолютно невозможные в догорбачевскую эпоху. Телевидение не отставало от периодической печати. Вечерние передачи «Взгляд», «Пятое колесо», «600 секунд» собирали у телевизионных экранов миллионы зрителей, на следующий день живо обсуждавших на своих рабочих местах увиденные накануне сюжеты.

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС (город Припять в ста километрах от Киева) в результате взрыва произошли разрушения ядерного ректора и выброс в атмосферу радиоактивных материалов. Это была тяжелейшая в истории человечества техногенная катастрофа. Власти было суждено выдержать нелёгкую проверку гласностью. Существовавшая в СССР цензура запрещала публикацию в открытой печати материалов, содержащих сведения об авариях и катастрофах. В первые дни после атомной катастрофы века информацию о ней пытались замолчать. Более того, 1 мая в Киеве, несмотря на повышенный радиационный фон, состоялась традиционная массовая демонстрация трудящихся. Лишь 14 мая Горбачёв выступил по радио и телевидению и официально проинформировал население страны о катастрофе и мерах, принимаемых по ликвидации последствий аварии на АЭС. После этого выступления запрет на публикацию материалов о техногенной катастрофе был снят, поток информации захлестнул СМИ.

Вал впервые введённой в оборот ранее запрещённой информации и реальная возможность гласно обсуждать прочитанное в газетах и журналах и увиденное по телевизору — всё это содействовало ощутимому росту радикальных настроений в обществе. Самосознание общества росло «не по дням, а по часам». Если воспользоваться давней мыслью шефа жандармов графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, можно сказать, что общество стало опережать власть «в намерениях и потребности улучшений и перемен»[354]. Уже не верховная власть вела за собой некогда пассивное общество и стояла впереди него, а общество стало «влачить» за собою власть, торопя наступление долгожданных перемен. От былой апатии времён «застоя» не осталось никакого следа. Никакого следа не осталось и от былых святынь. Вместе с мутной водой нередко выплёскивали и ребёнка. Многовековое прошлое было подвергнуто тотальной ревизии, и стихи Иннокентия Анненского, обращённые к Петербургу, применялись ко всей российской истории:

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-жёлтого цвета,
Да пустыни немых площадей,

Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознёсся орел наш двуглавый,
В тёмных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слёз, ни улыбки…
Только камни из мёрзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки[355].

Ещё в декабре 1986 года в Москву из горьковской ссылки был возвращён академик Сахаров. В феврале 1988 года была проведена официальная реабилитация вождей антисталинской оппозиции Бухарина, Рыкова и др. В 1989–1990 годах в советском гражданстве были восстановлены выдающиеся деятели культуры и искусства, которых в период «застоя» вынудили эмигрировать из страны (Ростропович, Вишневская, Войнович, Аксёнов, Копелев, Владимов, Солженицын). В это же время многие диссиденты получили возможность не только приехать в страну, но и выступить перед многочисленной аудиторией по телевидению и на страницах газет и журналов. Убеждённые сталинисты не могли в свободных дискуссиях ни противостоять поднявшейся волне ежедневных разоблачений, ни веско опровергнуть факты, свидетельствующие о преступлениях тоталитарного режима. Радикальные сторонники перемен открыто вели разговоры о необходимости покончить с монополией КПСС на власть и отменить злополучную 6-ю статью Конституции.

Однако антиперестроечные силы не теряли надежды взять реванш. 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» было опубликовано письмо преподавателя Ленинградского технологического института Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Это был «манифест антиперестроечных сил», поддержанный рядом влиятельных членов Политбюро: Лигачёвым, Громыко, Воротниковым. На состоявшемся заседании Политбюро Горбачёв решительно осудил

публикацию статьи и квалифицировал её содержание как «создание антиперестроечной платформы». Большинство членов Политбюро поддержали позицию Генерального секретаря, и 5 апреля газета «Правда» дала официальный отпор этой попытке сталинистов взять реванш. Атака сталинистов была отбита.

Ветер перемен, поднявшийся в обстановке перестройки и гласности, способствовал выходу наружу и резкому обострению давних этнических конфликтов, до этого в скрытой форме тлевших на окраинах Советского Союза. В стране усилились центростремительные тенденции, в национальных республиках обострились сепаратистские настроения. Всё это давало мощный козырь антиперестроечным силам, жаждущим наведения «порядка».

Конфликты на этнической почве

17–18 декабря 1986 года — волнения на этнической почве в столице Казахстана Алма-Ате. Погибли три человека.

6 июля 1987 года — демонстрация крымских татар на Красной площади в Москве с требованием разрешить им вернуться в Крым, откуда они были насильственно выселены в годы Великой Отечественной войны.

28–29 февраля 1988 года — антиармянские беспорядки в городе Сумгаите Азербайджанской ССР. Погибли 32 человека, ранены 197 человек. Начало армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.

18 сентября 1988 года — вооружённое столкновение у села Ходжалы в Нагорном Карабахе между армянами и азербайджанцами. Через три дня в Нагорном Карабахе было введено особое положение, а в столицу автономии Степанакерт были введены войска.

Ноябрь 1988 года — новый виток армяно-азербайджанского конфликта. Массовый исход беженцев из обеих республик. Азербайджан покинули около 200 тысяч армян, из Армении депортировали 120 тысяч азербайджанцев. В Ереване было введено чрезвычайное положение.

9 апреля 1989 года — разгон подразделениями МВД и войсками Закавказского военного округа антиабхазского митинга в Тбилиси. Применялся слезоточивый газ. Погибли 19 человек. Сотни митингующих получили травмы.

3–15 июня 1989 года — погромы в Ферганской долине. В результате насилия узбеков над турками-месхетинцами только 4 июня погибли 103 человека, из них 52 турка-месхетинца и 36

узбеков.

13 июля 1989 года — вооружённые столкновения между таджиками и киргизами в таджикском городе Исфара.

15–16 июля 1989 года — вооружённые столкновения между абхазами и грузинами в столице Абхазии Сухуми. Погибли 11 человек, ранено 127.

13–20 января 1990 года — армянские погромы в Баку и других городах Азербайджана. Погибли 148 человек, 503 получили ранения. В Баку было объявлено чрезвычайное положение и введены войска. В столкновениях с армией погибли 130 человек и около 700 получили ранения.

10 февраля 1990 года — погромы в Душанбе, направленные против эвакуированных из Баку армян и всех живущих в городе нетаджиков. Погибли от 20 до 35 человек, более 500 получили ранения.

4 июня 1990 года — столкновения между киргизами и узбеками в Ошской долине Киргизии. Погибли 185 человек.

27 ноября 1990 года — Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР принял «Декларацию о государственном суверенитете».

4 января 1991 года — грузино-осетинский конфликт в Южной Осетии. В течение года грузинские отряды были вытеснены из автономии.

12–21 января 1991 года — столкновения между населением и союзными силовыми структурами в Вильнюсе и Риге. Погибли 13 человек, в том числе один военнослужащий.

В октябре 1987 года на пленуме ЦК КПСС Ельцин выступил с резкой критикой в адрес Лигачёва и Горбачёва, публично заявив, что перестройка пока что ничего не дала населению страны. Это выступление хотя и предопределило снятие Ельцина с поста 1-го секретаря МГК, в одночасье превратило его в лидера антипартийной оппозиции, получившего мандат доверия не только членов партии, но и широких слоев населения.

28 июня — 1 июля 1988 года состоялась XIX Всесоюзная партийная конференция, которая приняла решение о созыве Съезда народных депутатов СССР. Конференция обострила противостояние между либеральным и консервативным крыльями коммунистической партии. Выборы народных депутатов были первыми в истории СССР свободными выборами и сопровождались ожесточённой предвыборной борьбой. Партия продолжала контролировать ситуацию в стране, что позволяло окружным избирательным комиссиям отклонять кандидатуры неформалов и обеспечило депутатские мандаты 85 процентов коммунистов от общего числа избранных народных депутатов.

Однако избирательная кампания проходила в условиях быстрой политизации миллионов людей и многотысячных демократических митингов. Именно поддержка населения позволила Ельцину одержать убедительную победу: за него проголосовало 89,4 процента избирателей. Кроме него депутатские мандаты получили люди с демократическими и даже антисоветскими убеждениями: А. Собчак, Г. Старовойтова, Г. Попов, Г. Бурбулис, академик Сахаров, С. Станкевич, Ю. Афанасьев и др. 25 мая — 9 июня 1989 года в Москве прошёл 1-й Съезд народных депутатов СССР. Заседания съезда транслировались по телевидению в прямом эфире. Постоянные нападки, которым подвергалось «агрессивно-послушное большинство» съезда со стороны немногочисленных демократов, становились достоянием гласности и способствовали росту демократических настроений в стране. На заключительном заседании съезда академик Сахаров потребовал отменить 6-ю статью Конституции. После длительной и ожесточенной борьбы 13 марта 1990 года 3-й Съезд народных депутатов внес поправки в Конституцию СССР, переформулировал эту статью и изъял положение о «руководящей роли» КПСС. 15 марта 1990 года на этом же съезде Горбачёв был избран первым Президентом СССР.

«Парад суверенитетов»

11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы проголосовал за выход республики из состава Советского Союза, провозгласил её независимость и отменил действие общесоюзной Конституции на территории республики. 17 марта на выборах в Верховные Советы Латвии и Эстонии победили сторонники Народных фронтов, которые шли на выборы с лозунгами провозглашения независимости республик. «Добровольное вхождение» этих стран в состав СССР в 1940 году было объявлено незаконным. Совет министров СССР незамедлительно отреагировал принятием экономических санкций против Литвы, что вынудило республику временно отказаться от провозглашения независимости в обмен на снятие экономической блокады.

12 июня 1990 года 1-й Съезд народных депутатов РСФСР провозгласил суверенитет России, под которым понималось верховенство республиканских законов над общесоюзными. Началась цепная реакция «парада суверенитетов» в республиках. До конца лета суверенитет был провозглашён в Узбекистане, Молдавии, Украине, Белоруссии, Туркмении, Армении и Таджикистане. В октябре Декларацию о суверенитете принял

Казахстан, в декабре суверенитет провозгласила Киргизия.

30 ноября 1990 года изображение двуглавого орла было утверждено в качестве Государственного герба Российской Федерации. 12 июня 1991 года в РСФСР состоялись первые общенародные президентские выборы. Уже в первом туре победу одержал Борис Николаевич Ельцин, получивший 57,3 процента голосов.

Все эти бурные политические события происходили на фоне постоянно ухудшающейся экономической ситуации и неизменно растущего дефицита товаров: пустующие полки магазинов и огромные очереди стали выразительной приметой времени. Власть безуспешно пыталась стабилизировать ситуацию. 1 декабря 1990 года были введены продуктовые талоны, фактически ставшие суррогатом карточек, но это не помогло. 22 января 1991 года, стремясь восстановить контроль государства над финансовыми потоками, власть отменила хождение в стране денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей и ограничила выдачу денег с вкладов граждан в сберегательных кассах. Эта непопулярная мера вызвала раздражение миллионов людей. 2 апреля 1991 года было проведено повышение розничных цен на товары широкого потребления и транспорт. Однако даже трёхкратное повышение цен не могло стабилизировать рубль. Страну захлестнула галопирующая инфляция: к концу года реальная покупательная способность 1 рубля образца 1961 года составляла не более 1 копейки.

23 апреля 1991 года собравшиеся в правительственной резиденции Ново-Огарёво президент СССР Горбачёв и руководители союзных республик России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении приняли «Совместное заявление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса». Этот документ предусматривал заключение нового союзного договора, принятие новой союзной конституции и проведения после этого выборов в союзные органы власти. Несмотря на то что документ не был подписан лидерами прибалтийских республик, Грузии, Армении и Молдавии, президент Горбачёв выразил уверенность, что СССР сохранит за собой статус великой державы, но иначе устроенной. 17 июня проект нового союзного договора был согласован Горбачёвым и руководителями девяти республик. Договор гарантировал суверенным республикам юрисдикцию над социально-экономической жизнью, они получали возможность вести внешнеполитическую деятельность, если эта деятельность не нарушала международные обязательства СССР. Государство

переименовывалось в Союз Советских Суверенных Республик. Однако не был решён вопрос о порядке уплаты налогов в союзный бюджет и не была преодолена проблема соотношения статусов союзных и автономных республик. Подписание договора было намечено на 20 августа.

В понедельник 19 августа 1991 года СМИ сообщили о создании в стране Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), взявшего на себя всю полноту власти. У отдыхавшего в Форосе (Крым) президента Горбачёва была отключена связь, а сам он фактически отстранён от власти. В Москву были введены войска и бронетехника. Страна расценила действия ГКЧП как государственный переворот. На улицы вышли десятки тысяч москвичей. Манифестации состоялись на Манежной площади и перед Домом Советов РСФСР — Белым домом. Президент РСФСР Ельцин фактически возглавил выступление жителей столицы, призвал население к сопротивлению попытке переворота и зачитал обращение «К гражданам России»: все решения ГКЧП были объявлены вне закона. У здания Белого дома стали воздвигать баррикады. Над баррикадами был поднят трёхцветный флаг — триколор. Отдать приказ о штурме Белого дома лидеры ГКЧП не решились и 21 августа объявили о выводе войск. К исходу дня лидеры ГКЧП были арестованы. Москвичи заполнили центр города и снесли памятник Дзержинскому на Лубянской площади. На следующий день Горбачёв вернулся в Москву.

22 августа 1991 года Указом Президента РСФСР Ельцина трёхцветное полотнище было утверждено в качестве Государственного флага Российской Федерации. 23 августа Ельцин подписал Указ о переходе предприятий союзного подчинения, расположенных на территории республики, в ведение Российской Федерации. Так была обеспечена экономическая основа суверенитета страны. В этот же день Ельцин объявил о приостановке деятельности коммунистической партии на территории России. 6 ноября 1991 года президентским указом деятельность КПСС и КП РСФСР была прекращена, а их организационные структуры распущены. Провал переворота стал мощным катализатором центростремительных тенденций. Власть на местах стала переходить к республиканским лидерам. До конца августа о своей независимости заявили Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия. В сентябре была провозглашена независимость Таджикистана и Армении, в октябре — независимость Туркмении. 6 сентября на заседании Госсовета (высшего органа управления страной) было принято решение о признании независимости прибалтийских республик,

провозглашённое Литвой, Латвией и Эстонией ещё в 1990 году. 1 декабря 1991 года на Украине были проведены выборы президента и референдум о независимости: за независимость проголосовали 90,32 процента избирателей. Президент Украины Леонид Кравчук объявил о денонсации Украиной договора 1922 года о создании СССР. В воскресенье 8 декабря собравшиеся в Беловежской Пуще (Белоруссия) руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств. 21 декабря в Алма-Ате встретились руководители 11 суверенных государств и подписали Декларацию СНГ. Руководители стран Балтии и Грузии на встрече не присутствовали. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что СССР более не существует. 25 декабря состоялась отставка Горбачёва с поста Президента СССР. В 19 часов 30 минут над Кремлём был спущен государственный флаг СССР и поднят российский триколор.

Муза истории Клио, столь любимая Трифоновым, перевернула очередную страницу в своей книге. История демократической России началась с чистого листа. Впереди были разочарования и бедствия, угроза распада страны и опасность новой смуты, горечь поражений и счастье победы. Впереди были новые испытания, из которых страна вышла с честью. Впереди было возвращение Россией статуса великой державы. Но на этот раз своё величие Россия принялась строить не на бесчисленных жертвах, а на принципиально иной основе — на уважении к человеку. Изменились обстоятельства времени и места. Власть уже объективно не могла, да и субъективно не хотела относиться к людям как к колёсикам и винтикам могучего государственного механизма или как к безымянным щепкам, которые летят во все стороны при сооружении здания государственности.

Николай Михайлович Карамзин, обращаясь к императору Александру I в «Записке о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях», писал накануне вторжения Наполеона в пределы Российской империи: «Державы, подобно людям, имеют определённый век свой: так мыслит философия, так вещает история. Благоразумная система в жизни продолжает век человека, — благоразумная система государственная продолжает век государства; кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкоконечного бедствия, но, благодаря Всевышнего, сердце моё им не верит, — вижу опасность, но ещё не вижу погибели!»[356]

Кто исчислит грядущие лета великой новой России?!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ю. В. ТРИФОНОВА [357]

1925, 28 августа — в Москве в семье председателя Военной коллегии Верховного суда СССР Валентина Андреевича Трифонова (1888–1938) и студентки мясо-молочного института Евгении Абрамовны Трифоновой-Лурье (1904–1957) родился сын Юрий. Семья жила по адресу: Тверской бульвар, дом 17, кв. 3.

Ноябрь — начало нисходящей социальной мобильности отца будущего писателя. В. А. Трифонов решением политбюро ЦК ВКП(б) направлен военным советником в Китай, где занял должность заместителя военного атташе.

1926, март — В. А. Трифонов решением Политбюро ЦК партии назначен торгпредом СССР в Финляндии.

Конец сентября — В. А. Трифонов с женой и годовалым сыном Юрием выезжает в Финляндию.

1927 — в Гельсингфорсе (Хельсинки) родилась Татьяна Трифонова, сестра будущего писателя.

1928, февраль — В. А. Трифонов решением Политбюро ЦК партии освобожден от должности торгпреда СССР в Финляндии и отозван в Москву, где спустя несколько месяцев был назначен директором Института механизации сельского хозяйства.

1929, сентябрь — В. А. Трифонов решением Политбюро ЦК партии назначен заместителем председателя Главного концессионного комитета при Совете народных комиссаров СССР. Главконцесском возглавляет Л. Б. Каменев. Е. А. Трифонова-Лурье возвращается на учёбу, прерванную в связи с рождением и воспитанием детей. Принята на 4-й курс Академии сельского хозяйства им. К. А. Тимирязева.

1930, декабрь — решением Совнаркома СССР существенно ограничены основные прерогативы Главконцесскома по расширению концессий, за комитетом сохранена лишь обязанность визировать проекты концессионных договоров, вносимых хозяйственными наркоматами на утверждение в Совнарком.

1931 — Е. А. Трифонова-Лурье окончила вуз и стала работать зоотехником в совхозе Одинцово-Архангельское.

1932, февраль — В. А. Трифонов решением Политбюро ЦК партии назначен председателем Главконцесскома при СНК СССР.

Май — семья Трифоновых въезжает в Дом правительства (ул. Серафимовича, дом 2, кв. 137), впоследствии увековеченный писателем в повести «Дом на набережной». В ордере на квартиру

значатся: супруги Трифоновы с детьми Юрием и Татьяной, а также Т. А. Словатинская с приёмным сыном Андреем. Татьяна Александровна Словатинская (1879–1957) — бабушка писателя по линии матери, дежурный секретарь в приёмной ЦК ВКП(б).

1933, ноябрь — Е. А. Трифонова-Лурье перешла на работу экономистом в Наркомат земледелия РСФСР.

1934, 17 августа — 1 сентября — в Москве состоялся 1-й Всесоюзный съезд советских писателей. Присутствовали 597 делегатов 52 национальностей СССР, 40 писателей из 13 стран мира.

31 августа — в возрасте девяти лет Юра Трифонов начал вести дневник.

1 сентября — пошёл учиться во второй класс средней школы № 19, но уже в октябре по итогам испытания переведён в третий класс.

1 декабря — в Ленинграде убит С. М. Киров. Начало «большого террора».

1935, 22 сентября — постановлением ЦИК и СНК СССР введены «персональные военные звания начальствующего состава РККА». Процесс переаттестации командных кадров и присвоения персональных званий растянулся на несколько месяцев. Е. А. Трифонов стал полковником, В. А. Трифонов звания не получил.

25 сентября — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О снижении цен на хлеб и отмене карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель» с 1 октября.

1937, 11–12 июня — приговорены к расстрелу и ночью казнены М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, Р. П. Эйдеман, Б. М. Фельдман, В. М. Примаков, В. К. Путна.

21 июня — ночью на даче в Серебряном бору арестован В. А. Трифонов. На следующий день Юрий Трифонов сделал запись в дневнике: «Сегодня у меня самый ужасный день…»

14 сентября — арестован сын Т. А. Словатинской и дядя писателя Павел Абрамович Лурье (1903–1973), обвинённый во вредительстве на Коломенском паровозостроительном заводе. После тюремного заключения был направлен в лагерь. Т. А. Словатинская не отреклась от сына, была вынуждена уйти с работы в секретариате ЦК и стала работать корректором.

19 декабря — накануне неотвратимого ареста от разрыва сердца скоропостижно скончался дядя писателя Евгений Андреевич Трифонов (1885–1937), герой Гражданской войны и один из организаторов Красной армии, полковник РККА и кавалер ордена Красного Знамени, незадолго до смерти исключённый из партии, членом которой он состоял с ноября

1904 года. Прах захоронен в колумбарии Донского кладбища.

1938, 18 марта — расстрелян В. А. Трифонов, отец писателя. *3 апреля* — ночью арестована Е. А. Трифонова-Лурье, мать писателя, в мае приговорённая как член семьи изменника Родины (ЧСИР) к лишению свободы сроком на 8 лет.

Август — Т. А. Словатинская, спасая своих внуков от детского дома и лагеря для детей «врагов народа», оформила опекунство над Юрием и Татьяной Трифоновыми.

Сентябрь — Трифонов начинает посещать Дом пионеров, первоначально поступив в географический кружок и перейдя затем в литературный кружок, в котором состоялось обсуждение его первых рассказов.

1939, начало октября — Т. А. Словатинская выселена из Дома правительства и вместе со своими внуками Юрием и Татьяной Трифоновыми, приёмным сыном Андреем, невесткой А. В. Васильевой (женой П. А. Лурье) и её дочкой Екатериной переселена в две комнаты трёхкомнатной коммунальной квартиры на Большой Калужской улице — тогдашней окраине Москвы.

1940, февраль — дело П. А. Лурье пересмотрено, он освобождён из БАМлага и вернулся домой.

1941, 22 июня — начало Великой Отечественной войны. П. А. Лурье записывается в народное ополчение и уходит на фронт.

28 августа — 16-летний Трифонов получил паспорт и стал бойцом комсомольско-молодёжной роты противопожарной охраны Ленинского района города Москвы.

20 ноября — вместе с сестрой Татьяной и бабушкой Т. А. Словатинской эвакуирован в Ташкент, куда поездом добирался в течение двадцати восьми дней.

1942, июнь — Трифонов окончил среднюю школу в Ташкенте. Начало трудовой деятельности: работает разнорабочим на строительстве Чирчикского водного канала и слесарем-станочником на Ташкентском чугунолитейном заводе.

Ноябрь — завербовался для работы на авиационном заводе и вернулся в Москву. Принят протяжчиком в цех № 11 оборонного завода.

Декабрь — извещение о гибели лейтенанта Андрея Словатинского под Ленинградом.

1943, март — Т. А. Словатинская вместе с Татьяной Трифоновой вернулись в Москву из эвакуации. Трифонов принят в комсомол. При заполнении анкеты скрыл правду о подвергшихся репрессиям родителях и указал, что отец умер в 1941 году, а мать работает зоотехником в Казахстане.

1944, август — по итогам творческого конкурса принят на заочное отделение Литературного института им. А М. Горького.

Октябрь — назначен заместителем редактора заводской газеты «Сталинская вахта».

1945, 9 мая — День Победы над Германией в Великой Отечественной войне.

2 сентября — на борту американского линкора «Миссури» подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны. Трифонов перешёл на второй курс очного отделения Литературного института и уволился с работы на заводе.

1946, январь — Е. А. Трифонова-Лурье, мать писателя, вернулась в Москву из ссылки.

1947, 12 апреля — в газете «Московский комсомолец» опубликован фельетон Трифонова «Широкий диапазон».

14 декабря — отмена карточек и денежная реформа. Старые деньги обменивались на новые в соотношении 1 новый рубль за 10 старых. Реформа помогла оздоровить финансовую систему, но отрицательно сказалась на благосостоянии непривилегированных слоёв населения. Трифонов получил персональную стипендию имени В. Я. Шишкова за успехи в учёбе и творческие показатели. Побывал в Сочи, Самтредиа, Тбилиси, Ереване и Краснодарском крае.

1948, 20 октября — принят «Сталинский план преобразования природы».

20 ноября — политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о роспуске Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).

Ноябрь — Трифонов читает первые главы повести «Студенты» на семинаре К. Г. Паустовского в Литературном институте.

Напечатаны первые рассказы Трифонова «Знакомые места» и «В степи».

1949, 28 января — «Правда» поместила лично отредактированную И. В. Сталиным редакционную статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», положившую начало кампании борьбы с «безродными космополитами». Во внутренней политике сталинского режима отчётливо обозначились признаки государственного антисемитизма.

21 декабря — по всей стране широко отмечалось 70-летие И. В. Сталина.

Трифонов окончил Литературный институт.

1950, январь — Трифонов завершил работу над рукописью повести «Студенты» (первоначальное название — «Учебный год»). По рекомендации К. А. Федина повесть принята к печати

журналом «Новый мир» и после редактирования опубликована в № 10 и 11. Повесть имела огромный читательский успех. Трифонов проснулся знаменитым и в течение нескольких месяцев пожинал плоды своего успеха. «Моя жизнь изменилась. Внезапно я стал известным писателем… Обрушились потоки писем, дискуссии, диспуты, телеграммы с вызовом в другие города».

23 сентября — Трифонов начал встречаться с Ниной Алексеевной Нелиной (1923–1966), выпускницей Московской консерватории, оперной певицей, солисткой Большого театра и дочерью художника А. М. Нюренберга. Первое свидание состоялось на московском стадионе «Динамо».

Декабрь — редакция «Нового мира» выдвинула повесть «Студенты» на соискание Сталинской премии.

1951, 15 марта — Трифонову присуждена Сталинская премия 3-й степени.

2 мая — зарегистрировал брак с Ниной Алексеевной Нелиной (настоящее имя — Неля Амшеевна Нюренберг). Вместе с женой поселился в квартире тестя в доме художников на улице Верхняя Масловка.

28 декабря — премьера спектакля «Молодые годы» в Московском театре им. М. Н. Ермоловой. Пьеса написана Трифоновым совместно с В. Е. Месхетели по мотивам повести «Студенты». Родилась дочь Ольга (в замужестве — Тангян), в настоящее время живущая в Дюссельдорфе (Германия).

В издательстве «Молодая гвардия» вышло отдельное издание «Студентов». Книга переведена на венгерский язык.

1952, апрель — май — Трифонов по командировке «Нового мира» побывал на строительстве Главного Туркменского канала (Ашхабад, Казанджик).

Книга «Студенты» опубликована областными издательствами в Курске и Магадане, переведена на семь иностранных языков.

1953, 13 января — опубликовано сообщение ТАСС об аресте «группы врачей-вредителей, пытавшихся путём заведомо неправильного лечения» убить советских руководителей.

5 марта — смерть И. В. Сталина. Трифонов читает пьесу «Трудный путь» («Залог успеха», «Художники») на комсомольском собрании в Союзе писателей. В разгар чтения в комнату вошёл дежурный и, прервав автора пьесы, предложил всем собравшимся немедленно разойтись: «Товарищу Сталину стало хуже».

26 июня — арест Л. П. Берия.

23 декабря — расстрел Л. П. Берии и его подельников. Книга «Студенты» опубликована областным издательством в Омске, переведена на тринадцать иностранных языков.

1954, 2 марта — принято постановление ЦК КПСС «О

дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».

Май — в журнале «Знамя» (№ 5) опубликована повесть И. Г. Эренбурга «Оттепель», название которой стало нарицательным для обозначения нового периода отечественной истории, наступившего после смерти Сталина и отмеченного некоторой либерализацией политического режима. Слово «оттепель» стало символом процесса десталинизации.

15–26 декабря — в Москве прошёл 2-й Всесоюзный съезд советских писателей. Прозвучала критика как «бесконфликтности» наиболее ортодоксальных авторов, так и «субъективизма» сторонников «оттепели». Его делегаты (738 человек) представляли 3695 литераторов Советского Союза. 123 человека из них были делегатами и 1-го Всесоюзного съезда; 206 человек начали литературную деятельность после 1-го съезда. 372 делегата были участниками Великой Отечественной войны. На съезде присутствовало 69 зарубежных гостей.

1955, март — поездка Трифонова в Туркмению (Ашхабад, Кум-Даг, Челекен).

Сентябрь — командировка Трифонова в Венгрию (Будапешт, Тихань, Эгер). В качестве спортивного журналиста присутствует на матче сборных команд СССР и Венгрии.

26 ноября — Военная коллегия Верховного суда СССР полностью реабилитировала В. А. Трифонова.

12 декабря — Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР полностью реабилитировала Е. А. Трифонову-Лурье.

1956, 24 февраля — на XX съезде КПСС Н. С. Хрущёв сделал закрытый доклад «О культе личности и его последствиях».

23 октября — в Венгрию для подавления антикоммунистического восстания введены советские войска.

1957, январь — Трифонов принят в члены Союза писателей СССР (в статусе кандидата пробыл около шести лет). *Апрель* — командировка в Туркмению от газеты «Советский спорт» (Ашхабад, Мары — Керки). Сбор материалов для романа «Утоление жажды», посвящённого строителям канала.

14 апреля — в течение двух часов написан рассказ «Однажды душной ночью…». Точка бифуркации в творчестве Трифонова. «Кажется, я нашёл свой ключ».

2 сентября — кончина Т. А. Словатинской.

29 октября — отставка маршала Г. К. Жукова, снятого с поста министра обороны и выведенного из состава президиума и членов ЦК КПСС.

Декабрь — Н. А. Нелина вынуждена покинуть Большой театр

и перейти на работу во Всесоюзное гастрольно-концертное объединение, а со следующего года — в Москонцерт.

1958, 25 октября — начало кампании против Б. Л. Пастернака, вызванной присуждением поэту Нобелевской премии.

1959, март — командировка в Чехословакию от журнала «Физкультура и спорт» (Братислава, Брно, Прага) на чемпионат мира по хоккею.

Июль — командировка в Туркмению от «Литературной газеты».

В издательстве «Советский писатель» опубликована книга рассказов «Под солнцем», в журнале «Знамя» — цикл рассказов «Пути в пустыне».

1960, 14–15 января — сессия Верховного Совета СССР приняла закон о новом сокращении Вооружённых сил СССР на 1 миллион 200 тысяч человек.

11–16 июля — поездка в Париж совместно с Н. А. Нелиной на финал Кубка Европы по футболу (СССР — Югославия).

Лето — отдых в Коктебеле в Доме творчества писателей с Н. А. Нелиной и дочерью Ольгой.

25 августа —11 сентября — поездка в Италию на Олимпийские игры.

В издательстве «Советский писатель» вышло последнее прижизненное издание романа «Студенты».

1961, 1 января — денежная реформа в СССР. Произведён обмен денег из расчёта 1 новый рубль за 10 старых. Соответствующим образом изменён масштаб цен.

2–14 марта — командировка в Швейцарию (Женева, Лозанна) от «Литературной газеты» на чемпионат мира по хоккею.

12 апреля — впервые в мире советский космический корабль «Восток», пилотируемый Ю. А. Гагариным, совершил полёт вокруг земного шара и благополучно вернулся на Землю.

2–13 сентября — командировка в Болгарию от «Литературной газеты».

31 октября — поздно вечером, в 22 час 55 минут, гроб с телом И. В. Сталина вынесен из Мавзолея на Красной площади и захоронен у Кремлёвской стены.

Декабрь — в журнал «Знамя» передана рукопись романа «Канал», получившая отрицательное заключение редакции.

В альманахе «Тарусские страницы» опубликован рассказ «Однажды душной ночью…». Альманах запрещён цензурой.

1962, 2 июня — расстрел в Новочеркасске. Войска МВД применили оружие для подавления забастовки рабочих и выступлений жителей города, протестовавших против повышения

цен и снижения заработной платы.

22 октября — 20 ноября — Карибский кризис.

11 ноября — в журнале «Новый мир» (№ 11) опубликована повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

1 декабря — «Манежный скандал». Московский Манеж посетили представители правительства и ЦК КПСС во главе с Н. С. Хрущёвым. Произошло самое сильное, «лобовое» столкновение между возрождающимся художественным авангардом и официальной властью.

В журнал «Знамя» передана переработанная рукопись романа о строителях Туркменского канала, на сей раз названного «Утоление жажды». Рукопись вызвала новую серию замечаний редакции. Трифонов в течение трёх месяцев вместе с редактором занимается «сквозной переделкой книги в 20 печатных листов».

1963, январь — в журнал «Знамя» передан *четвёртый* вариант романа «Утоление жажды». Трифонов заявляет, что эта редакция — окончательная: «Я считаю роман законченным».

7–8 марта — в Свердловском зале Московского Кремля состоялась встреча Н. С. Хрущёва с деятелями литературы и искусства.

15–20 марта — командировка в Швецию (Стокгольм) от «Литературной газеты» на чемпионат мира по хоккею.

Весна — лето — в четырёх книжках журнала «Знамя» (№ 4–7) опубликован роман «Утоление жажды». Отдельное издание романа выпущено издательством «Советский писатель» и Гослитиздатом («Художественная литература»).

1–15 сентября — поездка в Болгарию (София, Пловдив) вместе с Н. А. Нелиной.

1964, 29 января — 9 февраля — командировка от «Литературной газеты» в Австрию (Инсбрук, Шенберг, Тироль, Зальцбург) на IX Олимпийские игры.

14 октября — отставка Н. С. Хрущёва с постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР.

Ноябрь — редакция журнала «Знамя» выдвинула роман «Утоление жажды» на соискание Ленинской премии в области литературы.

1–5 декабря — поездка в Берлин в составе делегации Союза писателей. Выступление на международном коллоквиуме «Два немецких государства и положение в литературе».

1965, февраль — март — в журнале «Знамя» (№ 2, 3) опубликована документальная повесть «Отблеск костра».

Июнь — июль — поездка в Туркмению (трасса Каракумского канала) на съёмки фильма «Утоление жажды». Роман «Утоление жажды» переиздан издательством «Советский писатель» и

переведён на семь иностранных языков.

1966, 11–31 июля — командировка в Великобританию (Лондон, Сандерленд, Мидлсбро, Эдинбург) от журнала «Физкультура и спорт» на чемпионат мира по футболу.

26 сентября — в Друскининкае (Литва) скоропостижно скончалась Н. А. Нелина.

В издательстве «Советский писатель» выпущено отдельное издание документальной повести «Отблеск костра».

1967, 18–29 марта — командировка в Австрию от «Литературной России» на чемпионат мира по хоккею.

3–12 мая — командировка в Ростов от «Нового мира». Подготовка материалов для романа о Гражданской войне.

Роман «Утоление жажды» переиздан издательством «Художественная литература».

1968, 6–18 февраля — командировка во Францию (Париж, Гренобль, Отран, Кулоз) от «Литературной России» на X зимние Олимпийские игры.

16–22 июня — поездка в Финляндию в составе делегации Союза писателей. Выступление на международном семинаре по проблеме «Реализм — главная линия литературы».

21–23 августа — войска Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, ГДР) вошли на территорию Чехословакии. Конец «Пражской весны».

Декабрь — Г. Е. Трифонов (М. Дёмин), двоюродный брат писателя, во время командировки в Париж решил остаться во Франции и стал «невозвращенцем». Этот поступок двоюродного брата непосредственно сказался на судьбе Трифонова: писатель стал «невыездным», и в течение пяти лет его не выпускали за границу. Начал встречаться с Аллой Павловной Пастуховой, редактором серии «Пламенные революционеры» Политиздата.

1969, 26 июля — началась кампания против «Нового мира».

Август — Трифонов выступает в качестве одного из инициаторов коллективного письма в защиту журнала «Новый мир» и его главного редактора А. Т. Твардовского.

В издательстве «Советская Россия» вышел сборник рассказов «Кепка с большим козырьком».

В журнале «Новый мир» (№ 12) опубликована повесть «Обмен».

1970, 3 февраля — бюро секретариата Союза писателей СССР «реорганизовало» редколлегию журнала «Новый мир»: из неё выведены друзья и единомышленники А. Т. Твардовского. Спустя десять дней А. Т. Твардовский «по собственной просьбе» ушёл в отставку.

21–24 октября — поездка в Одессу в составе делегации Союза

писателей. Выступил на советско-финском литературном симпозиуме «Литература для масс и литература для немногих».

23 декабря — зарегистрировал брак с Аллой Павловной Пастуховой.

Роман «Утоление жажды» переиздан издательством «Советский писатель».

В журнале «Новый мир» (№ 12) опубликована повесть «Предварительные итоги».

1971, 18 декабря — кончина А. Т. Твардовского.

В журнале «Новый мир» (№ 8) опубликована повесть «Долгое прощание».

В издательстве «Художественная литература» вышла книга «Рассказы и повести».

Повесть «Обмен» переведена на польский и чешский языки.

Начало романа с Ольгой Романовной Мирошниченко, студенткой Литературного института и супругой писателя Георгия Сергеевича Берёзко.

1972, май — завершена работа над романом «Нетерпение», рукопись передана в Политиздат, в редакцию серии «Пламенные революционеры».

Август — Трифонов, протестуя против несправедливого увольнения одного из сотрудников журнала «Физкультура и спорт», демонстративно вышел из состава редколлегии журнала, членом которой состоял с 1955 года.

1973, весна — в трёх книжках журнала «Новый мир» (№ 3, 4, 5) опубликован роман Трифонова «Нетерпение». Отдельное издание романа вышло в Политиздате в серии «Пламенные революционеры». Книга переведена на несколько иностранных языков и вышла в ФРГ, Италии, Франции.

Июль — Трифонов вместе с А. П. Пастуховой отдыхает в Дубулты, на Рижском взморье.

8 декабря — кончина П. А. Лурье, дяди писателя.

В издательстве «Советская Россия» вышел сборник повестей и рассказов «Долгое прощание».

1974, 12–13 февраля — в Москве арестован, помещён в Лефортовскую тюрьму, лишён советского гражданства, а на следующий день выслан в ФРГ писатель А. И. Солженицын. «По воспоминаниям Ю. Щеглова, после высылки Солженицына Трифонов говорил: „Советский писатель, если он хочет жить на территории Советского Союза, должен вести себя как таракан и одновременно как алкоголик. Суетиться, перебирая лапками, и забиваться в любую издательскую щель, а также частенько выпивать с редакторами“» (*Иванова Н.* Чужой среди своих // Юрий Трифонов: долгое прощание или новая встреча? // Знамя.

1999. № 8 // http://magazines.russ.ru/znamia/1999/8/confer.html).

10–22 мая — поездка Трифонова в Польшу (Варшава, Познань, Лодзь), чтение лекций о советской литературе.

6–20 октября — творческая командировка в Чехословакию.

Роман «Нетерпение» переиздан Политиздатом.

Книги Трифонова последних лет переведены на семь языков.

1975, 10–18 мая — поезда в ГДР по приглашению немецких книгоиздателей.

3 октября — кончина Е. А. Трифоновой-Лурье.

В журнале «Новый мир» (№ 8) опубликована повесть «Другая жизнь».

Книги Трифонова последних лет переведены на четыре языка.

Ольга Романовна Мирошниченко рассталась с мужем, писателем Георгием Сергеевичем Берёзко, и фактически стала женой Трифонова.

1976, зима — в журнале «Дружба народов» (№ 1) опубликована повесть «Дом на набережной».

23–31 января — поездка в ФРГ по приглашению немецких книгоиздателей.

2–12 июля — участвует в работе Лейпцигской книжной ярмарки.

16–23 сентября — участвует в работе книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне.

Книги Трифонова последних лет переведены на восемь языков.

1977, 7–21 мая — совместная с А. П. Пастуховой поездка в Норвегию по приглашению Славяно-Балтийского института при университете в Осло. Чтение лекций о советской литературе, встречи с читателями.

Октябрь — завершена работа над романом «Старик», рукопись передана в журнал «Дружба народов».

16–20 октября — поездка в Данию по приглашению издательства «Фремад» («Вперёд»). Чтение лекций о советской литературе, встречи с читателями.

22 октября — 13 декабря — поездка в США (Нью-Йорк, Лоренс, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Сан-Клименте, Ирвайн, Сан-Франциско, Беркли, Миннеаполис, Энн-Арбор, Сан-Диего, Сан-Хосе, Лас-Вегас, Вашингтон). Чтение лекций о советской литературе, встречи с читателями.

Книги Трифонова последних лет переведены на четырнадцать языков.

1978, весна — в журнале «Дружба народов» (№ 3) опубликован роман «Старик».

6–16 мая — совместная с Ольгой Мирошниченко поездка в

ФРГ (Мюнхен, Кёльн) по приглашению немецких издателей.

8 июля — 9 августа — совместный с Ольгой Мирошниченко отдых на Рижском взморье. Возвращение в Москву на машине через Таллин, Псков, Пушкинские Горы. В районе Вышнего Волочка с Трифоновым случился сердечный приступ.

7–30 сентября — поездка в Италию (Венеция, Палермо, Монделло, Рим, Дженцано, Милан).

8 октября — 5 ноября — поездка в Болгарию (София, Варна, Толбухин, Боровец) по приглашению болгарских книгоиздателей.

Издательство «Художественная литература» выпустило двухтомник «Избранные произведения». Издательство «Советская Россия» выпустило книгу «Повести», в которую был включён «Дом на набережной».

1979, 28 марта — расторжение брака с А. П. Пастуховой.

24 апреля — в семье Трифонова и Ольги Мирошниченко родился сын Валентин.

10–26 мая — поездка в ФРГ (Мюнхен, Кёльн) по приглашению немецких книгоиздателей. Чтение лекций о советской литературе.

18 августа — зарегистрировал брак с О. Р. Мирошниченко.

16–23 октября — поездка в Швецию по приглашению книгоиздателей. Презентация романа «Нетерпение». По предложению нобелевского лауреата Генриха Бёлля выдвинут кандидатом на соискание Нобелевской премии. Нобелевский комитет дал обед в честь Трифонова.

10–23 декабря — совместная с О. Р. Мирошниченко поездка в Италию (Рим, Милан).

25 декабря — «ограниченный контингент советских войск» численностью 50 тысяч человек вступил на территорию Афганистана.

1980, 22 января — академик А. Д. Сахаров, выразивший протест против ввода советских войск в Афганистан, лишён всех правительственных наград и почётных званий и в административном порядке выслан из Москвы в Горький.

27 января — 4 февраля — поездка в Финляндию.

Апрель — поездка в Швецию.

Май — завершена работа над романом «Время и место», рукопись передана в журнал «Дружба народов». *Июнь — июль* — совместная с О. Р. Мирошниченко поездка во Францию (Париж, Грасс, Сан-Поль) по приглашению издательства «Галлимар».

1 июля — после повышения цен на качественное мясо в Польше вспыхнули рабочие волнения, принявшие организованный характер. Лишь после того как 30 августа было достигнуто соглашение между правительством и забастовщиками,

ситуация отчасти стабилизировалась. 6 сентября первый секретарь ЦК Польской объединённой рабочей партии Эдвард Герек ушёл в отставку.

25 июля — в Москве скончался В. С. Высоцкий.

Ноябрь — для журнала «Новый мир» подготовлена рукопись «Опрокинутый дом».

10–20 декабря — совместная с О. Р. Мирошниченко поездка в Венгрию по приглашению ПЕН-клуба.

В издательстве «Советская Россия» вышла книга «Старик. Другая жизнь» — последнее прижизненное издание Ю. В. Трифонова.

1981, 28 марта — на 56-м году жизни Юрий Валентинович Трифонов скончался от тромбоэмболии лёгочной артерии.

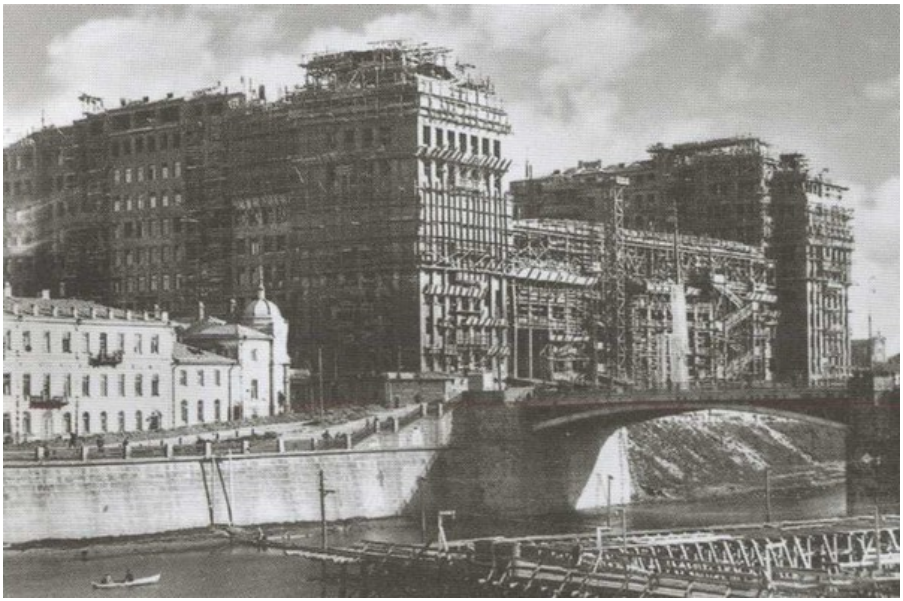
1 апреля — траурный митинг в Центральном доме литераторов и похороны на Кунцевском кладбище Москвы.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

В. А. Трифонов, отец писателя

Штаб Кавказского фронта: в центре — командующий М. Н. Тухачевский; слева направо — члены Реввоенсовета С. И. Гусев (Драбкин), Г. К. Орджоникидзе, В. А. Трифонов и военспец Абельгоус. Февраль — апрель 1920 г. РГАКФД

Начало строительства Дома на набережной с видом на ещё не разрушенный храм Христа Спасителя. Москва. 1927–1928 гг.



Возведение Дома на набережной близится к завершению

«Бывшие». Голод на улицах Петрограда. Художник И. А. Владимиров. 1918 г.

Агитатор в деревне. Художник И. А. Владимиров. 1918 г.

Допрос в комитете бедноты. Местный помещик и священник перед революционным судом. Художник И. А. Владимиров.

1918 г.

В подвалах ЧК. Художник И. А. Владимиров. 1919 г.

Налёт немецкой авиации на Москву с применением световых

ракет на парашютах для корректировки бомбовых ударов. Июль 1941 г.

Сбитый немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88», выставленный в Москве на площади Свердлова для обозрения. Июль 1941 г. Фото А. Устинова

Москвичи на Красной площади в День Победы. 9 мая 1945 г. Фото А. Гаранина. РГАКФД

Солистка Государственного академического Большого театра Нина Нелина. Москва. Май 1949 г. Фото Е. Явно. РГАКФД

Лауреат Сталинской премии писатель Юрий Трифонов. 1951 г. РГАКФД

Маршал Л. П. Берия на трибуне Мавзолея. Москва. 12 августа 1945 г. РГАКФД

Л. П. Берия в стенах Московского Кремля. 1 мая 1947 г. РГАКФД

Нина Нелина выступает в Центральном доме работников искусств. Москва. Октябрь 1948 г. Фото Н. Максимова. РГАКФД

Лауреат Сталинской премии драматург А. А. Суров в своём кабинете. 16 марта 1951 г. РГАКФД

Союз писателей СССР: в первом ряду президиума лауреаты Сталинской премии Константин Федин и генеральный секретарь СП Александр Фадеев. 1950 г.

Юрий и Ольга Трифоновы. Фото из архива О. Р. Трифоновой

И. В. Сталин на трибуне Мавзолея. Москва. 1 мая 1952 г. Фото А. Устинова

Прощание с И. В. Сталиным. Москва. 9 марта 1953 г. Фото А. Устинова

Г. М. Маленков, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущёв, А. И. Микоян, М. А. Суслов и другие несут гроб с телом И. В. Сталина в Мавзолей. Москва. 9 марта 1953 г. Фото А. Устинова

Н. С. Хрущёв и Л. И. Брежнев на пленуме ЦК КПСС. Москва. 24 декабря 1959 г. Фото А. Устинова

Юрий Трифонов. 1977 г. «Лёд трещал, но мы шли…» (из дневника)

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Ю. В. Трифонова

Трифонов Ю. В. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Художественная литература, 1985–1987.

Трифонов Ю. В. Вечные темы. М: Советский писатель, 1985.

Трифонов Ю. В. Как слово наше отзовётся… / Сост. А. П. Шитов; вступ, ст. Л. А. Аннинского; прим. О. Р. Трифоновой, А. П. Шитова. М.: Советская Россия, 1985.

Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей / Публ. Ольги Трифоновой // Дружба народов. 1998. № 5, 6, 10, 11; 1999. № 1, 2, 3 // http://magazines.russ.ru/authors/t/ytrifonov/

Литература

Аннинский Л. А. Интеллигенты и прочие. Юрий Трифонов // *Аннинский Л. А.* Очищение прошлым. Портреты русских писателей. М.: Институт журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ), 2014. С. 253–305.

Иванова Н. Б. Проза Юрия Трифонова. М., 1984.

Магд-Соэп К. де. Юрий Трифонов и драма русской интеллигенции / Пер. с англ. М. Литовской. Екатеринбург, 1997.

Тангян О. Ю. Испытания Юрия Трифонова // http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_41/alm_41_198 — 226.pdf.

Трифонова О. Р. Дом на набережной: Альбом. М., 2005.

Трифонова О. Р. Реплика // Знамя. 2013. № 7 // http://magazines.russ.ru/znamia/2013/7/12t.html

Шитов А. Л. Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М.: Новый хронограф, 2011.

Юрий Трифонов: долгое прощание или новая встреча? // Знамя. 1999. № 8 // http://magazines.russ.ru/znamia/1999/8/confer.html

Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают. М.: Совершенно секретно, 2003.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам ГАРФ Марине Викторовне Сидоровой и Анне Николаевне Сидоровой за внимательное отношение и помощь при подборе архивных документов, воспроизведённых в книге. Постоянная дружеская помощь Нинели Александровны Устиновой, дочери фотокорреспондента газеты «Правда», и сотрудников РГАКФД Аллы Владимировны Коробовой и Елены Евгеньевны Колосковой позволила выявить ряд уникальных фотографий, вошедших в систему авторских доказательств, за что низкий им поклон.

Особая признательность главному художнику журнала «Родина» Александру Ивановичу Ольденбургеру за дружескую помощь при подборе иллюстраций. Отдельная благодарность Ольге Романовне Трифоновой, директору музея «Дом на набережной», за уточнение ключевых моментов в биографии писателя.

notes

Примечания

1

Этот термин (понятие, фиксирующее устойчивые и непреходящие аспекты реальности), предложенный Александром Прохановым, который неоднократно использовал его в своих публицистических статьях и выступлениях, соответствовал реальному положению вещей. Так, к примеру, Юрий Нагибин 9 апреля 1982 года, спустя год после смерти Трифонова, написал в дневнике: «Все, кого я ни читаю, — Трифоновы разного калибра. Грекова — Трифонов (наилучший), Маканин — Трифонов, Щербакова — Трифонов, Амлинский — Трифонов, и мой друг Карелин — Трифонов». См.: *Нагибин Ю. М.* Дневник. М.: Книжный сад, 1996. С. 404.

2

Ахматова А. А. Венок мёртвым. I. Учитель (1945) // *Ахматова А. А.* Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 249.

3

Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей / Публикация Ольги Трифоновой //Дружба народов. 1998. № 5 // http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/5/trif.html

4

Там же.

5

Трифонов Ю. В. Утоление жажды // http://readr.ru/yuriy-trifonov-utolenie-ghaghdi.html?page=113

6

Шитов А. П. Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М.: Новый хронограф, 2011. С. 130.

Трифонова О. Р. Дом на набережной: Альбом. М., 2005. С. 38 // http://museum-dom.ru/albom.html

8

Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927: В 4 т. Т. 1 / Ред. — сост. Ю. Фельштинский. Архив Троцкого. Т. 1 (репринтное издание). М.: Терра, 1990. С. 56.

Трифонов Е. А. / Некоммерческое партнёрство «Общество Некрополистов». 2008 //http://necropolist.narod.ru/trifonov-ea.html

10

Шитов А. П. Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 13.

11

Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей //Дружба народов. 1998. № 5 // http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/5/trif.html

12

Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей//Дружба народов. 1998. № 5// http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/5/trif.html

13

Там же.

14

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 227, 228.

15

Там же. С. 191.

16

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 341.

17

Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов. 1998. № 6 // http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/6/trifon.html

18

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 287.

19

Равич Н. А. Вечный свет. Портреты. М.: Советский писатель, 1971. С. 266–267. Николай Александрович Равич был личностью сложной — журналист, сотрудник НКИД и ГПУ, разведчик, работавший под дипломатическим прикрытием в Польше и Турции. Он был знаком с Аманнуллой-ханом, Дзержинским, Кемалем, Шостаковичем, атаманами Григорьевым и Тютюнником, Чичериным, Кольцовым. Дважды сидел (до и после войны), но как-то выбирался. У Равича помимо профессионально развитой памяти разведчика имелись весьма веские личные основания хорошо запомнить и дословно воспроизвести пространные размышления классика советской литературы. Равич был автором нескольких исторических романов, соавтором сценария фильма «Суворов», и он прекрасно разбирался в качественных ручках.

20

Барыкин К. К. Пишу, печатаю, диктую…: Рассказы о журналистском инструментарии. История. Техника применения. Разбор практики. Советы. 2-е изд., перераб. М.: Политиздат, 1979. С. 89.

21

Трифонов Ю. В. Нескончаемое начало // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… / Сост. А. П. Шитов; вступ. ст. Л. А. Аннинского; прим. О. Р. Трифоновой, А. П. Шитова. М.: Советская Россия, 1985. С. 90–91. Сравните эти наблюдения с признанием Юрия Тынянова: «Странное для меня обстоятельство в моей работе: я сначала всегда уверен, что напишу очень мало, потом оказывается, что написал много. Первая моя книга по договору должна была равняться шести печатным листам, а написал 20. Начиная роман о Грибоедове, я опять подумал, что напишу листов 6, и даже заключил такое условие с журналом, а вышло больше двадцати. Но теперь, когда я хочу написать маленькую вещь, я знаю, как это делается. Я пишу её в маленьком блокноте. Нет большого листа без линий, похожего на ледяной каток, по которому вы можете шататься справа налево и как угодно, — есть узкоколейка блокнота. Так мне удалось написать небольшой рассказ». См.: *Тынянов Ю.* Как мы пишем // Как мы пишем: Сборник. Л.: Изд-во писателей, 1930 // http://readr.ru/yuriy-tinyanov-kak-mi-pishem.html?page=3.

22

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 287.

23

Там же. С. 290.

24

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 303–304.

25

Отдельные черно-белые иллюстрации заменены на аналогичные цветные. (Прим. верстальщика.).

Трифонов Ю. В. Записки соседа. Из воспоминаний // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 144.

27

Маршак С. Я. Ветер жизни тебя не тревожит… // *Маршак С. Я.* Лирика. М.: Детская литература, 1968. С. 125. «Самуил Яковлевич считает, что у меня нет мускулов честолюбия», — признавалась Габбе. Трифонов хорошо запомнил эти слова и впоследствии использовал их в романе «Утоление жажды» для характеристики одного из персонажей: «Перед войной он здорово шёл в гору в Москве. Будучи совсем молодым, уже котировался на пост редактора какого-то крупного журнала, но потом случилась осечка. Кажется, его напугал тридцать седьмой год. Сам он не пострадал, но у него атрофировались мускулы честолюбия, он сник, стушевался, постарался исчезнуть с видного места и покинуть Москву. Испуг и интеллигентность — как орёл и решка одной монеты — сидят в нём до сих пор, хотя он провёл войну в армейской газете, заслужил боевые ордена» (http://www.Hbok.net/writer/2070/kniga/33307/trifonov_yuriy_valentinovich/utolenieJajdyi/read/48).

Трифонов Ю. В. Записки соседа. Из воспоминаний // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 145–146.

29

Там же. С. 145.

Там же. С. 148.

31

Трифонов Ю. В. Записки соседа. Из воспоминаний // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 148–149.

32

Тангян О. Ю. Испытания Юрия Трифонова. С. 208 // odessitclub.org/publications/almanac/alm_4l/alm_41_198 — 226. Пользуюсь случаем, чтобы уточнить датировку этой записки. При публикации была допущена ошибка. Записка датирована 23 сентября 1950-го, а не 1951 года, как было ошибочно напечатано. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно вглядеться в воспроизведённое на этой же странице факсимиле записки. В сентябре 1951 года Трифонов и Нелина уже были мужем и женой.

33

Трифонов Ю. В. Записки соседа. Из воспоминаний // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 149.

Там же. С. 150.

Трифонов Ю. В. Время и место // *Трифонов Ю. В.* Вечные темы. М.: Советский писатель, 1985. С. 300.

Трифонов Ю. В. Записки соседа. Из воспоминаний // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 356.

37

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 323.

Там же. С. 318.

39

Гинзбург Л. В. Разбилось лишь сердце моё… Роман-эссе // *Гинзбург Л. В.* Избранное. М.: Советский писатель, 1985. С. 332 // http://www.belousenko.com/books/Ginzburg_Lev/Ginzburg_Lev_Izbrannoe.htm

Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей / Публикация Ольги Трифоновой // Дружба народов. 1998. № 6 // http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/6/trifon.html; *Тангян О. Ю.* Зачем Юрий Трифонов ездил в Туркмению? // Знамя. 2013. № 4 // http://magazines.russ.ni/znaima/2013/4/t9-pr.html

41

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 391.

Трифонов Ю. В. Время и место // *Трифонов Ю. В.* Вечные темы. М., 1985. С. 325.

43

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 320.

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 329.

Трифонов Ю. В. Утоление жажды // http://www.libok.net/writer/2070/kniga/33307/trifonov_yuriy_valentinovich/utolenie_jajdyi/read/19

46

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 330.

Трифонов Ю. В. Записки соседа. Из воспоминаний // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 155.

Трифонов Ю. В. Время и место // *Трифонов Ю. В.* Вечные темы. М., 1985. С. 327.

Шитов А. П. Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 436.

Там же. С. 330.

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск: Вышэйшая школа, 1983. С. 363.

Анненский И. Ф. Что счастье? // *Анненский И. Ф.* Стихотворения и трагедии. Л.: Советский писатель, 1990. С. 185 (Библиотека поэта. Большая серия).

Трифонов Ю. В. Время и место // *Трифонов Ю. В.* Вечные темы. М., 1985. С. 362.

54

Всемирная эпиграмма: Антология: В 4 т. Т. IV / Сост. В. Е. Васильев. СПб.: Политехника, 1998. С. 486.

55

[*Трифонова О. Р.*] Он сделал меня другим человеком (Интервью, взятое у вдовы писателя Маргаритой Рюриковой 2 июля 2000 года) // http://www.ogoniok.com/archive/2000/4649/22-40-43/; *Гинзбург И.* Опрокинутый дом // Новая газета. 2000. 3 августа. № 35 // http://2000.novayagazeta.ru/nomer/2000/35n/n35n-s09.shtml; *Огрызко В.* Свой или чужой // Литературная Россия. 2008. 14 ноября. № 46 // http://www.litrossia.ru/2008/46/03441.html.

Трифонова О. Р. Реплика // Знамя. 2013. № 7 // http://magazines.russ.ru/znamia/2013/7/12t.html. Впервые на связь Нины Нелиной с Берией О. Р. Трифонова глухо намекнула ещё в 1998 году, комментируя публикуемые ею дневники и рабочие записи Ю. В. Трифонова (http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/11/trif-pr.html).

Тангян О. Ю. Испытания Юрия Трифонова. С. 212 // odessitclub.org/publications/almanac/alm_41 /alm_41_ 198–226.

Трифонов Ю. В. Время и место // *Трифонов Ю. В.* Вечные темы. М., 1985. С. 427–428.

59

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 363.

Трифонов Ю. В. Утоление жажды // http://www.libok.net/writer/2070/kniga/33307/trifonov_yuriy_valentinovich/utolenie_jajdyi/read/4

61

Там же.

Трифонов Ю. В. Утоление жажды // http://www.libok.net/writer/2070/kniga/33307/trifonov_yuriy_valentinovich/utolenie_jajdyi/read/43 Автор романа подчёркивает типичность подобных разговоров для времён оттепели. «За столом между тем продолжался разговор о том, как наша жизнь будет развиваться дальше: один из тех бесчисленных разговоров, которые велись в тот вечер в домах Ашхабада, и в домах маленьких городков, прилепившихся к Копет-Дагу, и в тысячах других городов на востоке, где была уже глубокая ночь, но многие люди не спали и разговаривали, и на западе, и на севере, и в Москве, где лил холодный дождь, и шум Арбата до носился в комнату с лепным потолком, и у соседей играл телевизор, и люди сидели вокруг стола под дешёвой немецкой люстрой, пили чай и разговаривали о том же самом». См.: *Трифонов Ю. В.* Утоление жажды // http://www.libok.net/writer/2070/kniga/33307/trifonov_yuriy_valentinovich/utoleniejajdyi/ read/44.

Подобно тому как произведения русской классической литературы дают точное и наглядное представление о разнообразных сферах жизни общества XIX столетия, так и роман Трифонова позволяет ощутить *атмосферу незавершённости* всех принципиальных споров в годы оттепели и в этом смысле является важнейшим историческим источником. А. Ф. Писемский так завершил свой роман «Взбаламученное море» (1863): «Труд наш мы предпринимали вовсе не для образования ума и сердца шестнадцатилетних читательниц и не для услады задорного самолюбия разных слабоголовых юношей: им лучше даже не читать нас; мы имели совершенно иную (чтобы не сказать: высшую) цель и желаем гораздо большего: *пусть будущий историк со вниманием и доверием прочтёт наше сказание: мы представшем ему верную, хотя и не полную картину нравов нашего времени*, и если в ней не отразилась вся Россия, то зато тщательно собрана вся её ложь» (курсив мой. — *С.Э.*). См.: *Писемский А. Ф.* Взбаламученное море // http://az.lib.ru/p/pisemskij_a/text_0130.shtml. Трифонов создавал свои произведения в рамках классической традиции, и эти слова Писемского вполне применимы не только к роману «Утоление жажды», но и к другим произведениям писателя.

Трифонов Ю. В. Утоление жажды // http://www.libok.net/writer/2070/kniga/33307/trifonov_yuriy_valentinovich/utolenie_jajdyi/read/59

65

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 504.

Там же. С. 504–505.

Пушкин А. С. Отрывки из писем, мысли и замечания // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 11. М.: Воскресенье, 1996. С. 57.

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 464–465.

Зоркая Н. М. Литературный быт. Страницы архива: дневниковые эссе «На Аэропорте» // Искусство кино. 2008. № 3 // http://kinoart.ru/ru/archive/2008/03/n3-article20

Зоркая Н. М. Литературный быт. Страницы архива: дневниковые эссе «На Аэропорте» // Искусство кино. 2008. № 3 // http://kinoart.ru/ru/archive/2008/03/n3-article20

71

Там же.

Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов. 1999. № 1 //http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/1/trif.html Юрий Михайлович Лотман очень точно сформулировал схожую мысль: «…Анализ принципов построения художественного текста должен доминировать над проблемой прототипов. Это решительно противоречит наивному (а иногда и мещанскому) представлению о писателе как соглядатае, который „пропечатывает“ своих знакомых. К сожалению, именно такой взгляд на творческий процесс отражается в огромном количестве мемуарных свидетельств». См.: *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980. С. 24.

Иванова Н. Чужой среди своих // Юрий Трифонов: долгое прощание или новая встреча? // Знамя. 1999. № 8 // http://magazines.russ.ru/znamia/1999/8/confer.html

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 319.

Там же. С. XLVI.

Эренбург И. Г. Последняя любовь // *Эренбург И. Г.* Стихотворения и поэмы. СПб.: Академический проект, 2000. С. 545–546 (Новая библиотека поэта).

Вяземский П. А. Старая записная книжка. М.: Захаров, 2000. С. 262.

Трифонов Ю. В. Атмосфера и подробности // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 356.

Шапорина Л. В. Дневник: В 2 т. / Вступ. ст. В. Н. Сажина. М.: Новое литературное обозрение, 2011. Т. 1, 2 (Россия в мемуарах). Первое издание было выпущено тиражом тысяча экземпляров и быстро разошлось. В 2012 году вышло в свет второе издание тиражом две тысячи экземпляров. Ссылки даются по первому изданию непосредственно в тексте: римская цифра означает том, арабская — страницу.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 12. М.: Воскресенье, 1996. С. 310, 432.

81

Так петербуржцы и ленинградцы называли белый хлеб.

82

В Древнем Риме верили в Мандукуса, театральную маску с огромным ртом и острыми зубами, пожиравшую всё вокруг.

83

Эренбург И. Г. Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников // *Эренбург И. Г.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 409. В этой связи уместно вспомнить и находящуюся в ГТГ картину Николая Петровича Богданова-Бельского «Дети за пианино» (1918). Художник создал запоминающийся визуальный образ, прекрасно соотносящийся и с романом Эренбурга, и с дневником Шапориной. В бедной крестьянской избе с некрашеными полами и бревенчатыми стенами, проложенными паклей, босоногая крестьянская девочка, сидящая в кресле красного дерева стиля ампир, пытается извлечь звуки из дорогого пианино, а мальчик, вероятно, её младший брат, с интересом наблюдает за этим процессом. В это время самый маленький мальчик с неподдельной непосредственностью изучает своё изображение в трюмо — высоком стоячем зеркале в раме красного дерева. Кресло, пианино, трюмо и изображённый в левом углу картины большой плетёный короб, наполненный изысканным старинным фарфором и золочёной бронзой, — всё это лишь недавно покинуло барскую усадьбу, скорее всего, разграбленную окрестными крестьянами, и в одночасье было перенесено в избу. Мы видим, что писатель Эренбург был удивительно точен в деталях: действительно, крестьянам сгодилось и пианино. Страницы дневника Шапориной воспринимаются как развёрнутый комментарий к произведениям советской живописи и графики предвоенного периода, а сами эти картины и рисунки могут рассматриваться как великолепные иллюстрации к тексту дневника. Укажем только некоторые из них: П. П. Кончаловский «А. Н. Толстой в гостях у художника» (1940–1941), К. С. Петров-Водкин «Рабочие» (1926) и «Тревога» (1934), С. Б. Никритин «Групповой портрет. Люди» (1930) и «Суд народа» (1934), С. Б. Адливанкин «Трамвай Б» (1922) и «Голосуют за исключение кулака из колхоза» (1931), И. А. Владимиров «Голод на улицах Петрограда» (1918), «Петроград. Переезд выселенной семьи» (1917–1922), «В подвалах ЧК» (1919) и его другие рисунки, запечатлевшие эпизоды русской Смуты.

Ахматова А. А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 197.

85

Карамзин Н. М. Тацит (1797) // Аониды. 1798–1799. Кн. 3. С. 260 // *Карамзин Н. М.* Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и прим. Ю. М. Лотмана. Л.: Советский писатель, 1966. С. 239 (Библиотека поэта) // http://www.rvb.ru/18vek/karamzin/1bp/toc.htm

Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПб., 2002. С. 81.

Трифонов Ю. В. Правда и красота (1959) // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 23.

Там же. С. 25.

89

Трифонов Ю. В. Кепка с большим козырьком // *Трифонов Ю. В.* Предварительные итоги: Роман, повести, рассказы. Кишинев, 1985. С. 603.

Там же.

91

Трифонов Ю. В. Кепка с большим козырьком // *Трифонов Ю. В.* Предварительные итоги: Роман, повести, рассказы. Кишинев, 1985. С. 603.

92

Там же.

Там же. С. 604, 605.

Там же. С. 605.

95

Трифонов Ю. В. Кепка с большим козырьком // *Трифонов Ю. В.* Предварительные итоги: Роман, повести, рассказы. Кишинев, 1985. С. 603.

Там же. С. 606.

Там же.

Трифонов Ю. В. Кепка с большим козырьком // *Трифонов Ю. В.* Предварительные итоги: Роман, повести, рассказы. Кишинев, 1985. С. 606–607.

Трифонов Ю. В. Утоление жажды // http://www.libok.net/writer/2070/kniga/33307/trifonov_yuriy_valentinovich/utolenie_jajdyi/read/12

Катукова Е. С. Памятное. М., 2002 // http://militera.lib.ru/memo/russian/katukova_es/index.html

101

Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 213.

Николаева Г. Е. Битва в пути // http://scilib-fiction. narod.ru/Nikolaeva/battle.htm

103

Лебина Н. Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: Контуры, символы, знаки. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 39.

104

Маршак С. Я. Лирические эпиграммы. М.: Советский писатель, 1970. С. 56. В этом издании «ЗИМ» (ГАЗ-12), своеобразный символ сталинского послевоенного благополучия, был заменён на «ЗИЛ».

105

Трифонов Ю. В. Кепка с большим козырьком // *Трифонов Ю. В.* Предварительные итоги: Роман, повести, рассказы. Кишинёв, 1985. С. 607–608.

Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Книга VI // http://text.tr200.biz/knigi_klassicheskaja_proza/?kniga=336519&page=152

107

Трифонов Ю. В. Выбирать, решаться, жертвовать (1971) // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 85, 348.

108

Трифонов Ю. В. Обмен // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Повести. М.: Художественная литература, 1986. С. 7. «Начало переделываю и переписываю множество раз. Никогда не удавалось сразу найти необходимые фразы. <…> Начальные фразы должны *дать жизнь* вещи. Это как первый вздох ребёнка. А до первого вздоха — муки темноты и немоты. Так как я люблю, чтобы первая страница рукописи была чистой, без помарок — снобизм, конечно, но ничего не поделаешь, привычка, — на это уходит обыкновенно чуть ли не полпачки бумаги. В начальных фразах ищу музыкальный строй вещи». См.: *Трифонов Ю. В.* Нескончаемое начало // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… С. 100–101.

109

Трифонов Ю. В. Обмен // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 7.

110

Там же.

111

Шапорина Л. В. Дневник: В 2 т. / Вступ. ст. В. Н. Сажина. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 194 (Россия в мемуарах).

Шапорина Л. В. Дневник: В 2 т. / Вступ. ст. В. Н. Сажина. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 252.

113

Трифонов Ю. В. Обмен // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 11.

Трифонов Ю. В. Тризна через шесть веков (1980) // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 55.

115

Трифонов Ю. В. Обмен // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 18–19.

Там же. С. 19.

117

Там же. С. 20.

118

Там же.

119

Там же. С. 25. «Кабедвашники» — это сотрудники конструкторского бюро № 2, а «кабетришники» — конструкторского бюро № 3. Первые читатели «Обмена» и без авторских комментариев разбирались в производственных реалиях подобного рода.

120

Трифонов Ю. В. Обмен// *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 64.

121

Там же. С. 52.

Там же. С. 50.

123

Трифонов Ю. В. Обмен // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 64.

124

Трифонов Ю. В. Обмен // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 52.

125

Там же. С. 51.

Там же. 51–52.

127

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 67.

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 81.

129

Там же. С. 70–71.

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 117.

Трифонов Ю. В. Студенты // http://www.libok.net/writer/2070/kniga/33306/trifonov_yuriy_valentinovich/studentyi/read

Слуцкий Б. А. Память (1956) // http://rupoem.ru/sluckij/ya-nosil-ordena.aspx

133

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 83.

Там же. С. 96.

135

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 105.

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 73, 74, 76.

137

Там же. С. 74.

Там же. С. 101.

139

Там же. С. 85.

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 87.

141

Там же. С. 94.

Трифонов Ю. В. Предварительные итога// *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 94.

143

Там же. С. 87.

Там же. С. 91.

145

Там же. С. 90.

Гуревич А. Я. История историка. М.: РОССПЭН, 2004. С. 149 (Зерно вечности).

147

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 115.

Трифонов Ю. В. Время и место // *Трифонов Ю. В.* Вечные темы. М., 1985. С. 429.

149

Трифонов Ю. В. Предварительные итоги // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 82.

150

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.,1986. С. 80.

151

Там же. С. 131.

Слуцкий Б. А. Вопросы к себе // Знамя. 1988. № 1 // http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LITRA/SLU4_W.HTM

153

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 159.

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 178.

155

Руководящее указание вождя было сформулировано 25 февраля 1935 года. Его озвучил Андрей Александрович Жданов, главный партийный идеолог: «Между прочим, товарищ Сталин не знал, что мы историю партии проходим только до 1917 года. Он сделал два замечания по этому поводу, что если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов и что с точки зрения истории партии период перед 1917 годом является предысторией». В соответствии с этим указанием, закреплённым в «Кратком курсе истории ВКП(б)», который на десятилетия стал высшей и окончательной инстанцией советской исторической науки, все деятели народничества — и либеральные, и революционные — были объявлены «злейшими врагами марксизма». Народники, согласно «Краткому курсу», представляли собой «героев-неудачников», возомнивших себя «делателями истории» и начавших «переть против исторических потребностей общества». См.: История ВКП(б). Краткий курс. М., 1938. С. 16; *Антонов В. Ф.* Народничество в России: утопия или отвергнутые возможности // Вопросы истории. 1991. № 1. С. 8–9; *Троицкий Н. А.* Крестоносцы социализма. Саратов, 2002, С. 15–16.

156

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 185.

157

Там же. С. 165.

158

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 195–196.

159

Борхес Х. Л. Проза разных лет. М., 1984. С. 200 (Мастера современной прозы). Укажем важнейшие среди этих метафор: 1) весь мир — театр; 2) река времён; 3) волны поколений; 4) колесо фортуны; 5) жизнь — игра; 6) ярмарка тщеславия; 7) столетия — фонарики; 8) архив или библиотека. См.: *Экштут С. А.* Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Алетейя, 2003. С. 52.

160

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 160.

161

Там же. С. 140.

162

Там же. С. 160.

163

Там же. С. 146.

Там же. С. 143–144.

165

Там же. С. 194.

Берлин И. История свободы. Россия. М.: НЛО, 2001. С. 409.

167

Там же. С. 415.

Берлин И. История свободы. Россия. М.: НЛО, 2001. С. 409.

169

Шапорина Л. В. Дневник: В 2 т. Т. 2. М., 2011. С. 220.

См.: *Экштут С. А.* 1000 дней после Победы, или Предвестие свободы. М.: Ридерз Дайджест, 2011. С. 275–302.

171

Слуцкий Б. А. К истории моих стихотворений // *Слуцкий Б. А.* О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С. 194 (Мой 20 век).

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 193.

173

Там же. С. 133.

Там же. С. 134.

175

Там же. С. 143.

176

Всемирная эпиграмма. Антология: В 4 т. Т. IV. СПб., 1998. С. 410, 834.

177

Ахматова А. А. В сороковом году. 1. Август 1940 // *Ахматова А. А.* Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 204.

178

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 216.

179

Там же.

Там же. С. 172.

181

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 228.

Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 63.

Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 25, 99.

Дружинин Н. М. Воспоминания и мысли историка. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1979. С. 109, 110.

185

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 300.

Там же. С. 261.

187

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 259–260.

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 259.

Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 147.

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 259.

191

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 259.

Там же. С. 299.

193

Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 1.4. 3. Гл. IX. М.: Художественная литература, 1978. С. 230.

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 300.

195

Давидсон А. Б. Я вас люблю: Страницы жизни. М.: МИК, 2008. С. 107.

Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 127.

Трифонов Ю. В. Другая жизнь// *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 289.

Трифонов Ю. В. Другая жизнь// *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 332.

199

Там же. С. 313.

Там же. С. 260.

201

Там же. С. 277.

Трифонов Ю. В. Другая жизнь // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 314.

203

Толстая С. А. Мои записи разные для справок // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1955. С. 151.

204

Там же.

205

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 590.

Шитов А. П. Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М., 2011. С. 580; *Трифонов Ю.* Из дневников и рабочих тетрадей. 1973 // Дружба народов. 1999. № 2 // http://mag.russ.ru:8080/druzhba/1999/2/trif.html

207

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. 3-е изд. М.: Политиздат, 1988. С. 3.

Трифонов Ю. В. Нечаев, Верховенский и другие… (1980); *Трифонов Ю. В.* Писать на пределе возможного! Беседа с корреспондентом журнала АПН «Советское обозрение» (1981)// *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовется… М., 1985. С. 40, 337.

209

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 75, 76.

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 303.

211

Там же. С. 7.

Гоголь Н. В. Ревизор // *Гоголь Н. В.* Избранные сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1984. С. 65.

Гарин-Михайловский Н. Г. Детство Тёмы. Из семейной хроники // http://az.lib.ru/g/garinmihajlowskij_n/text_0020.shtm]

214

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 22.

215

Там же.

Там же. С. 23.

217

Ашенбреннер М. Ю. [Автобиография] // Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М.: Советская энциклопедия, 1989. Стб. 12 (Репринтное издание).

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 48.

219

[Милютин Д. А.] Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1876–1878 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2009. С. 406.

220

Там же.

221

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 29.

Там же. С. 204.

223

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 16.

224

Там же.

225

Там же. С. 17.

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 255.

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 359 (Мыслители XX века).

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 82.

229

Там же.

Там же. С. 82–83.

231

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 94.

Трифонов Ю. В. Другая жизнь// *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 300.

233

Медаль имела два варианта: светло-бронзовый и тёмно-бронзовый, кроме того, имелась градация по типу ленты для ношения. Светло-бронзовая медаль могла носиться на Георгиевской, Андреевской или Владимирской лентах. Темно-бронзовую медаль носили на Владимирской или Аннинской лентах. Медалями из светлой бронзы награждались военные и непосредственные участники боёв, медалями из тёмной бронзы — гражданские чиновники, служившие в губерниях, переведённых на военное положение, и благотворители. Отчеканено было всего около миллиона 700 тысяч медалей в светлой и тёмной бронзе, в том числе 430 тысяч на Екатеринбургском монетном дворе.

Давыдов Д. В. Современная песня *Ц Давыдов Д. В.* Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1984. С. 116 (Библиотека поэта. Большая серия).

235

Чехов А. П. Лев и Солнце // *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 6 [Рассказы]. М: Наука, 1976. С. 395.

236

Толстой Л. Н. Отец Сергий // *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 12. М.: Художественная литература, 1964. С. 370.

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980. С. 359.

238

Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // *Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1984. С. 63,

Грибоедов А. С. Горе от ума. М.: Наука, 1987. С. 49 (Литературные памятники).

240

[Высоцкий И. П.] Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство. 1703–1903. Краткий исторический очерк. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903. С. 225. В результате реформы столичной полиции, проведённой в 1866–1867 годах по инициативе обер-полицмейстера генерала Ф. Ф. Трепова, территория Санкт-Петербурга была поделена на 38 полицейских участков (плюс 4 загородных участка). Эти участки стали первичными административно-полицейскими единицами, пришедшими на смену прежним 58 полицейским кварталам. Деление города на 12 полицейских частей сохранилось. Квартальные надзиратели были переименованы в участковых приставов, а управления кварталов преобразованы в управления полицейских участков. Полицейские участки делились на 93 околотка, околотки — на полицейские посты (их число достигало 705). С образованием в 1873 году Санкт-Петербургского градоначальства столица в пределах городской черты была выделена из состава губернии, и генерал Трепов стал первым в истории Санкт-Петербурга градоначальником. Градоначальник в отношении столицы получил права губернатора, сохранив при этом за собой ключевой пост главного и непосредственного начальника Санкт-Петербургской полиции. Одновременно возросла власть приставов: к их ведению помимо надзора за порядком и проверки полицейских постов были отнесены сыск лиц и имущества, выдача отсрочек на проживание в столице.

241

Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев. Л.: Лениздат, 1991. С. 131.

242

[Милютин Д. А.] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863–1864 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2003. С. 304.

243

Там же. С. 307.

Там же. С. 309.

245

Там же. С. 398.

246

[*Милютин Д. А.*] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863–1864/ Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2003. С. 398.

247

[*Высоцкий И. П.*] Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство. 1703–1903. Краткий исторический очерк. СПб., 1903. С. 178.

248

Цит. по: *Засосов Д. А., Пызин В. И.* Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев. Л., 1991. С. 247.

249

Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1892 года. СПб., 1892. С. 179; Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1905 года. СПб., 1905. С. 1407; Список генералам по старшинству. Составлен по 1 января 1909 года. Ч. III. СПб., 1909. С. 79.

Список майорам по старшинству. СПб., 1874; Список майорам по старшинству. СПб., 1875.

251

РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 1855. Л. 4–7.

Эйдельман Н. Я. Не было — было // *Эйдельман Н. Я.* Обречённый отряд. М.: Советский писатель, 1987. С. 354–358; *Эйдельман Н. Я.* Герцен против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. 2-е изд., испр. М.: Мысль, 1984. С. 171–179, 181.

253

В 1858 году в Лондоне в № 16–18 «Колокола» были опубликованы воспоминания генерала Панаева «Новгородское возмущение в 1831». Натан Яковлевич Эйдельман высказал обоснованное предположение, что неподцензурные генеральские мемуары передал в Лондон историк Михаил Иванович Семевский. Но как эти записки попали к самому историку? Ответ очевиден. Семевский учился в Полоцком кадетском корпусе, откуда «для окончания наук» был переведён в Дворянский полк, где обучался вместе с братьями Кулябко — старшим Николаем и младшим Петром. В 1855 году Пётр Кулябко и Михаил Семевский были одновременно произведены в офицеры, Николай стал офицером двумя годами ранее. Благодаря знакомству с братьями Кулябко Семевский получил доступ к запискам тестя старшего брата, снял копию и передал её Герцену. Итак, братья Кулябко, ставшие впоследствии приставами Санкт-Петербургской полиции, фактически помогли «государственному преступнику», и Герцен получил неподцензурную рукопись.

254

Цит. по: *Эйдельман Н. Я.* Герцен против самодержавия. М., 1984. С. 175. Этими словами заканчивается публикация мемуаров Панаева в «Колоколе» № 18 от 1 июля 1858 года. Н. Я. Эйдельман считает, что это издательское послесловие было написано М. И. Семевским.

255

Антонина Николаевна Кулябко выйдет замуж за капитана лейб-гвардии Конной артиллерии Клавдия Егоровича Кабалевского, впоследствии генерал-лейтенанта и начальника Луганского патронного завода. Известный советский композитор, пианист, дирижёр и педагог Дмитрий Борисович Кабалевский, народный артист СССР и Герой Социалистического Труда, был внуком Антонины Николаевны и Клавдия Егоровича Кабалевских, правнуком пристава Кулябко и праправнуком генерал-майора Панаева.

256

РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 1855. Л. 4–7.

Игорев Л. С. Воспоминания // Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы. Вып. 1. Саратов, 1893. С. 372.

Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев. Л., 1991. С. 132.

259

Новый путеводитель по Санкт-Петербургу и его окрестностям. СПб., 1875. С. 4.

260

Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма // За кулисами политики. 1848–1914 / Е. М. Феоктистов, В. Д. Новицкий, Ф. Лир, М. Э. Клейнмихель. М.: Фонд Сергея Дубова, 2001. С. 362 (История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX вв.).

261

Свод законов Российской империи. Учреждение орденов и других знаков отличия. Издание кодификационного отдела при Государственном совете. СПб., 1892. С. 78.

262

Куприн А. И. Тень Наполеона// *Куприн А. И.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1958. С. 720.

263

РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 1855. Л. 4–7.

Тайна убийства Столыпина. М.: РОССПЭН, 2003. С. 9, 41.

Тайна убийства Столыпина. М.: РОССПЭН, 2003. С. 259.

266

Там же. С. 276. В 1912 году отставной подполковник Кулябко приговором Киевской судебной палаты был «за небрежное хранение и расходование казённых денег» присуждён к 16-месячному заключению. Однако по распоряжению Николая II срок наказания был сокращён до четырёх месяцев содержания на гауптвахте. Гауптвахтой наказание Кулябко не ограничилось (там же. С. 21, 637, 638). Царь повелел считать отставного подполковника *отрешённым от должности,* что означало лишение пенсии и запрет в течение пяти лет вновь поступать на государственную службу. После отрешения от должности Кулябко остался жить в Киеве, где занимался продажей швейных машинок.

Там же. С. 429–430.

Там же. С. 461.

Мартынов А. П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов // «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска // http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kulyabko_nn.html

Тайна убийства Столыпина. М., 2003. С. 486.

Там же. С. 117, 120.

Там же. С. 620.

Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1984. С. 176.

274

Дело Главного штаба Военного министерства по прошению дочери генерал-майора Панаева о пенсии // РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 4927. Л. 16 об.

275

РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 4927. Л. 1 об.

276

РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 4927. Л. 1–1 об.

277

Цит. по: [*Милютин Д. А.*] Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1876–1878. М., 2009. С. 575 (Примечания).

Зотов П. Д. Дневник // Русский орёл на Балканах: Русско-турецкая война 1877–1878 гг. глазами её участников. Записки и воспоминания. М.: РОССПЭН, 2001. С. 121.

279

Зотов П. Д. Дневник // Русский орёл на Балканах: Русско-турецкая война 1877–1878 гг. глазами её участников. Записки и воспоминания. М.: РОССПЭН, 2001. С. 120.

280

РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 4927. Л. 11.

281

РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 4927. Л. 16 об.

282

Александр Михайлович, великий князь. Книга воспоминаний. М.: Современник, 1991. С. 162–163.

283

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 261–262, 263.

Трифонов Ю. В. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М., 1988. С. 262.

285

Цит. по: *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). С. 630.

Там же. С. 631.

Там же. С. 744.

Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Кн. VI // http://text.tr200.biz/knigi_klassicheskaja_proza/?kniga=336519&page=2

289

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 456.

Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 286.

291

Слуцкий Б. А. После войны // *Слуцкий Б. А.* О других и о себе. М., 2005. С. 177, 180.

292

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 372.

293

Там же. С. 383.

Там же. С. 372.

295

Там же. С. 445.

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 452.

Там же. С. 432.

Лебина Н. Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: Контуры, символы, знаки. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 181.

299

Гоголь Н. В. Мёртвые души // *Гоголь Н. В.* Избранные сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1984. С. 351.

Там же. С. 174.

301

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 433.

302

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 365.

303

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 372.

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 460.

Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 285.

306

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 459.

307

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 460.

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 407.

309

Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 322.

310

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 484.

Там же. С. 488.

Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 35.

313

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 484.

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 481, 482,483,484.

315

Там же. С. 475.

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 449.

317

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 452.

318

Трифонов Ю. В. Дом на набережной // *Трифонов Ю. В.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 468.

319

Там же. С. 370.

320

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск: Вышэйшая школа, 1983. С. 117–118.

321

Там же. С. 120.

Там же.

323

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск: Вышэйшая школа, 1983. С. 122.

Там же. С. 95.

Строго говоря, в отличие от повести, где начало совершающихся событий точно датировано автором, в романе ни разу не сказано, что действие происходит именно в 1972-м. Более того, если рассчитать событийный ряд романа по календарю, можно предположить, что начало романного действия надо отнести к лету следующего, 1973 года: Ася Игумнова прочла статью Летунова о Мигулине, опубликованную в 1968 году, спустя пять лет после выхода журнала. Асе исполнилось семьдесят три года, а родилась она в 1900-м. Однако в «Старике» описано именно лето 1972-го, когда вокруг столицы горели леса и торфяники. Чем объясняется эта неувязка — авторской небрежностью или, наоборот, бессознательным авторским замыслом — осталось загадкой.

326

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 72.

327

Там же. С. 50.

Всего за время с 1919 года по 1930-й холодным Почётным революционным оружием — шашкой с вызолоченным эфесом и наложенным на эфес знаком ордена Красного Знамени — был награждён 21 военачальник, ещё два человека имели и холодное, и огнестрельное наградное оружие — пистолет «маузер С-96» с орденом Красного Знамени на рукоятке.

329

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 21.

330

Дённингхаус В., Савин А. «Эпоха Брежнева» глазами Генсека. Рабочие записи Леонида Ильича как исторический источник // Родина. 2012. № 2. С. 123.

Влади М. Владимир, или Прерванный полёт. М.: Советский писатель, 1990 // http://lib.ru/WYSOCKIJ/wladi.txt

332

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 105.

333

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 131.

Евтушенко Е. Дитя-злодей // http://old-wild-cat.live-joumal.eom/l1357.html

335

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 101.

Там же. С. 109.

Там же. С. 100.

338

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 108.

Там же. С. 108–109.

Там же. С. 109.

341

Трифонов Ю. В. Старик // *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 131.

Шапорина Л. В. Дневник: В 2 т. Т. 2. М., 2011. С. 125.

343

Пушкин А. С. Полководец // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Ч. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 379.

«Заканчивать вещь надо неожиданно и немножко раньше, чем того хочется читателю». См.: *Трифонов Ю. В.* Нескончаемое начало // *Трифонов Ю. В.* Как слово наше отзовётся… М., 1985. С. 101.

Трифонов Ю. В. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов. 1999. № 3 // http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/3/trif.html.

346

Трифонов Ю. В. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов. 1998. № 6 // http://magazines.russ.ru/druzh-ba/1998/6/trifon.html. В повести «Предварительные итоги» (1970) вскользь упоминается капитан с погонами войск связи, муж одной из официанток. «Перегнувшись ко мне, капитан прохрипел в ухо: „Тринадцать лет среди этих милых лиц…“ По-видимому, тут было окончание долгого обеда». См.: *Трифонов Ю. В.* Предварительные итоги// *Трифонов Ю. В.* Избранное. Минск, 1983. С. 317. Писатель поставил красноречивое многоточие. О великая сила недосказанного! Продолжение реплики русского офицера, сохранившееся в рабочих записях писателя, мы смогли прочитать лишь в 1998 году.

Трифонов Ю. В. Время и место // *Трифонов Ю. В.* Вечные темы. М., 1985. С. 418.

348

«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса». См.: *Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Об искусстве: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 92.

349

«Награды предполагается оставить на особом хранении»: Записка П. Демичева в ЦК КПСС. 24 декабря 1986 года // Вестник Архива Президента Российской Федерации: Документы из личного фонда Л. И. Брежнева. М., 2006. С. 204.

350

Справка о наградах Леонида Ильича Брежнева // Там же. С. 204–209.

351

Анненский И. Ф. Бессонные ночи // *Анненский И. Ф.* Стихотворения и трагедии. Л.: Советский писатель, 1990. С. 196 (Библиотека поэта. Большая серия).

Анненский И. Ф. Старая усадьба // *Анненский И. Ф.* Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 125–126.

Анненский И. Ф. Песни с декорацией. 1. Гармонные вздохи // *Анненский И. Ф.* Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 191. Ольга Романовна Трифонова мне рассказала, что её муж — в соответствующие моменты времени и места — имел привычку цитировать эти строки любимого поэта.

354

[Бенкендорф А. Х.] Портфель графа А. Х. Бенкендорфа. Мемуары шефа жандармов // Николай I. Муж. Отец. Император. М.: Слово, 2000. С. 344 (Русские мемуары).

Анненский И. Ф. Петербург // *Анненский И. Ф.* Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 186.

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 109.

Составлены на основе следующих работ: Хроника России. XX век / А. П. Корелин, П. П. Черкасов, А. В. Шубин и др. М.: Слово / Slovo, 2002; *Шитов А. П.* Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925–1981). М.: Новый хронограф, 2011.